



*СЕРГЕЙ БАГРОВ*

# **Рябчики на завтрак**

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ



АРХАНГЕЛЬСК  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1986

**Багров С. П.**

**Б14**      **Рябчики на завтрак: Рассказы и повести.**— Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Волог. отд-ние, 1986.— 271 с., 1 л. портр.

Имя писателя Сергея Багрова известно не только северному, но и всесоюзному читателю. Его рассказы и повести неизменно привлекают к себе внимание глубоким проникновением писателя в жизнь своих героев, яркими характерами, художественным мастерством. Сборник «Рябчики на завтрак» составлен из ранее издававшихся произведений.

Книга выходит к 50-летию писателя.

**Б**      **М157(03)—86**      **20—86**  
**4702010200**

**Р2**  
**ББК84Р7**

# РАССКАЗЫ



## РЯБЧИКИ НА ЗАВТРАК

Андрей Куницын немного устал: третий час на ногах. С перекинутым через плечо на ремне портфелем, в котором лежали электробритва и купленные на скорую руку подарки матери и отцу, в поношенном сером пальто, шляпе с заломленными полями, очках и усталой морщинкой на лбу, он сейчас походил на фельдшера медицинского пункта, который спешит на вызов к больному, боясь опоздать.

В декабре рано приходит вечер на землю. От леса по снежным полям ползет подсиненная тень. Солнце торжественно и лениво опускается в ельник. Небо в том месте искрасна-бурое, словно топленое в русской печи молоко. Под небом, дымя голубыми столбами, стоит деревня Захаров Лог.

Минуло семь с половиной лет, как Андрей покинул деревню. Ему повезло. На Урале, куда он уехал после службы в армии, устроился в областном центре, в Лесопроект, занимавшийся изысканием нижних складов, дорог и лесных поселков. Казалось, жизнь затолкала его в это учреждение для того, чтобы он до конца своих дней продвигался по службе. Да и худо ли? Был таскальщиком рейки — стал инженером. И это еще не предел. На душе у Андрея было размягченно и спокойно, как у всякого человека, который заведомо знает, что ждут его впереди лишь приятные перемены. И вдруг это письмо — мятое-перемятое, все в клею и без марки. Понял Андрей, что письмо из деревни. Но кто написал, установить было трудно, до того неразборчив был почерк. Многих слов Андрей разобрать не мог. Лишь в конце письма прочитал нормально несколько строк, из которых узнал, что мать у него «ослабла и остарела, а батя, хоть и здоров, но беспомощен, как дите».

Андрей сидел, наваясь локтями на пикетажные книжки, и с тревогой в душе вспоминал родную деревню. И мать свою вспоминал, улыбочиво-тихую, сидящую у окошка с вязаньем в руках; и отца — крупнолицего, рослого, в необъятно широкой фуфайке, пахнувшей хлебом и табаком. «И все из-за этой учебы, — думал Андрей, — из-за нее не могу к старикам собраться. Шесть лет ухлопал на свой институт. Стал начальником полевого отряда, выбился, что называется, в люди, а вот родителей позабыл...»

Андрей загрустил от мысли, что так далеко он от дома и отпуск использован целиком. «А если я отпрошусь за свой счет? Хотя бы дней на десять!» — приободрился Куницын и в тот же день заглянул в кабинет директора института.

Сергей Сергеевич Поликарпов, мужчина солидный, в годах, с сединой, рассыпанной, будто соль, по верху волос, сидел за столом с добродушным видом хорошо отдохнувшего человека, которому правится делать приятное подчиненным. Выслушав просьбу Андрея, он участливо улыбнулся:

— Не то время, Андрюша, чтоб кататься по старикам. Дел непочатый край. Кроме того, тебе предстоит поехать в столичный Гипролестранс. Поглядишь, как работают главные инженеры проектов, поучишься кое-чему.

— Для чего? — удивился Андрей.

— Надо готовиться к должности главного инженера.

— Нашего института? — не понял Андрей.

— Нашего, — сказал Поликарпов и, нажав на кнопку, кивнул открывшей дверь секретарше:

— Машенька, будьте добры, оформите Куницыну командировку.

Если бы не письмо, Андрей ехал бы в эту командировку с тщеславной мыслью, что не кого-нибудь, а его выделили из всех. Ему, конечно, было приятно и лестно. Был простой инженер и вот без пяти минут — главный. А что это значит? Это значит: отдельный, с двумя телефонами, кабинет, зарплата на сто рублей выше и возможность раз в квартал бывать в больших городах. Но письмо из родной деревни тревожило, и на душе Андрея было беспокойно.

...Сегодня шел второй день с того момента, как он отправился в путь. В путь рискованно-самовольный, так как, минуя Москву, где надлежало остаться, Андрей купил билеты на Вологду, после — на Устье, и вот теперь шел по зимней дороге к Захарову Логу. Шел, успокаивая себя. «Только один вечерок. Только взгляну на родителей — и назад. Утром же и уеду. Командировка от этого не страдает».

При виде родных посадов Андрей приубавил шаг, улыбнулся, и стало ему как-то славно и безмятежно, как в далеком-далеком детстве. Густая синева горизонта,

сумрак ближних дворов, кисти ягод, свисавших с веток рябины, — все дышало здесь воздухом отчего края.

Не прошел Андрей и сотни шагов, как встал, точно его схватили за плечи. Но сзади не было никого, а впереди, в проулке, он разглядел высокого старика и низенькую старушку. Старушка шла семенящим шагком и вела за батог старика. Тот свободной рукой поддерживал на плече коромысло с двумя деревянными кадцами.

Грудь у Андрея сдавило. Он понял, что здесь, на этой земле, без него случилось что-то нелепое, страшное, чего поправить уже нельзя. «А если ошибся? Если это другие?» — вспыхнула было надежда. Но старушка в эту минуту повернула к дому с такой знакомой беседкой и крыльцом. «Мамка моя... А батя-то, батя...»

Он стоял, сжимая пальцами штакетину забора, и смотрел на родной дом. Тревожно и больно колот сердце вопрос: «Что у отца с глазами? Почему не писали в письмах?»

Он взошел на крыльцо, обмел голиком ботинки и, взяв с перил горстку снега, потер им виски. Дверь пустила его в тепло. Нестерпимо ярко брызнул в глаза свет. Андрей зажмурился и сказал:

— Здравствуйте!

Отец, большой и неуклюжий, в сто раз латанной гимнастерке, ватных штанах, тыча воздух руками, сделал к сыну беспомощный шаг, повалив при этом табуретку.

— Андрейко!

И мать бросилась к сыну, маленькая, сухая, обняла его и, искрясь глазами, заголосила:

— О-ё-ё, Дрюшенька! А мы-то ждали тебя! Так уж мы ждали! Чуяло сердце: далеко сосна, да вест родному лесу...

Андрей поставил портфель и, раздевшись, повесил пальто рядом с фуфайкой, от которой пахло навозом. Обежал глазами кадцы с водой, стол с зеленой салфеткой, засиженный мухами репродуктор и висевшего на ватных штанах отца беленького котенка.

— Ну и как живем-поживаем? — спросил, стараясь казаться веселым, хотя где-то в горле стоял тоскливый вопрос: «Неужели отец несколько не видит?»

— Да по-всякому, Дрюшенька! — ответила мать, кивая седой головой в сторону мужа. — Батьку воно на пенсию вывели, а я на колхозном дворе, все хожу за тел-

ками. По сто и боле в месяц-то получаем. Живем при деньгах. А ты тамо как? Не женивсе?

Вопрос был для Андрея не из приятных. Расстегивая портфель, пробубнил:

— Женился, дак всяко бы написал.

— А пора бы, пора семейкой-то завестись.

— Все в лесу да в лесу, дак и некогда.

Мать улыбнулась:

— Чего в лесе-то, Дрюшенька? Чего делаешь-то там?

— Да все, — ответил Андрей, — я же писал. Просеки прорубаем, съемки всякие, пикетаж.

Ничего не поняв, но почуяв, что сын при ответственном деле, мать предположила:

— Трудно, сынок? Тут, небось, большую голову надо.

Андрей вынимал из портфеля коробку конфет, полевой бинокль, лакированные черные туфли. Вынимая, задумчиво говорил:

— Учимся, мать. Без учсбы нынче высоко не прыгнешь.

— Терпенье надо, — заметил отец.

Мать сложила руки на животе:

— Изломал, небось, всю голову от ученья. Молоденькой, а плешина на голове.

Андрей, краснея, подумал, что мать, наверное, нечто подобное скажет и про очки, потому их снял и спрятал в карман вельветовой куртки. Но мать, желая узнать все обстоятельно и подробно, спросила:

— Глядельчики-ти носишь давно?

— Нет, нет, — поспешил успокоить ее Андрей, — недавно, совсем, можно сказать, на днях.

— О-ё, Дрюшенька! Ты хоть сколько-нибудь, да видишь. А батька-та твой... — Мать поежилась, замигала, и ее рябоватое, в мелких морщинках лицо как-то сразу все постарело. — Не жалостлив милушко-бог к нему оказавсе.

Держа в руке полевой бинокль, Андрей еще ниже склонился над стулом и исподлобья взглянул на отца. Отец стоял, опираясь одной рукой о приступок печи, второй — о выступ полатей. Был он прежним здоровяком — румяноскулый, русоволосый, и лишь из-под бровей каменно и спокойно смотрели глаза.

— Чего со зреньем-то, батя? — тихо спросил Андрей.

— Да на работе оставил.

— Хоть немного-то видишь?



— Кабы видел, разве таким бы был вялым.

Рука Андрея выпустила бинокль, и тот стукнулся о сиденье стула.

— Чего это там? — спросил отец.

— Это... Это бинокль. Помнишь, как ты хотел его. Зря, выходит, привез... Думал, за рябчиками походим.

Отец пошарил рукой по подпечью. Нашел батог. Присел с ним к окну. Посмотрел, будто зрячий, на тускло синевший прилесок.

— А что? И походим! — сказал с вызовом и бахвальством. — Я мужик ремесловый! Для начала с маткой сброжу. Рябков желаешь на завтрак?

— Но как? — растерялся Андрей.

— А так! Считай, что оне на столе!

Андрей с сомнением покачал головой: «Заливает, батя. С чего это он? Вроде еще не выпил...» Сунув бинокль в портфель, он уселся на лавку и грустно подумал: «Э, батя, батя... Неужели ничем тебе не помочь?!»

Мать куда-то все убегала. Возвращалась назад с тарелками, кринками, сковородами. Отец топтался возле стола, выставя из горки стеклянные стопки.

За столом после двух полных стопок Андрей маленько подзахмелел. В потеплевшей от водки груди поднималась щемящая радость. Он снова взглянул на отца. Минуту назад, изучая его, он испытывал чувство, какое бывает при виде немощных людей. Теперь же он видел в отце обычного рослого мужика, каких он часто встречал где-нибудь на повале деревьев или разгрузке барж, спокойно-покладистых, умеющих много работать, непременно с большими руками и всегда с безотказно-широкой спиной, на которую можно взвалить даже то, что бывает ей не под силу. Выпив еще одну стопку, Андрей спросил:

— Что же все-таки у тебя со зрением?

— Андрюха! Чего об этом и говорить. Случайное дело.

— Случайное, да не больно, — вмешалась мать, — лезешь, куда другие не лезут. Вот и мучайся после того. О-ё-ё! Была в доме радость. А где-ка ноне она? С батожьем вдоль заборов бродяжит. Вот-ка где... — В голосе матери слышались отзвуки давнего горя, что однажды вошло в ее душу, да так с тех пор в душе и живет, не давая забыть о себе.

Отец тяжело навалился на стол:

— Говорить-то надо с понятием. Без понятия можно и поднаврать. Я, к примеру, другое скажу. Сам себе на радость никто не живет. Ни худой человек, ни хороший.

Андрей снисходительно улыбнулся. Отец у него все такой же. Раньше все искал правду да справедливость, а теперь еще и за радость взялся.

— Я, батя, с тобой не согласен. Ты сказал: сам себе на радость никто не живет. А разве жизнь у нас не на том стоит, чтобы радость себе создать?

— Радость зависит не от тебя, — сказал отец убежденно, — от людей зависит она. Вот так-то, Андрейко. Послужи на людей, и они на тебя послужат. Вот в чем радость-то наша. А коли этого нет, дак и радости не будет.

— А что же тогда будет? — заспорил Андрей.

— А будет тогда близир, а не радость. Бойся, Андрейха, близира. Он многих сбивал с пути. Лучше, Андрейко, служи людям.

— Мелешь, старый, бог знает чего, — снова вмешалась мать. — Послужи на людей... Ты служил вон на Сана Дианова, вот и живешь теперь доведенный.

Отец отклонился к стене, слегка обиженный словами матери.

— Доведенный — еще не порченный. Как-никак от меня есть и прок. Небось, живу не даром. Колхоз, спасибо ему, заданьем не обделяет. Корзины плести — давай! Грабли делать — пожалуйста! Могу и тяжелое! Летось вон кто для строительства клуба камни из берегу выворачивал? Я выворачивал! Мужики по троенке не могут, а я один! Силой-то я, как конь молодой! И сердце работает — у-ух! Работное сердце, хоть ставь в самолет вместо мотора.

— А все-таки что у тебя с глазами? — упрямо спросил Андрей.

— Э-э, чего там! — отец погладил рукой по лицу. — Дело-то прошлое. Корчевал с Саном Диановым под общественный луг черный лес. Он с бульдозером, а я в помощь ему — где топориком, где просто рукой. Хорошо у нас шло. Только пни на сторону летели. А тут возьми у трактора-то с одной стороны отвал и нарушься. Сано остановил трактор, кепочкой вертит. Приварить, говорит, ничего не стоит, давай поехали в мастерские. Прикатили туда. Нашли сварочный аппарат, защитную маску. А на маске по стеклышку трещинка — тонкая-тонкая,

ровно кто обронил катушную нитку. Увидел Сано ее, говорит: надо поопасись. Я заругался: «Боишься?! Дай-ко сюда!» Приткнул электродик к железу. Видеть-то должен бы снопик огня, а вместо него вижу белых зайчишек. Много их, много, и каждый заскакивает в глаза. Пока варил, насобирал их целую голову. Размышляю промежду дела: сейчас-де закончу и всех вас живешенько прогоню. Маску снял. Глянь?! А глаза-то мои не светлый полудень видят, а черную ночь... Вот какое, Андрейко, со мной приключение вышло. Ослеп я с того...

— И давно это было?

— Ну как... Шестой вроде год.

— Шестой?! А я-то чего не знал? Чего в письмах-то не писали?

— А что расстраиывать-то. Не знал, и слава богу. Спокойнес хоть жил.

Помолчав, отец продолжал:

— Ты, Андрейко, на нас не пеняй. Живем не хуже людей. А кое-кого и получше. Чего другие слепые не могут, то про нас не скажи. На непрожитый-то остаток, даром, что нету глаз, а глядим и видим его, и даже чуем в нем стариковскую нашу походку...

«Как же я завтра уеду? Чем объясню? — мучительно думал Андрей, глядя на отца. — Что я проездом, в командировке, и домой заглянул по пути? Нет, такое нельзя. Но что же? Что же другое?»

\* \* \*

Проснулся Андрей с чувством мрачного беспокойства, словно кого-то он обманул, и надо это скорее поправить. В закрытое занавеской окно просилось морозное утро. Из кухни плыл запах овсяных блинов. Одеваясь, Андрей прислушался к звукам. Никто не ходил, никто не гремел ухватами и чугунами. Лишь где-то над печкой тоскливо потрескивал бойкий сверчок. Андрей прошел на кухню. Но там не было никого. Мать, наверное, на работе, обряжает своих телят. А отец? Андрей заглянул за ситцевый полог, где стояла большая кровать, — но та заправлена одеялом. Посмотрел с приступка на печь — на печи одни валенки да фуфайки.

Андрей накинул отцовский ватник, в котором тут же и утонул, настолько он был велик. Вышел в сени:

— Ба-атя!

От крика зашевелилась висевшая под потолком морозная паутина. Открыл дверь на повесть Удивился, увидев то, что можно увидеть в колхозной столярке: груды новых лопат, грабли в углу, белевшие тут и там косьевыща, топорыща, две пары обитых лосиной шкурой охотничьих лыж. Андрей поправил съезжавшую с плеч фуфайку: «Неужели все батя сделал? Да как это он? Ну надо ж...» Андрей покачал головой и прошел на крыльцо.

Утро разгоралось. На снежные огороды мягко ложился заревой свет. На охлупнях бань перекликались вороны. Андрей вспомнил вчерашний вопрос, который задавал себе. Было в вопросе что-то тревожное, нервное, и решить его надо было сейчас. В чью пользу решить? В пользу родителей или в свою? Андрей сжал пальцы, не замечая, что сжал их вместе со снегом, который белел на перилах крыльца. Он почувствовал, как сыновье, жившее в нем всегда где-то рядышком с сердцем, стало медленно гаснуть, и он ощутил себя тем волевым, упорным человеком, каким был на работе, когда назревала необходимость выдержать спор или призвать кого-нибудь к дисциплине. И понял Андрей: оставаться в деревне больше нельзя, пора собираться в дорогу, а перед этим дожидаться родителей и сказать правду.

Он долго еще стоял на крыльце. И вдруг изумился, увидев на тропе прогона фигурки матери и отца. Они приближались. И опять между ними — батог. Отец шел с пестерем на спине — настолько широкий и большой, что, казалось, тесно было ему меж прясел. Андрей достал носовой платок и протер им очки. Где-то в дальних закрайках души шевельнулось растроганно-кроткое, молодое, и вспомнилось то позабытое чувство, которое так волновало его в мальчишках, когда навстречу ему, дыша богатырским здоровьем, шел с лесным гостинцем его синеглазый отец. И сейчас он шел в лохматой бараньей шапке, полушубке с кудрявым воротником, большеногий и большеплечий. Андрей, путаясь в рукавах фуфайки, суматошно сбежал с крыльца:

— Это куда вы ходили?

— По лесное мяско, — ответила мать, заходя на крыльцо, — ай забыл, чего батяка тебе обещал?

Отец снял пестерь и, откинув круглую крышку, вывалил в снег трех рябых, пахнущих хвоей и перьями птиц:

— Вот и завтрак, Андрейко.

— Это как, интересно, вы умудрились?

Щеки отца раздвинулись — он снисходительно улыбался. Кинув рябков в пестерь, махнул рукой в сторону свежего следа:

— До лесу этга рукой подать. Далекко мы со старухой не ходим. По визиру, от елки к елке. Силки-ти под ними как раз и ставим.

«Как же они так? Выходит, не первый раз вот так ходят вдвоем в лес», — думал Андрей, слушая теплый, ласкающий голос отца.

— Погоди, Андрейко. Мы с тобой еще много дел сочиним. И за зайцем в Демьяновский волок сбродим, и за рыбой на Печеньжицу. Поживешь-то ты у нас долго?

Вопрос отца застал Андрея врасплох. Решенное минуту назад стало казаться невероятным.

Отец ждал, сняв с головы лохматую шапку и обивая ею с валенок снег. Андрей смотрел на него с удивлением и испугом и неожиданно понял, что если он заикнется сейчас об отъезде, то этим такую обиду отцу панесет, от какой и зрячий-то человек оправится не скоро.

Обив с валенок снег, отец взвалил на плечо пестерь и, щупая батоном дорогу, прошел к столбяному крыльцу.

— Батя?! — окликнул Андрей.

Отец повернулся. В своей лохматой бараньей шапке и полушубке, занявший почти полкрыльца, он был похож на какого-то древнего человека, который пришел из другого века, желая увидеть нынешний, но увидеть его не сумел и от этого стал бесконечно печален.

— Батя, — сказал Андрей, приближаясь, — а когда мы за зайцем пойдем в Демьяновский волок?

— Можно и завтра.

— А за рыбой в Печеньжицу?

— А уж это, сынок, сам решай. Отпуск-от долог ли у тебя?

— Долг, — ответил Андрей и помрачнел, вспоминая с досадой командировку, в которую он не уехал, за что и придется теперь отвечать.

Он поправил сползавшую с плеч фуфайку и огляделся по сторонам. Солнце вставало. От багрового горизонта, от труб, выпускавших в небо синие столбы дыма, от заваленных снегом дворов веяло привычным, деревенским, зимним.

— А может, и не придется! — сказал вслух Андрей, и сердце его отчаянно застучало, как если бы он совершил поступок, которого от него никто никогда не ждал.

— Батя! — крикнул он, забегая на кухню. — Дай поскорее конверт!

Отец выдвинул ящик горки, подал конверт и, услышав скрип авторучки, спросил:

— Уж не письмо ли затеял?

— Ага, — улыбнулся Андрей и на чистом листе разборчивым почерком вывел:

«Директору проектного института  
С. С. Поликарпову  
от инженера А. И. Куницына

заявление

Прошу уволить меня по собственному...»

Андрей услышал, как на его плечо мягко-мягко легла ладонь. И почувствовал он себя под этой ладонью каким-то маленьким, несерьезным.

— Не надо, — промолвил отец.

Авторучка выкатилась из пальцев. Андрей расширил глаза:

— Чего?

— Чую: обманываешь себя, — объяснил отец, — ведь не в отпуск ты к нам приехал.

Андрей встревоженно улыбнулся, поправил очки, и вдруг в груди у него затомилось и стало расти какое-то благородное, гордое чувство.

— Насовсем приехал, — сказал, стараясь, чтоб голос его звучал естественно и спокойно.

Андрей сидел, ощущая затылком дыхание бати, который стоял за его спиной и уверенным голосом говорил:

— Инженером стал — и вдруг навсегда в деревню? А чего, скажи, будешь делать? Нешто пойдешь с топором? Нет уж, Андрейко. Мы со старухой эдаку жертву не примем. Спасибо тебе, что присхал на нас поглядеть. И собирайсе-ко в путь-дорогу. По голосу слышу: не ты хозяин времени своему. Когда назад-то тебе? Сегодня?

— Сегодня, — сказал Андрей виновато.

— Пушай, коли так. Не твоя вина, что жизнь тебе выпала городская. Так, значит, надо. А об нас не тужи. Наша жизнь не на нитке висит. Мы еще ой как много трюнинок истопчем...

Уходил Андрей с туго набитым портфелем. У колодца остановился. Попрощался со стариками и, закинув портфель за плечо, направился по дороге. За околицей обернулся и увидел свою одряхлевшую мать, которая шла семенящим шажком и вела за батога отца. Отец ступал осторожно — большой и высокий, с русоволосой взлохмаченной головой, держа в свободной руке длинноресную шапку, которой время от времени гладил себя по лицу. «Плачет!» — дошло до Андрея, и грудь его встрепенулась на тяжком щемящем вздохе и налилась невозможной болью.

Было морозно. Солнце спряталось в облака. С рябиновой ветки скользнула на землю снежная струйка. Где-то на верхнем порядке скрипнула дверь. Скрипнула тонко-тонко, словно жалуюсь на судьбу.

1976 г.

## ДЬЯВОЛОК

Восточными окнами изб деревня Починок кидает поглядку на вятскую речку Лалу, а южными — смотрит вприщур на далекую рать вологодского бора. От Починка к Великому Устюгу среди перелогов, полей и лесов петляет дорога. По этой дороге и посылала летней порой полеводка колхоза «Завет» Ангелина Ивановна Добрякова своего недоростыша Петю:

— Поезжай-ко, золотцо, в город. Учись дальше-то...

Но сын считает, что хватит учиться. И так восемь классов закончил.

— На фиг, мамка. Небось в городе управятся без меня...

Мать не перечит. Так-то, пожалуй, не хуже будет. Чем бы Пете она помогала, если бы он уехал? Получка от силы шестьдесят рублей. Не делить же ее на части.

И все-таки кажется матери, что смогли бы они перебиться. Овечки-то целы и невредимы. Почему бы их не продать. Год-то бы протянули. А там бы снова придумали что-нибудь. Жалко Ангелине Ивановне Петю. Сколько лет мечтала, что выучится он на какого-нибудь грамотея. Нынче-то без учебы куда?

Да с Петей много не наговоришь. Что ни утро, то из дому вон. Целый день пропадает. Возвращается грязный и радостный, бумазейный пиджак маслом светится.

Через неделю вдруг объявил:

— Меня, мама, на работу приняли!

Работа у Пети нехитрая. Одному — ключ там, гайку подаст, второму — околотит с поддона засохшую глину. В конце концов надоело ему все это. Подходит к механику Власову.

— Чего мне, долго на подхвате-то быть?

Власов — человек мягкодушный, не хочет он для Пети худого. Сделает он, скажем, из него тракториста — а если у парня талант к другому? Механик сдвигает со лба зеленый картуз.

— Потерпи, Пестро, не все сразу. Сперва я должен к тебе приглядеться.

Очень уж охота Пете самостоятельным стать. Учить-то уму-разуму охотников хоть отбавляй. А на что они парню? Пичкают советами каждый день, да еще придираются: то не ладно, другое не так.

Один лишь Юра Параничев относится к Пете снисходительно. С Юрой Петя в одной деревне живет. Мужик он покладистый, из тех, которые со всеми хорошо уживаются. Возраст Юры подпирает годам к тридцати. Он широк, белобрыс, с толстогубого лица поглядывают веселые глазки. Нравятся Пете веселые люди. С ними готов он хоть горох воровать, хоть драться с парнями соседней деревни. Правда, с Юрой не станешь делать ни то ни другое, зато с ним можно порассуждать. Больно уж Юра горазд посмеяться.

Петя, как-то шагая с ним в мастерские, спросил:

— Тебе смешно или хохотно?

Удивился Юра:

— Нешто разница есть?

— Да как! Смешно — когда тебя рассмешили, а хохотно — когда сам рассмешишься.

— Ты где это вычитал? — спросил с подозрением Юра.

— Сам придумал.

— Ну, ну, — скользнул Параничев взглядом в сторону, точно был там еще кто-то третий, кому старался он показать, с каким, мол, зеленым юнцом ему приходится разговаривать. Потом спросил неожиданно: — Чего у тебя с зубами-то? Нешто болезнь какая?



— Хы... — обиделся Петя. — С чего ты выдумал?

— А почему они крысятся эдак?

Петя даже остановился.

— Ладно-ладно, шучу, — улыбнулся уступчиво

Юра. — Хотел проверить тебя: дай, думаю, погляжу, умеешь ли ты сердиться. А то как на тебя ни взглянешь, ты все какой-то довольный.

Злости у Пети как не бывало. В самом деле, почему бы на него не взглянуть, когда он сердитый.

От Починка до мастерских колхоза «Завет» ровно два километра. Пока на работу идут, наговориться обо всем успевают.

Начинает обычно Петя:

— Ты чего вчера делал?

Юре приятны такие вопросы.

— Картошку окучивал, — скажет и эдак сытенько улыбнется. — Ее нонь страшным-страшно нарастет. Ветка-то уж теперь раздалась, ровно ивовый куст. А все оттого, что навозу с избытком клал. Да и сажал ее сам. Ни Марью, ни мать не допускал...

Петю от таких объяснений возьмет позевота.

— А потом чего делал? — спросит, чтоб Юра сменил пластинку.

— Потом ел. Скусных пряжоников Марья мне напекла. По кухонной части она, брат, тово, хиторукая у меня...

Не перебой его вовремя — и Юра будет рассказывать долго, вздохом: чем, когда и как часто кормит его хиторукая Марья.

— Юр, — наконец не выдержит Петя, — ты, когда парнем был, как с девками то знакомился?

— Да всяко. Парень-то я был с дальним прицелом. Но случались и промахи. Одинова даже тово, частуху про меня сочинили.

— Какую? — загорятся глаза у Пети.

— А хоть бы эту. Не Марья составила, не подумай. Была тут одна. Особочка та еще! Да только не для семейной жизни поспела — для целованья и всего такого потешнова. Раза и мне поддалась. Ну я, конечно, не растерялся. То-се — и готово. Думал, на этом нашим связям конец. Да не тут-то, брат, было. Пристал ко мне: давай, мол, гулять. Ну а я ни в какую. Боялся паскудной славы. Так она что сделала? Взяла, да в тот вечер против моих хором и пропела:

Мой-ст миленькѣй пѣс  
Утащил меня в овес.  
Девки спрашивают все:  
Чего делали в овсе?

— А где теперь-то она? — полюбопытствует Петя. И Юра покладисто объяснит.

За таким разговором куда и время летит. Останутся позади перелесок, прогон, скотный выгон, сушилка. И сквозь опушку мелькнут мастерские.

— А ты чего делал вчера? — в свою очередь, спросит и Юра, но уже с покровительственной усмешкой, с какой взрослые сохраняют необходимое расстояние в разговоре с неопытной молодежью.

— Я книжку читал, — скажет Петя.

— Книжку?

— Ну... Читал там, про этих, как, землю-то роют которые...

— Про геологов!

— Не! Археологов!

— Поди, — удивится Юра. — Это ведь как по науке. Неужто понял чего?

— Местами не понял, а местами — нормально.

— Писателя-то не помнишь? — снисходительно улыбнется Юра.

— А я на них почему-то и не смотрю.

— Эт с какой-такой стати?

— Да с такой, что книжек читал я пелишка.

— А все-таки? — спросит весело Юра, хотя ему безразлично, сколько на Петиной совести прочитанных книг.

— Да штук-то десять, поди, уделал.

— За месяц?

— Да не...

— А-а, за год. Ну так-то и я умею.

— Да не за год, — поправит Петя с досадой. — За всю мою жизнь.

— Петька, брат ты мой! — дальше Юра на слова не способен: подбородок, кадык и щеки его сотрясаются смехом, да таким заливисто-громким, что у Пети мелькает мысль: неужели он глупость какую сморозил?

В мастерских Петю используют кто как может.

— Петро, сбегай в контору, унеси накладные, — посылает механик Власов.

Не успеет Петя из конторы прийти, как снова заданье.

— Воно-ка, Петька, ведро! — крикнет какой-нибудь тракторист. — Слетай-ко по масло! Получи у Якшонка!

Так целый день и гоняют его взад и вперед. До того догоняют, что встанет Петя, выпятив грудь, брови, как черные застрехи, а глаза под ними жалыцами светят. В таком состоянии лучше его не троны!

— Дьяволок, настоященькой бес, — ухмыльнутся механизаторы между собой. А если пойдут ему на уступку: — Ладно, Петро, давай-ко лучше покурим, — тут он сразу и сдастся, заулыбается, как счастливчик.

Механизаторы — народ понимающий, быстро раскусили Петин характер, знай похваливают его, и парень готов в лепешку разбиться. Но бойчее всех реагирует Петя на голос Юры. Тот по мелочам ничего не заставит.

— Поедем, Петро, скатаем по тес!

Это вот дело. Трясется Петя на мягком сиденье и, поглядывая в стекло, прикидывает: много ли еще осталось езды? Хочется ему, чтоб дорога была длинной и чтоб ехать по ней до самого горизонта, за которым скрывался Великий Устюг, город, куда уехали после школы многие Петины одноклассники.

— А потом, может, снова сгоняем куда-нибудь? — спрашивает, преданно улыбаясь.

— Что? На побегушках-то надоело?

— Давно надоело, — соглашается Петя.

— Верно, верно, Петро, что ты делаешь — это не работенка, не по твоей, брат, натуре. — Юра говорит задумчиво, степенно, словно подлаживаясь под настроение Пети. — Надо будет тебе помочь.

Юра видит, что Петя растаял. Растаял больше, чем, может, надо. Это Юре не любо. И он готов уже досадить.

— Парень ты с головой. Вон какие щски наел. Да и нос будь здоров! Его бы тово, подвострить: в самый бы раз пазы выколупывать...

Не посмотри бы Петя в упор, Юра бы надсажался от смеха. Но взгляд у Пети острый и хмурый, словно он хочет понять: насколько всерьез его принимают за полноценного человека.

— Ну не хотел, не хотел, — успокаивает Параничев Петю.

— На фиг ты нужен мне. Я с тобой не поеду. Высадь меня!

— Нет, Петро, никуда я тебя не высажу. А вот возьми да и дам тебе попоехать. Садися! Чего?

Петя вскидывает на Юру светящиеся робким восторгом глаза. «Правда?» — как бы спрашивает ими и, убедившись, что правда, перелезает на Юрино место.

Трактор ползет с угрожающим ревом, ползет в чаду, дребезжании траков, и Петя упивается тем, что он ему безотказно-послушен.

— Хватит на одном-то месте молотиться! — командует Юра. — Третью включай! Да не бойся! Всяко ведь подстрахую.

Петя бросает на тракториста сияющий взгляд, выражая всем своим видом, что теперь он для Юры верный союзник и друг, и пусть он об этом знает и рассчитывает на него.

— А ты, Петро, брат, тово... Смело взялся. Есть в тебе, видать, эта, механизаторская, как ее...

— Жилка, — подсказывает уверенно Петя, потому что про эту жилку он слышал тысячу раз.

— Ну да, жилка, — соглашается Юра и вдруг спрашивает ни с того ни с сего: — Седни вечером чем займешься? Опять про геологов будешь читать?

— Не. Пойду, наверно, в кино. А ты?

Юра будто готовился к такому вопросу.

— Я в лес, — говорит он устало, — надо вырубить три лесины для дома. Подоконные бревна погнили. Хотел, вишь ли, с Марьей, да та чего-то опять приболела.

— А можно с тобой? — предлагает Петя свои услуги.

— Не жаль. Только мать, поди-ко, тебя заругает.

— Хы! Мать! Да хочешь знать, она рада будет!

Не думал Петя, что Юра из его безотказности станет веревочки вить. Где только Петя ему не помощник? И на ремонте хором, и на вывозке сена... Дело дошло до того, что чуть не каждое воскресенье он стал тратить на устройство чужого хозяйства. Механизаторы похихикивать начали:

— Не в батраки ли ты, Петро, записался?

Воскресное утро не разгулялось еще, а Юра уже топчет порог. На толстогубом лице — озабоченность, голос же проникает в самую душу:

— За жердьем собираюсь. Изгородь-то совсем упала. Ты бы, Петро, не мог со мной?

— Ну почему, — роняет Петя, сбитый с толку обезоруживающим подходом, но, вспомнив насмешки колхозников, кисло морщится и вздыхает. — А вообще-то я позабыл. Мне ведь некогда нынче.

— Что так?

— Пойду на Лалу. Клев нынче больно охотный.

Параничев смотрит на узенький Петин лоб, над которым ехидно топорщится сжик волос. «Да он надо мной вроде того... Вроде смеется...»

— Так, так, — говорит, переводя взгляд на Ангелину Ивановну.

А та ладонью рот прикрывает. «Ага, и эта смеется!» — Параничеву становится ясно, что и Петя, и Ангелина Ивановна раскусили его. Не надо бы приходить ему в это утро. Всему своя мера.

— Извиняйте тогда, — говорит, стараясь поправить свою оплошность.

— А чего извинять? — В голосе Пети звучит скрытый вызов. — Не за что нам извинять, — добавляет, помешкав. — Это ты извини. А то пойдем, буде, вместе. У меня и удка лишняя есть.

Застывает Юра у двери. Обидно все же, когда над тобой смеются зеленые недоростки.

— Ангелина, — говорит он, покашывая глазами на Петину мать, — а ведь у сынка твоего вроде...

— Чего?

— Рога прорезаются, — добавляет Юра, — одно, Ангелина, мне непонятно: в кого он рогами нацелился?

Юра ушел, тяжело хлопнув дверью. Ангелина Ивановна испуганно сжалась.

— Может, зря, сынок, Юру-то не уважил? Как бы хуже не стало.

— Никак, мамка, ты его опасаясь?

Уж больно Петя прост и наивен. А Ангелина Ивановна столько на своем веку всего навидалась, что знает: без опаски не проживешь.

— Боюсь-то ить за тебя, — сказала она печально. — А вдруг Юра тебя невзлюбит, будет шпынять да кореводиться над тобой?

— А ну тебя, мамка, с твоими страхами. По тебе жить, так на всех людей надо жмуриться. Неужто я дамся в обиду? Да я этого Юру...

— Не торопись. Рано еще тебе судить людей. Для этого надо до стариковских годов дожить. Юра-то — мужичок тороватый. С доски Почета не слезает, как робить начал. И начальство его похваливает. Ну что он тебе сделал худого?

Застыдился Петя своей горячности, но пойти по совету матери вдогонку за Юрой наотрез отказался.

— Не хочу, чтоб меня теснили.

В том, что Параничев о случившемся не забыл, Петя убедился на следующий день, когда они остались вдвоем.

В мастерских было просторно, пахло железом и соли-  
доллом. Петя обтачивал на наждачном круге втулку для дизеля. Искры фонтаном — знай береги глаза. Петя подумал об этом, когда в роговицу будто кто иголку всадил. Помигал, помигал, но боль не стихала.

— Пойду домой, худо мне, — сказал Юре.

— А кто мне помогать будет? Или я за тебя вкалывать должен?

— Ей-богу, мне худо!

Юра, не торопясь, вытащил из кармана пачку «Волны», достал папироску, подул в нее и, видя, что Петя вот-вот взорвется, легонько съязвил:

— Худо бы было — небось бы стонал.

— Я стонать не умею. Так что давай отпускай!

— А не отпущу, дак чего?

— Сам уйду!

— Ладно, иди. А то еще отвечай тут за вас. — Юра плюнул, растер плевков сапогом. — Да стой! Деталь хоть закончи. Или уж вовсе тово?

Спорить Петя не стал. Опять за станок. Точит деталь, а ощущение очень уж скверное, будто в голову еж забрался, да так пронзительно колет, что хоть кричи на все мастерские.

Параничев подошел с недоброй ухмылкой, хотел было что-то съязвить, как вдруг отшатнулся, и Петя увидел в его глазах тот самый ужас, когда бояться не того, что случилось, а последствий, которые потому и тревожат, что неизвестно чем еще кончатся.

— Давай ко врачу! — закричал он на Петю. — Я думал, тово, мусоринка какая. Ну-ко давеча не заметил...

В больницу Петя отправился с матерью. Из кабинета вышел, голова вся в бинтах. Подает матери крошку железа.

— Вот этой штучкой меня.

Мать в слезах:

— А если глазок отемнѣет?

— Как бы не так! Теперь он зорче прежнего будет! — хвалится Петя и, чтоб увериться в похвальбе, быстро срывает повязку.

— Золотцо! Завязать ить надо. Давай-ка, давай, Петя!

— На фиг, мамка, еще смеяться будут, — упорствует сын и подмигивает больным глазом, будто все уже зажило.

Думала мать, что к мастерским теперь Петя близко не подойдет. А он на другое утро снова туда.

Ангелина Ивановна пыталась было и курсами соблазнить:

— Ужо с председателем потолкую.

Петя пускает в ход решительный довод:

— На кой мне-ка курсы. Голова моя и в школе-то слабо усваивала, а на курсах — и подавно. — И улыбается до ушей, благо доволен, что самостоятельность свою отстоял.

За год Петя поднатолкался в механизаторском деле так, что хоть на трактор его сади. Но тракторов свободных нету в «Завете». «Хотя бы раз дали куда-нибудь съездить», — думает Петя и просит об этом Юру.

— Не по адресу обратился, — заносится тот. — Я человек семейный, мне заработка нужна.

В глазах у Пети — ядовитые жальца.

— Когда пособлял трактор тебе излагать, небось говорил другое. А теперь заработка нужна... Ну чего тебе стоит? — упорствует Петя. — Дай проедусь! Трактора не убудет.

— Уймись, — советует Юра.

Понимает Петя: просить бесполезно. Покачиваясь над плугом, он безучастным взглядом окидывает пласты разработанной пашни.

Домой он приходит измученный, грязный. Мать руками хватается за лицо.

— Умаялся как! Ох ты мое горе! Давай-ко, Петя, я к бригадиру схожу. Пусть на лошадь переведет.

— На фига она мне. Задорно и тут.

— Доведешься, Петенька, лица на тебе нет. Да и глазок надсадишь. Слаб ить он у тебя.

— Ничего не слаб. Другие вон без рук без ног работают, да и то ничего...

Полуночи Петя едва дождался. Со школьником Серегой, мальцом отчаянным и бесстрашным, договорился заранее. И вот теперь оба вышагивают к темному пятистенку, напротив которого Юрин трактор

Петя подсаживает Серегу в кабину. Сам открывает капот. Волнуясь, наматывает на руку шнур. Резко дергает на себя.

— Серега, — предупреждает на всякий случай, — рычагов не трогай пока. — И вдруг замечает в окнах хором Юры вспыхнувший свет.

— Попались! — кричит Серега, собираясь выскочить из кабины.

Но трактор уже заведен, и Петя толкает Серегу обратно.

— Не бойся, Серя, всяко утикаляем.

Не зажигая фар, мчится трактор к зерносушилке. За сушилкой — осиновый лес, клетки дров и сельское кладбище с ветхой часовенкой и крестами.

— Поедем за Куровские поляны, — решает Петя, а сам улыбается, ощущая, как сердце его упоенно стучит.

— Я тебя, Серега, выучу! Оканчивай школу скорей — будешь, как я, трактористом!

— Разве ты тракторист? — ехидничает Серега.

— А ты вредён! — замечает с азартом Петя, — тебя, поди, парни частенько лупцуют!

— Я сам их лупцую!

— За что?

— Просто так.

— Ты, видать, злой, Серега?

— А злым-то лучше! Злых опасаются!

Петя обеими руками выжимает фрикционный рычаг. Трактор встряхивает, и Серега скатывается с сиденья.

— На первом тряске, да и вниз?

— Я, может, нарочно, — оправдывается Серега.

С дороги трактор съезжает медленно, точно остерегаясь тумана, который струится по комьям и по кустам. Лохматая стерня бежит навстречу лучам от фар, мнется под мощными башмаками.

Серега теперь примостился над плугом, как нахох-



лившийся снопик тресты. Петя ему сочувствует и с радостью думает о поре, когда Серега станет его помощником, и работать будут они не воровски, а открыто, у всех на виду

— Эй, не свались! — кричит Петя, высовываясь в потемки.

— Сам не свались! — доносится снизу. — Свалишься, дак куда с трактором-то деваться?

В кабину трактора влетает ночной сквознячок. Петя чувствует свежесть тумана, он смеется, совсем не думая о завтрашнем дне.

Утром Петю ждал суровый вопрос:

— Кто велел?

Петя молчал. С полчаса, наверно, терпел Юрины злые попреки, потом вызывающе усмехнулся.

— Чем я хуже тебя?

Параничев пригрозил пожаловаться начальству и погнал трактор в поле. Там, при виде убежавшего к лесу ровного мелкокомья, поуспокоился. И хотя придрасться было не к чему, крикнул с досадой:

— В углах пустовины много оставил!

— Дак там не трогано с того года, — ответил Петя, забираясь на плуг.

— Скажи лучше, что повороты ладить не можешь!

Раздражение в Пете еще не остыло.

— Не ты ли научишь? — спросил голосом человека, уставшего от придирок.

— Вот дьяволок! А хоть бы и я! До завтрава дня доживешь?

— Надо, что ли?

— Надо! — ответил Параничев. — Завтра я тебя заставлю, тово, пахарить...

Над бежавшими лемехами струились подзолисто-серые волны земли. Петя думал: «И чего он добрый такой?» Сегодня Пете работалось трудно: спал каких-то четыре часа. Сереге небось хорошо. Нежится где-нибудь на поветях, видит десятые сны.

По лицу вдруг хлестнуло словно огромным сухим полотенцем, и пошла по всей шири пыльная за́верть. Где столбит, где завесу подымет. Трактор точно в разорванном облаке. Солнце скрылось.

— Как тебя не засыпало? — крикнул сквозь ветер Параничев.

— Вот еще!

Ветер до самого вечера бесновался, застилая все поле грязной бьющейся мутью. Петя устало спустился с сиденья, хотел отспить от трактора плуг, как вдруг на глаза нахлынуло что-то сленое.

— Петька? Чего с тобой? — схватил Юра его за плечи. — Да ты не тово ли? А, Петька? Неужто ослеп?

— Да не, — улыбулся легонечко Петя, — пройдет. Только надо помешкать.

И действительно, минут через пять перед глазами у Пети заколебался коричневый зыбкий туман и в нем показался Юра. Правда, смутно, неверно, но стали уже различимы его голубая рубаша, руки в масле, испуганный взгляд.

— Ну вот я и вижу! — обрадовался помощник. — Я ж говорил! Ни фига со мной не случится. А утром зорче этого буду. Ты, Юр, правда, что не обманешь?

— Чего?

— Да на тракторе-то сулился.

— Эх, Петро, да коли ты хочешь, я и сегодня могу.

Веселое майское солнце уже закатилось за лес, и от запыльных кустов поползли на дорогу прохладные тени.

— Сейчас мы с тобой, — сказал предусмотрительно Юра, — скатаем э-эвон туда. — И повернул трактор в сторону от деревни. — Там бревна. В том году заготавлили еще.

— Так они сопрели, поди?

— Вот и я так считаю, — согласился Параничев. — Заготавливали для пилорамы. Хотели на тес распилить. Да какой теперь из них тес?

Юра вывернул трактор на тропку и, сминая кустарник, погнал его на прогал. За ольховой завесой открылась сорная вырубка — в пнях, шипицах, темнеющих елках. Трактор прошел вдоль деланки и встал.

Из-под нависи лап выступали тупыми торцами матерые бревна, лежавшие на санях.

— Давай-ко, Петро, зацепляй! — скомандовал Юра.

— А куда повезем-то? На пилораму?

Юра натянуто улыбулся.

— Да ко мне! Али не дошло? Буду ладить белую баню.

Петя глядел на толстые бревна, из которых не только баню, а и дом бы рубить в самый раз, и хотел сказать

Юре, что воровским затеям он не потатчик, но вместо этого лишь спросил:

— А если поймают?

— А ты не пугай, — присоветовал Юра. — Тебя ведь вчера на пахоте никто не поймал. А меня почему должны?

Трактор ревел утробно и глухо. Грузенные сани ползли вслед за ним. «Хоть бы ни на кого не нарваться, — думал Параничев, — а то, чего доброго, в правление сообщат...»

Подъехав к закрытому отводу, за которым виднелась деревня, он выключил скорость.

— Чего, отворить? — спросил его Петя.

— Не надо. Я сам.

Юра выпрыгнул из кабины, открыл отводок, поглядел вдоль посада и вдруг в жидком свете луны приметил механика Власова, который шел от домов к ним навстречу.

Юра метнулся к трактору. Голос растерян:

— Все, наравались! Чего, Петька, делать-то?

— Ехать надо. Чего? Больше нечего делать.

— Тогда, тово, поглядим... Посмотрим, на что ты способен.

— Ты чего? — удивился Петя.

Юре некогда объяснять.

— Меня он не должен видеть. Понял?

— А меня что, должен?

— Тебе тово... Тебе нет восемнадцати. В тюрьму не посадят.

Петя прошелся по Юре встревоженным взглядом:

— А чего я скажу? Куда везу-то их? К тебе, что ли, на баню?

— Не продай, Петро! Христом-богом прошу. Соври что-нибудь...

Юра прыгнул в кусты. Затаился. Стал наблюдать. Власов был уже близко. Вот и фуражка его. Вот и пиджак. Но лицо... лицо оказалось чужое. Да ведь это совсем не механик!

Юра бешено развернулся и, ломая кусты, вырвался на дорогу.

— И-ек! — громко икнул похожий на Власова человек.

Юра с досадой взглянул на него и, гремя сапогами, метнулся за возом. Обогнав тарахтящий трактор, он за-

махал руками, показывая Пете, чтобы тот заезжал в заулоч, где среди неказистых избенок, в тени рослых берез, возвышался его пятистеноч.

— Давай, Петруха! Давай, дьяволок!

Но трактор мчался по главной улице мимо конторы.

— Петька! Э-э! Ты куда?

Петя выглянул из кабины:

— На пилораму!

— Стой, дьяволок! Стой! — потрясал кулаками Юра.

— Отдохни! — посоветовал Петя, высунувшись из дверцы.

— Да я тебя упеку... Упску куда надо! — доносился сквозь грохот рассерженный крик.

Но Петя словно его и не слышал. Он упивался ревом мотора и гнал, гнал трактор к нижним посадкам, за которыми в свете фар виднелись два штабеля теса, складка хлыстов и стросньице иилорамы.

1968 г.

## ПОД МАЛИНОВОЙ МГЛОЙ

Ревет, надрывается в хлевах скотина, стучит за фермой барабанка. Слышится чей-то голос:

— Васька, тебя седни куда Иннокентий направил? Городить Сенькину лягу?

— Нет.

— Тогда овин со мной подновлять?

— Нет.

— Ну что ты заладил нет да нет. Куда, спрашиваю?

— Как куда?! — весело отвечает Васька. — На твою повесть!

— Чего делать-то на моей повести?

— Как чего? Лонское сено уминать.

— Поди?!

— Да не один. С твоей Машуткой на пару...

Брань и хохот несутся по надворьям.

Солнышко еще не высунулось из-за сосновой опушки, а наплывы света, заполнив овсяное поле, широко выяснили деревню. Спешат колхозники. Кто куда.

Вышагивает к нарядной бригадир Иннокентий. Лицо распаренное, в розовых пятнах. Опять кого-то перематюгал.

Перекликаясь с мужиками, несется на телге Клавдия. У молодки ветром подняло подол, выказав выше колен крепкие белые ноги, а мужикам это и надо.

— Ой вы, дикие! — смеясь, ругается Клавдия. — Надсадятся бы вашим языкам!

Лошадь всхрапывает, косится влажным взглядом на бородатого мужика. Это дядя Паша, первый в деревне молчун и печальник. Дядя Паша проворно отпрыгивает в крапиву, разворачивает круче обычного грудь. А вдруг Клавдия поглядит? Но Клавдия промчалась, не повернув головы.

Дядя Паша шагает на Виселку, где будет косить пойменный луг. Трава там вымахала густая, рослая, в золотом переливе лютика.

Идет дядя Паша по ивняковому мелкокустью. Слушает, как посвистывают овсянки да ухаёт беслая куропатка. На сердце сладкая тоска. «Жениться бы, да на заправной сугревушке», — сколько лет уж, пожалуй, тридцать, тайно мечтает он об этом. Девицы теперь не в счет. Никто не позарится: седой волос в бороде. Мечтает дядя Паша о вдовах и вековухах, выбирая мысленно ту, которая была бы самостоятельна, работаща и, самое главное, не любопытна до его прежней жизни.

В последнее время не выходит у него из головы Клавдия. Уж больно она добра на слово, пригожа собой и не обидчива. «Вот бабенка, так уж бабенка! В работу влипнет — токо держись. С ней бы жизнь-то свою направить, — думает дядя Паша. — Однако посмею ли я? Не посмею, поди-ко, заговорить про такое дело. Стыд-батюшка заел».

\* \* \*

Стыд преследует дядю Пашу всю жизнь. С детства причиной стыда его был чернеющий по всему животу фиолетовый родимец. «Чернопупик», — называла его бабушка. Называла так, когда он отбивался от рук. И у маленького Павлуни это слово обрывало дыхание. Из-за него он ненавидел свою бабу. Но чтобы она не обронила нехорошее слово при ком-нибудь постороннем, старался угодить ей, где надо и где не надо.

Особенно обидно было в летнюю пору. Все сорванцы как сорванцы — купались, загорали, посились по берегу нагишом. А он, скрывая свое мальчишечье горе, бежал туда, где не было ни реки, ни солнышка и никого.

Не повезло Павлу и в парнях: его признали негодным к военной службе. Незадолго до призыва он ходил за утками на Тимохины протоки. Целую ночь просидел в волглом ельнике, а когда засочился рассвет, решил перезарядить ружье, чтоб било наверняка. Вставил патрон наспех. Заклинило. А в этот момент вспорхнул на воде селезень. Расклинивая ружье, Павел не рассчитал: патрон взорвался и разворотил вместе с затвором ладонь.

Все в деревне решили, что сделал он это умышленно, чтоб на службу не идти. Попытался рассказать, как на деле было — никто не поверил: знаем, мол, не первый год от людей шарахаешься.

И дядя Паша один из всех мужиков на войне не был.

Так и жил он, недоверчивый, молчаливый и тихий, пугаясь мыслей о собственной свадьбе и собственных детях.

Нелюдим был. Даже работал всегда в одиночку, на отставе от других. Но траву ли косить, пни ли на делянке корчевать или заплотки ставить — в любом деле был на голову выше всех. Председатель Василий Васильевич Мальцев, человек принципиальный и вечно чем-то встревоженный, ценил его за эту двужильную хватку, за то, что дядя Паша был безотказен — будь то невыгодная, грязная или даже опасная для здоровья работа. Он мог сутками не выпускать из рук ножа, которым снимал шкуры подошедших от ящура коров, мог, натянув поглубже кепку, в холодных струях дождя переделывать крышу телятника, что накануне сколачивала бригада халтурщиков.

— Поболе бы таких работников, — мечтал вслух председатель, все чаще и чаще ставя дядю Пашу в пример. И люди вроде бы добрее к нему стали. Казалось, что простили ему искалеченную ладонь и пугающую молчаливость. Почувствовав это, он начал серьезнее задумываться о сватовстве. Старухе-матери, и день и ночь коротавшей на печи и уже не чаявшей, что ее сын когда-либо приведет в дом сноху, нет-нет, да и стал говорить:

— Пожалуй, маманя, и жениться надо.

— И правда, Пашутка, пора бы, — глухо отзывалась мать, — на пятьдесят ведь скоро обернет.

\* \* \*

И вот сегодня, увидав Клавдию, дядя Паша вновь разволновался. «Хорошо-то бы как было, — мечтал он,

обшаркивая косо́й ярко-зеленую гривку, — уж тут-то бы я показал себя. Старанье есть, хитра не падо. Денежек бы скопил на застолье. Шикуй токо — хоть вся улица! Не поскуплюсь! А потом угол бы новый ввел. В старой-то избе не дело жить. Поставил бы из самолучшей елоч-ки. Не изба, а светлая б хоромина была — всем на удив-ление! Лишь бы жизнь-то, наконец, верным боком по-вернулась».

Дядя Паша долго еще махал косьевищем, обходя речные рукава и заливы. Потом, когда солнце зато-милось в зените, спустился к Виселке, умылся, переку-сил ячневым каравашком и вынул из воды намокавшие грабли.

Ныло в пояснице, однако отдыхать дядя Паша не стал. Вчерашняя кошенина широко разбросана, хоте-лось сгрести ее.

Греби на пожне оставалось совсем пустяки, когда из-за березового перелеска выскочил на бурой кобылке председатель колхоза. Он поставил лошадь возле сто-жар и, подойдя к дяде Паше, протянул ему руку.

Потом закурил папироску и только тогда произнес несколько слов:

— Ничего не поделаешь. Надо, надо...

Председатель всегда начинал непонятно, когда подо-зревал, что могут его послушаться. А сейчас он приехал к дяде Паше, чтобы договориться насчет одного щекот-ливого дела и не знал, как сказать о нем.

Беспокоила Мальцева канитель с сенокосом. Прош-лым летом колхозники сумели ухватить для себя пого-жие июльские дни, а для колхоза оставили августовские, с затяжными дождями и еле греющим солнцем. Из-за этого в колхозных стогах сено оказалось почерневшее, жесткое. Да и мало его заготовили, едва хватило до майской ростепели. Обо всем об этом прознали и даже в районной газете напечатали фельетон, в главных героях которого ходил сам председатель. Так что ныне Василий Васильевич не имел никакого расчета давать колхозни-кам былую поблажку. Всем и каждому говорил: «Только попробуй кто для себя заготовить, пока колхозный сено-кос не окончим. Отберу и заприходую сено, как колхоз-ное!»

— Чего надо-то, Василий Васильевич? — несмело спросил дядя Паша.

Мальцев немного повеселел:

— На тебя лишь и надеюсь. Ты лучше кого другого знаешь, где какая пустовинка спряталась. Чувствую, хоть и дал запрет, а людишки все одно начнут самовольничать. Вот ты бы и подсмотрел. Уличим одного-двух — остальные, небось, задумаются.

Дядя Паша растерянно заморгал. Ему было и лестно и жутко. Лестно оттого, что сам Василий Васильевич возлагает на него надежду. Жутко же было от предчувствия, что все это может кончиться худо.

— Право, не знаю, Василий Васильевич, и так на меня немилосердно поглядывают...

— А тебя и знать никто не будет, — улыбнулся председатель. — Ты только заприметь и дай мне знать.

Чувствовал себя дядя Паша прескверно. «Следить ну-ко за своими. Экий срам...» Однако и отказаться не смел. Слишком велика была в нем уважительность к председателю.

— Ладно, Василий Васильевич, — сказал он тихо, — только уж вы никому...

Солнце накалявалось на желтевшие недалекие сосны, когда дядя Паша запрятал косу и грабли в кустах.

Путались в бороде пауты. На Власьевом угоре грохотал почтовый трактор. «Господи, и почему я такой смиренный, — казнил себя дядя Паша. — Садись хоть кто на плечи — свезу в любую сторону...»

Где-то за овсяным полем пропылил грузовик. Крепкий бабий смех донесся до дяди Паши. Мысли оборвались. Из зеленых овсов на миг проглянуло полное лицо Клавдии. «Кабы ее тут и в сам деле встретить», — подумал он. Подумал и вновь представил, будто идет она по овсам. Идет навстречу ему, ясная, словно летний полдень, а на лице выражение нежности. «Для кого эта нежность? — Сердце дяди Паши замерло. — Неуж для меня? А чего? Почему бы и не для меня? Не век же обходить меня женскому глазу...»

Дядя Паша вздохнул. Потом подумал, почему бы ему не сходить к Клавдии, и не когда-нибудь, а прямо сегодня. И если она согласится, то плевал он, плевал с самого крутого стога на предложение Мальцева. Пусть другого поищет.

\* \* \*

Клавдия в тот вечер стирала белье. Услышав в сенях шаги, выпрямилась над корытом. «Кто бы мог?» Послед-



него жениха своего Миколку Проказенкова — вот уж месяц минул, как проводила в город. Миколка по годам ровня ей, успел в армии отслужить, в лесопункте поработаться и даже немного побригадирить в колхозе. Миколка на прощанье клялся:

— Приеду, Клавка, вот погоди. Устроюсь в городе, фатеру подходящую получу и тебя со всем гамузом перевезу.

Глядела Клавдия на водянистые в красных жилках глаза Миколки, в которых томила тяжелая скука, и не верила ни одному слову. Чтоб не сердить, сказала:

— Хорошо, Миколушка, поезжай с богом. Я на тебя не в обиде.

Клавдия вспомнила, что приходил он к ней тогда в сером однобортном пиджаке. А сейчас в открывающуюся дверь выплывал из сеней не серый, а черный пиджак, и не однобортный, а двубортный. Потом из-за косяка показалось сухое лицо с бородой. «Дядя Паша», — упало сердце.

Дядя Паша невнятно поздоровался, постоял в неловкой позе и, сказав: «Пожалуй, присяду», примостился на уголок лавки. Он был одет во все самое наилучшее. От высоких сапог, пиджака и рубахи пахло сундуковой заляжалостью. Лицо дяди Паши, строгое, с глазами исподлобья и узко спадавшей на шею бородой, таило в себе какую-то мучившую его невысказанность.

От матушки-покоенки Клавдия слышала недобрые слова о дяде Паше. Но Клавдия не слишком верила им. Дядю Пашу она знала как тихого, работающего мужика.

Сейчас он сидел на краю лавки степенно, согнув широкую спину, не решаясь ни кашлянуть, ни шелохнуться. Лишь глаза, схоронившись под спутанными бровями, поблескивали, примечая каждое движение молодки. Он видел ее, широкобедрую, мягкую, с высокой сильной грудью, которой было тесно под верхом сарафана. И лицо ее видел, немного полноватое, с канавкой посреди подбородка и смутной синевой под глазами. Все это волновало дядю Пашу, мешало собраться с мыслями. Он провел ладонью по лицу, словно паутину с него снимал, и заговорил тихо, с расстановкой.

— Пожалуй, Клавдия, скажу...

Клавдия слила из корыта мыльную пену, руки сполоснула и обернулась к гостю так, что плеснулся вокруг коленей сарафан.

— Говори, дядя Паша, говори...

— Бобылем живу я, Клавдия. Так-то вот. А еще погляжу, дак и ты вроде...

— Ты, дядя Паша, недомолвками говоришь, тебя и понять-то нельзя.

— Пожалуй, — согласился дядя Паша и вдруг, сам от себя того не ожидая, зачастил взволнованно:

— Поряжался я к тебе, Клавдия, не впервой. Пожалуй, и сказал бы это слово, да все как-то бессилье одолевало. А теперь скажу, коль пришел. Согласилась бы только. Эх, господи-батюшко, какая бы жизнь пошла. Пятистенок бы новый справили, овсечек бы завели. Каталась бы ты у меня, как сыр в масле. И детишки бы под присмотром были. Каждому купил бы по обуткам, по костюму, а может, по плащiku.

Дяди Пашины слова разбередили Клавдию. Ну кто она есть? Девка — не девка, вдова — не вдова. Одногодки ее — одна за другой замуж повыскакивали, а сй приходится ждать. Чего ждать? И кого ждать?

Рано, очень рано изломалась у Клавдии правильная жизнь. Гуляя, она не имела привычки задумываться над будущим. Была она слишком доверчивой: стоило дружку намскнуть о совместной жизни, как она уже верила в его постоянство. Дружок же, оказывалось, жениться на Клавке и не собирался.

Клавдия не огорчалась, если ухажер, увидясь с ней днем, проходил мимо, не отвечая на улыбку и не здороваясь. Не маленькая она, чтоб обижаться. Пусть не приветствует, лишь бы дом ее не обходил стороной. Где-где, а уж в собственной-то избе она живехонько избавит его от всяких там стеснений и неудобств.

Огорчалась Клавдия, лишь когда примечала в глазах ухажера ледок. И смотрит вроде бы на нее с улыбкой, и говорит вежливо, а в глазах что-то затаенное — дума чужая, дальняя, совсем-совсем не касавшаяся ее. Старалась молодка, как могла, чтоб растопить этот ледок: и брагу овсяную варила, и водочки покупала, и обнимала слаще прежнего. Но ничего не помогало, дружок уходил от Клавдии навсегда.

Долгие недели терзала молодку ревнивая тоска. Видела она, как бывший ее любовник с другой прохаживается. Хотела бы Клавдия собственной рукой рушить такие прогулки. Да только какой от этого прок? Бросая ревнические взоры на невестившуюся девицу, спрашивала

себя: чем же все-таки взяла ее супротивница? Лицом — едва ли, характером — тем более. Пристойностью? Сникала Клавдия всякий раз перед этим жутковатым вопросом. Ответ был, бесспорно, не в ее пользу. Супротивница, как правило, была бесспорчна и чиста. А она? Клавдия грустно вздыхала.

Такая уж, видно, ее доля: оставаться на положении молодки с тремя хвостиками-сынками, которым по прихоти судьбы дано вырасти в безотцовстве.

Сынки Клавдию от работы не отвлекали. Росли они закаленными — все лето босиком. К нянькам они не приучены: за младшеньким обычно приглядывал старший. Часто Клавдия садила всех троих на телегу, да так целый день и разъезжала с ними по тряским ухабинам и колеям.

— Что-й эт ты, Клавушка? Пареньков-то истрясешь, — говорили ей сердобольные старушки.

И Клавдия улыбалась, радуясь, что ее сынков пожалели. Сама она жалела своих сыночков. Все-таки без отца... И не могла хотя бы поэтому не питать слабой надежды, когда дверь избы отворялась и на порог вступал тот, кого она ждала и не ждала: «А вдруг да...» И хотя понимала, что в жизни так едва ли бывает, мысль свою о хозяине дома, хозяине работающем, ласковом до детей, берегла при себе, боясь с ней расстаться, ибо знала, без мысли этой пусто у нее станет на сердце.

Клавдия сидела против дяди Паши на стуле, тихая и застенчивая. Никто еще ей таких слов не говорил. «Неужели судьба?» — думала она.

— Дядя Паша, нешто бы ты меня взял?

— А чего? Возьму, дружно бы зажили. Небось, не усчитывал бы тебя ни в чем.

В больших Клавдиных глазах лучилось изумление. Перед ней открывалось мужицкое сердце. Такого еще не случалось при ее положении. И хотя в душе нарастал протест, и сердце нашептывало, что дядя Паша ей не ровня, умом Клавдия прикидывала: другого подобного случая она вряд ли дождется. И уж совсем не главным стало казаться ей, что дядя Паша старше ее на двадцать лет, что он не в меру молчалив и людей сторонится... Хотелось, давно Клавдии хотелось, чтоб и у нее было, как у всех баб. Чтоб мужским духом веяло в избе: куревом, порою хмельным угарцем, а то и незлобивым матком. Все лучше, чем так-то.

— Ты, дядя Паша, налетел, как с ветром, и одумать-ся не даешь...

— Да я что... я не тороплю.

— А почему ты, дядя Паша, бородку носишь? — спросила вдруг Клавдия.

— А-а, эт я так, — смутился дядя Паша, — уж и сам не пойму: все на работу да на работу мысль-то свою настраиваешь, дак тут вовсе и недосуг о бритье-то вспомнить. А теперь, коли надо, состригу.

Клавдия смотрела на широкое во лбу и узкое в подбородке лицо дяди Паши и беспокойно думала: почему все-таки его избегают женщины? Вон ведь какой мужичище! Жила на жиле вьется. А если бы еще снял бороду! Язык бы не повернулся называть дядей Пашей. Паша просто, да и все, а то и Павел, а еще лучше Павел Павлович.

Клавдия не хотела его обидеть, просто не могла допустить, чтоб он таил про себя какую-то недомолвку, поэтому спросила:

— Павел Павлович, ты мне скажи: людей чего сторонисься, и люди тебя?

Спина у дяди Паши резко согнулась, изуродованная на охоте рука свалилась с колена. Избегая взгляда Клавдии, он встал и, не сказав больше ни слова, вышел из избы.

По грязно-серому небу ползли черные тучки. Ползли медленно и лениво. Дядя Паша шел проулками, сцепив за спиной узловатые руки. Остановился под качелями. Раньше никогда не примечал их страшенную высоту, а теперь вот приметил. Приметил толстые, с подпорками столбы, перекладину с оборванной веревкой.

«Что ей, про бабкино прозвище рассказать и как на войну не взяли? Сумлеваюсь, чтобы поверила... — Дядя Паша покрутил пальцами бороду, задышал тяжело и часто. — А може, поверила бы?»

Едва отворил в избу дверь, как мать уже поняла: худо кончился разговор.

Дядя Паша присел, опустив ладони на колени и долго сидел так. Потом подошел к сундуку, сложил туда пиджак и рубаху. Сапоги тоже снял, обул лапти.

В деревне дядя Паша был единственный, кто ходил в лаптях. Школьники и наезжавшие из городов отпускники обычно подсмсивались над ним. Но что они пони-

мали? Знали бы, как легко ноге, особенно когда идешь кочковатой пожней.

Вспомнив разговор с председателем, дядя Паша переоделся во все плохое.

— Куда? Очувствуйся, господь с тобой. Не поспавши-то... — поплыл с печи глуховатый голос.

Дядя Паша ничего не ответил. Стулив за порог, поглядел на прорезавшиеся в черноте неба звезды и пошагал к Сенькиной ляге.

\* \* \*

Он шел, утонув по плечи в тумане. Шел быстрым отчаянным шагом, точно дело, которое ожидало его впереди, было теперь самым главным в его жизни.

В Сенькиной ляге, сразу же за осочным болотцем, теснились ивняки. Они петляли по пожням неровно, то широко раздаваясь в бока, то узко склиниваясь. Принагнув отсыревшие ветви, дядя Паша взгляделся в туман. Никого.

Он выбрался на бестравный суходол и стал вслушиваться в полуночную тишину. И вдруг правее от него зачастил по косе точильный брус. Зачастил весело, серебряно звеня и тая.

Дядя Паша заторопился. Смоченные в ляге лапти не чавкали и не скрипели. «Баба!» — удивился он, рассмотрев впереди женскую фигуру.

Женщина проложила прокосиво до конца поляны, опять поточила брусом, повернулась и пошла ему навстречу, разбрасывая косьевищем травяной вал. Дядя Паша совсем растерялся, когда понял, что это Клавдия!

Первое его желание было уйти. Уйти и забыть, что видел ее здесь. Нет, о Клавдии он не может сказать председателю. Одна, без хозяина... И трое мальцов... И кому-кому, а ей все равно выделили бы покос, и, может быть, даже здесь, на Сенькиной ляге.

У дяди Паши по всей груди разлилась мужицкая жалость. Захотелось немедленно подойти к Клавдии и открыть ей свою изболевшую душу, рассказать, что он ни перед кем не виновен и грехов за ним никаких не было и нет.

И дяде Паше увиделось, как Клавдия ходит хозяйкой в его высоких новых хоромы — ласковая и добрая, с улыбкой, от которой светлеет по всей избе.

Нога раздавила сочную дудку. Треснул сучок. Не под ним — в стороне, шагах в двадцати от него. А потом заплясал по железу точильный брус. Дядя Паша удивленно повернул голову. Бригадир Иннокентий?

Иннокентий, видно, только что пришел. Он стоял в распушенной белой рубаше, долговязый, с худым лицом, на котором резко выделялся длинный хрящеватый нос.

— Павел Павлович! А ты что тут? Постой-ко!.. — Бригадир подошел к нему. Глаза вострее ножей, достают до самого сердца. — Все понятно... Ей, Клавдия! — крикнул. — Иди-ко сюды! Уполномоченный ждет! Торопись!

Испуганной быстрой поступью подошла Клавдия. Увидела грудь в грудь стоявших Иннокентия и дядю Пашу, всхлипнула и отвернулась.

— Чернопупик! Молчун! Самострел! — гремел бригадирский голос, в котором калился презрительный гнев.

Дядя Паша стоял, сгорбленный и вспотевший. Ему хотелось криком кричать, что он ни при чем, что председатель его принудил, но язык не слушался его.

Косить Иннокентий с Клавдией больше не стали. Ушли домой. А дядя Паша остался один среди волглых лугов.

Он ничего не сказал председателю о полуночных косках. Но бригадир Иннокентий на следующий день под вечер на двух телегах привез непросушенное сено, свое и Клавдии, к силосной яме. Проезжая мимо избы дяди Паши, сердито бросил:

— Ей, сыщик! Кого седни пойдешь выслеживать?

Дядя Паша, сидевший возле окна с газетой, вздрогнул и, потерянно улыбнувшись, почувствовал, как в душу его вошло отчаянье. Понял он, что это новое обидное слово приклеится к нему надолго-надолго, а может, на целую жизнь.

\* \* \*

Дядя Паша открыл в огород калитку, прошел за дальние гряды и, усевшись в стручки сурепицы, сильно рванул за кончик бородаки.

Над ботвой, бурно вспоров воздух, взлетело стадо стрижей. Дядя Паша глянул им вслед и внезапно услышал:

— Мам, кие комарики-то большие!

— Это, Миша, не комарики. Поточки это, чивки. Ишь как они чивкают.

Дядя Паша почувствовал, как сердце его жарко забилося.

Он поднялся и быстро подбежал бороздой к забору. Так и есть! На телеге, которую вез мохноногий Орлик, стояла Клавдия. Рядом с ней, цепляясь ручонками за подол, сидел ее средненький сын.

«Мне бы вот эдак, — подумал с волнением дядя Паша. — Мне бы эдак возле нее. Да всю-то бы жизнь!» Из глубины души рвались слова.

— Кла-а-ав, — позвал дядя Паша.

Должна бы услышать. Должна.

Но Клавдия проехала мимо, не повернув головы.

Дядя Паша взглянул на разлившуюся над охлупнями крыш малиновую мглу заката, вздохнул и походкой столетнего старика устало поплелся к дому. В небе проклюнулись бледные звезды. Запахло лебедой и зеленым сеном. Огромная тишина надвигалась на деревню.

1967 г.

## СЫНОВЬЯ И ГОСТИ

Ветки берез мелко вздрагивают, роняя на землю тихие листья. От них разливается слабый ласкающий свет. «Газик» урчит покойно и добродушно, колеса его, будто боясь обидеть дорогу, бегут, едва прикасаясь к земле.

Возле расшатанных белых прясел, похожих на скачущих по угору козлят, мы догоняем старушку. Уступая дорогу, она с батогом и хозяйственной сумкой метнулась через канаву и долго не понимала: почему же машина остановилась возле нее, и даже дверца открылась, откуда вышел шофер и что-то ей весело объясняет?! Наконец до старушки дошло, что ей предлагают место в машине. Ах, как она удивилась!

Старушка сидела на заднем сиденье, рядом со мной, застыв в каком-то благостно-робком оцепенении. Навстречу летели поля с копешками рыхлой соломы, геодезической вышкой и толпами возледорожных рябин, полыхавших гроздьями ягод. За полями на длинном угоре открылась деревня: два низких бескрыших гумна, деревянные погребки и четыре посада высоких изб.

Был ранний вечер, и солнце спускалось за косогор, поливая лучами двухскатные кровли, колодец с большим колесом и девочку на заборе. Старушка обеспокоенно заозиралась, что-то хотела сказать, но вместо этого улыбнулась, и нам стало ясно, что мы просхали ее дом. Развернувшись, машина прошла к колодцу и встала, едва не заехав на крашеное крыльцо.

— Сюда? — обернулся шофер.

— Гой, куколки! Гой, спасибо! — старушка зашебаршила ладонями по сиденью, забирая батог и сумку. — Честь-то какая! Ну-ко к саму крыльцу?! Что деется, гой! У всей деревни в начальниковой машине! Чего старик-от мой скажет! Да вот он и сам! Лексей! — крикнула с повелительной ноткой. — Прймай гостеньков!

Мы не успели выбраться из машины, как возле нас забегал юркий тоненький старичок с серебряной бородой и синими радостными глазами. Помахивая сжатой в руке старомодной фуражкой, он заподталкивал нас к крыльцу:

— Ходчэй, робята, ходчэй! Выставай на крылѣц! Ну-ко такое дело! Старуху мою подвезли? О-го-го! А мы-то себя забытыми чаем. Ан нет!

Пройдя в покои избы, мы уселись на лавку и закурили. А хозяйсва суматошно и бойко захлопотали. Уж чего-чего только не было на столе, а они приносили и приносили — и соленые огурцы, и рыжики в масле, и холодное мясо, и пироги с голубицей, и мед, и горячие щи. Последним поставлен был самовар, полыхавший внизу, сквозь решетку поддонника розовым жаром.

Мы пересели к столу. Угощаемся. Отдыхаем. На душе ласково и надежно, будто мы дома, возле матери и отца, которые встретили нас после долгой разлуки и очень нам благодарны

— Сами-то дальные? — наконец спросила хозяйка.

Мы ответили.

— Гой, куколки, из кой далины вас сюда занесло? И часто, чай, это вы?

— Что часто?

— Да в путях-то-дорогах живете?

— Частенько.

— А мы как привязаны ко двору. Всѣ на одном местечке. Стронуть-то нас отселя, гой, как трудненько. За пять километров сползаешь в магазин, вот и вся, буде, наша дорога.



— Неужели всю жизнь никуда из деревни не выезжали?

Хозяйка взглянула на нас с откровенностью простодушной крестьянки, которой хочется много сказать о себе:

— Мы домоседные с малых лет. Никуда из дому не отлучались.

— Ты что, Антонида, — поправил ее супруг, — я-то ведь отлучался. На целых четыре года, пока шумела война. А ты говоришь! — Он встал, худощавый, в бязевой теплой рубаше и валенках с загнутыми верхами. Пройдя до стряпного стола, принес оттуда пустую консервную банку, поставил на подоконник, снова уселся и закурил: — Да и ты отлучалась. Али Устье-то позабыла? Пийсят небось верст отмахала туда да эстоль же и обратно.

— Гой, правда, робята! — вспоминала Антонида. — Ходила на Устье. Было такое, было. Реки-то большой не видела никогда, а тут на нее как вышла да как углядела, что плывет по ней двухэтажная церква, так от страху и задрожала.

— Это опа пароход за церкву-то приняла! — объяснил хозяин. — И было же там потсхи. Все Устье тогда от смеху понадрывалось!

Мы отпили чай и хотели было поехать дальше, но Алексей сердито закипятился, пробежал по кухне, стал на порог и, раскинув руки, сказал:

— О-го-го? Выдумали чего? А кто ночевать у нас будет? Не! Не! Лучше не сподобляйтесь! И не пушу!

Мы снова уселись на лавку и понимающе улыбнулись. В конце концов это не так уж и плохо, когда тебе предлагают ночлег.

Шофер, устав больше всех от длинной дороги, нашел себе стопку журналов «Крестьянка», зевнул и стал бесконечно долго листать. Фотограф начал возиться с аппаратурой. А я огляделся по сторонам.

Кухня была обычной, по левую руку от входа печь с дощатой заборкой, по правую — ситцевый полог, скрывавший большую кровать, и деревянная лавка. На стенах голым-голо, ни полотенец, ни зеркал, ни фотографий, какие обычно бывают в каждой избе. Однако... Я повнимательней посмотрел и в углу, под божницей, заметил три парусиновых картуза — белого, черного и зеленого цвета. Были они с упруго натянутой тульей и

твердыми жесткими козырьками, совершенно новые три картуза, которые долго должны бы носиться.

— Чьи? — спросил я старую Антонида, убравшую со стола.

Она на миг растерялась: тряпка выпала из руки, по морщинистому лицу пробежала тень воскресшей печали. Но оправилась тут же, вытерла обе ладони о ситцевый сарафан.

— Эта вот, — показала на белый картуз, — Вани. Эта, — перевела указательный палец на черный, — Коли. А эта, — направила руку к зеленому картузу, — Юры.

Меня осенила догадка, что это фуражки ее сыновей, которые очень давно не бывали дома.

— Это ваши, стало быть, сыновья. А живут они где? Наверное, в городах?

— Гой, нет. В городах, стойно нас, не живали. Все трое в земельке.

Мне стало не по себе, словно я подглядел чужое несчастье, которое тщательно скрыто от всех и не падо бы было его тревожить. Досадуя на себя, я сидел и растерянно слушал, как хозяйка шуршала тряпкой по краю стола и негромким голосом говорила:

— На войну одного за другим забрали. Старшего — в сорок первом, среднего — в сорок втором, а малого — в сорок третьем. Никто не вернулся.

— А фотокарточки сохранились?

— Гой, нет. Фотокарточек не бывало. Только эти картузики и остались. Цвет разный, размер одинакий. Покупала их в тридцать девятом, на Устье.

— Это когда церковь-то спутали с пароходом?

— Ага. Четыре штуки купила, на сыновьев да на батьку. Только один картузик теперь на головке, а могли бы и все четыре, кабы не эта война...

Убрав со стола и задернув белые занавески, Антонида уселась на табуретку и, подперев подбородок рукой, повела подробный рассказ. Сперва про своих «парнеков», после про то, как вернулся с войны ее муж, а потом, как жили они на пару, смертно тоскуя по сыновьям, как шли и дошли по житейской дороге до стариковских годов, в которые только тогда и бывает отраднo, когда в покой их дома заходит печальный гость.

— Теперь у нас три гостенька, — сказала хозяйка и, сняв с деревянных катушек один за другим все три картуза, поглядела на нас с надеждой:

— А ну-ко примерьте! Пожалуста! Коли можно...

Мы взяли по картузу и, осторожно надев, посмотрели на старую Антонида. Она стояла в своем полосатом ветхоньком сарафане и водила ладонью по подбородку. Глаза ее были тусклы, и в них томилось желание что-то узнать или вспомнить. Быть может, с помощью нас в этих изношенных картузах хотела увидеть те невозвратные дни, когда жила и она и ее Алексей сердце в сердце с любимыми сыновьями?

— А четвертый-то где картуз?

— У хозяина. Он с войны воротился, да как надел на свою головку, так до сих пор не сымает.

Мы обыскали глазами кухню и, не увидев хозяина, удивились:

— Дед-то куда твой девался? Вроде, только что был?

— На колхозном дворе, — улыбнулась хозяйка, проходя к распахнутой двери, — сторожит там коров. Мы с им подменно на этом деле. Ночь он, да ночь я... — Шаги ее застучали по половицам сеней, и мы поспешили снять картузы, повесив их вновь на катушки.

Возвратилась она минут через пять с голубым широким матрасом.

— Сейчас устелю я вам. Одному на кровати, второму — на голбце, третьему — в той половине. Сыновья-то у нас как раз по этим местечкам спали...

Было тихо, тепло, где-то на печке мурлыкала кошка. Шофер и фотограф заснули мгновенно. А я долго ворочался с боку на бок. От мысли, что мы занимаем места, на которых могли бы сейчас отдыхать сыновья хозяев, становилось неловко, и где-то под сердцем, странно его волнуя, рождалось сочувствие к жителям этого дома.

Утром нас ожидал клокочущий самовар. Позавтракав, мы попрощались со стариками, не забыв положить па угол стола три бумажных рубля. Но стремительный Алексей, все в тех же валенках с загнутыми верхами, той же теплой рубашке, догнал нас в сенях, сунул обратно деньги и умоляюще улыбнулся:

— Этова не берем. Хватает покуда. А уж коли охота вам расквитаться, так прокатите меня на машинке! Вчера старуху катали, седни — меня.

«Газик» бежал от посада к посаду. Из передней дверцы, высунувшись по пояс, махал сжатым в руке картузом не спавший всю ночь сторож колхозной фермы,

крича при этом так громко, что от нас шарахались курицы и собаки:

— О-го-о! Игнашка?! Это я! Видишь!!!

— Тимофей! Мотри! Мотри в оба! Кто едет-то? Э-э!

— Товарищи-дески! Вот-ка я! Сам Алексей Никонорович Домородцев! Завидно небось? О-го-о!!!

Наулыбавшись и накричавшись на всю деревню, Домородцев сошел наконец с машины, надел на седую голову мятый картуз, единственный из четырех, который так носится долго.

Мягкий свет продравшегося сквозь чашу большого желтого солнца, мурава на проулках, спокойная белая борода старого Алексея — все вокруг казалось нам утишающим, благодарным, склоненным в поклоне к началу осеннего дня, который лениво и медленно разгорался.

Машина рванулась, и мимо нас промелькнул обутый в валенки Домородцев. Он махал парусиновым картузом. Махал озабоченно и прощально, как своим сыновьям, которые навсегда уезжали из дома.

1972 г.

## ФОТОКАРТОЧКА В РАМКЕ

Сельское кладбище в погожий январский день, когда небо торжественно голубеет и с него на землю устало сползает солнце, похоже на дремлющий городок, в котором, как в настоящем, есть переулочки, крышцы, тропки и даже слышится скрип отворяемой ветром калитки, и грай ворон, и чьи-то шаги. Лишь металлический шелест венков, перевитые на крестах заиндевелочерные ленты да фотокарточки в рамках напоминают о том, что все здесь заснуло самым последним, самым трагическим, по-настоящему мертвым сном.

Не знаю, какая сила заставляет меня бродить по белым тропинкам и глядеть на хозяйство покойных людей. Я читаю фамилии, а под ними через тире, как через целое поле жизни, две конкретные цифры. Я подумал: вот ведь живет человек и не знает, когда он окажется здесь. Может, нынче. А может, лет через сорок. Сколько всяких случайностей ожидает нас на пути. И кому-то они сослужат добрую службу, а кому-то и злую.

На той стороне реки — избы большого села. А на этой

среди черемух и лип оградки с лесом крестов: чугунных и деревянных, фиолетовых, черных и голубых, полусгнивших от непогоды и широкоустойчивых, как распятыя. Я иду по извилистой тропке, усыпанной семечками от лип. Сквозь мерзлые сучья и ветки золотистой пилой пробивается луч. На тяжелом, в богатой оправе венке прикорнула ворона, крылья распахнуты по бокам, вот-вот с криком взлетит и исчезнет в вечерних деревьях.

Мое внимание привлекла василькового цвета ограда. За ней — с двумя крестовинами столб. На столбе под стеклом фотокарточка молодого мужчины. Пологие, вялые плечи, круглое, с полуулыбкой лицо и прикрытые верхними веками глубоко запрятанные глаза, в которых застыло тоскливое ожидание. На прибитой к столбу фанерке я прочитал: «Армеев Василий Петрович. 1934—1968».

Тридцать четыре года?! Так мало! В самом расцвете сил закончил свой путь. Что могло с ним случиться? Заболел ли неизлечимо? Машиной ли смяло? Попал ли под нож?

Сквозь порывы холодного ветра донесся тракторный лязг. Я слушал его, ощущая досаду и раздражение. Лязг внезапно затих. Сразу стало спокойнее и добрее. Затем зазвучали шаги, такие тихие и глухие, будто кто-то покашливал в кулачок. Я не верил этим шагам. Они, наверное, мне казались. Взглянув на карточку под стеклом, я почувствовал мелкий озноб. На круглое, с ожидающим взглядом лицо набегала улыбка — неуверенная и слабая, с какой начинают о чем-то мечтать и надеяться на удачу. Возникла нелепая мысль: этот Василий Петрович, пожалуй, кого-то ждет и, возможно, даже дождался. Неужели меня? Я передернул плечами. Я что-то певнятно проормотал. И вдруг за моей спиной:

— Э-э? Чего этта надо?

Я в замешательстве обернулся и увидел возле себя в ватных штанах и фуфайке высокого тощего парня. У парня были круглые скулы, щуроватые злые глаза и полого сбежавшие плечи. У меня возникло такое чувство, словно я с ним где-то встречался, но встречался с более старшим, и вот он внезапно помолодел.

— Уж не сын ли его? — спросил я, кивая на карточку в черной рамке.

Парень обмерил меня глазами.

— Ну, — сказал и, сняв рукавицу, подал мне длинную с забинтованным пальцем руку. — Петя Армеев.

Было Пете лет восемнадцать, борода еще не росла и лицо покрывал неистраченный яркий румянец. Отодвинув ногой намет, Петя открыл калитку. За оградой стоял заваленный снегом стол. Петя нагнулся и рукавом ссыпал снег на угол могилы.

— Давай, заходите! — сказал и, вытащив из кармана бутылку портвейна, поставил ее на стол. Вытащил и стакан.

Я зашел, и в ограде стало вдвое теснее. Мы стояли, спинами упираясь в штакетник. Петя сказал:

— Помянем батю. Сегодня как раз памятный день. Как схоронили его — каждый вот год сюда прихожу. Долг не долг, а вроде бы как зовет...

— Мало пожил, — вырвалось у меня.

Петя зубами откупорил пробку, сплюнул ее и сказал:

— Не тот живет доле, кто живет боле. Мой батя после себя заказал мне жить за двоих. А мог бы и по-иному.

— Это как? — спросил я, мало чего понимая.

Петя рукой, в которой держал бутылку, махнул куда-то к кресту:

— Он по ошибке тут оказался. Не ему бы эта лежать, а мне!

Я рассмотрел над бровями Петра две кривые морщинки. Вероятно, морщинки начали жить с того самого дня, когда все это у них случилось. А что же у них случилось? Мне захотелось тотчас же спросить, но я утерпел и машинально взглянул на бутылку. Петр держал ее в правой руке, наклонив горлышко над стаканом.

Разделив вино на три равные части, мы выпили и закурили. Третью часть, оставшуюся в бутылке, Петр поставил под крест.

Солнце зашло, и от старых деревьев спустилась широкая тень. Пахло мерзлой корой, папиросным дымом и снегом. Петр неожиданно сел на стол, упираясь пристальным взглядом в лицо своего отца. Лицо круглощекое, с безвольным маленьким подбородком и глазами, которые что-то доверчиво ждут.

— Четыре года прошло, — начал рассказывать Петр, — а будто вчера это было. Поехал он по сено за реку. С того берегу. А надо было на этот. Занудилось на кой-то шиш и мне вместе с ним. Я в школе тогда учил-

ся, па зимних каникулах был, делать нечего, думаю, развлекусь. А уж так не хотел меня батя с собой. Да я упрямый. Едем. Я с батей в кабине, а навалышки сена — на волокушах. С берегу съехали. Река белая-белая. Через нее ни один еще трактор не проходил. Наш самый первый. Дверки открыли на всякий случай. Едем себе. И вдруг слышу, будто бы батя сахар зубами колет. Да эдак-то кромко, что я, грешным делом, подумал: уж не челюсть ли изломал? Гляжу на него. А он как заорет: «Сига́й, покуд жив! Сига́й из кабины!» Я бы и выскочил из нее, успел бы, поди-ко, да второпях шапку под ноги обронил. Поднял ее, на голову нахлобучил. И что бы ты думал? Ха-а! Испугаться ведь не успел, как меня залило, кинуло, опустило. После-то мне рассказали. Батя выпрыгнул из кабины. Рыск-пóрыск меня глазами. А меня нигде нет! Глядит в полынью, куда трактор-от провалился, и бабьим голосом: «Прости меня ради Христа!» Потом, говорят, снял ручные часы, кинул на лед и бултых головою вниз! Каким уж манером, не знаю и не узнавать, по выволочку батя меня из кабины, да быстренько — вверх. Тут нас обоих и изловили. Меня, как видите, откачали...

Петр замолк, и стало вдруг тихо-тихо, будто со всех сторон к нам придвинулась тишина, да так возле нас и осталась, сторожа покой нежилых переулочков, крыш и тропок. Вечер темнел, выстилая на небе из звезд золотые коврики и дорожки. Я взял осторожно Петра за локоть, и мы тронулись меж крестов. Петр шел впереди, говоря с тревожным недоумением:

— Жалко батю. Так жалко. Иной на меня такое найдет, что стаёт все равно: хоть жить, хоть не жить. И безбоязною опухнет, ничего-ничего не страшно. Скажи бы в такую минуту: поезжай, Петро, по слабому льду за реку. И я бы поехал...

— А на чем?

— Эвон, — кивнул Петр головой в сторону полых ворот, за которыми робко урчал заведенный трактор. — На этой самой машине у нас тогда и стряслось. Уж летом ее достали. Ржа поела, части поразмывало. А ремонтировать мне довелось. Два года меня тракторок дожидался, пока я школу да курсы окончу. Теперь вкалываю на нем. Сегодня в город вон ездил, тресту отвозил.

Петр взглянул на часы, и я почему-то подумал, что часы, как и трактор, достались ему от отца.

— Поляшестого, — промолвил Петр, забираясь в кабину. — Матушка баню, поди, истопила. Вы, случаем, не в нашу деревню? В нашу, дак вместе. Давай, залазьте! В бане помоемся. После — в кино. А то телевизор включим. Сегодня, кажися, хоккей...

— Нет, нет, — отозвался я, — мне в другую деревню.

Трактор, пальнув лохмотьями чада, побесжал по полному склону. Река была смутно-белой, неясной, притаившейся, как беда. Несмотря на то, что лед был достаточно толстым, я с тревогой смотрел, как трактор с санями бежал к другому берегу реки.

Был вечер звездного неба, лая собачки сквозь лес и нависших над полем иссиня-темных волокон. К сердцу ложилась бродяжья тоска, вспоминалась далекая мать, и хотелось скорее попасть в жилбѳ. Я шел и слышал сзади себя догоняющие шаги. Но это уж, видимо, мне казалось. И казалось, наверное, потому, что стояло кладбище за спиной и было вокруг безлюдно.

Я спешил на жилой приветный огонь, что уютно рассыпался вдоль реки. Спешил и слышал, как кто-то меня стремительно догонял, кидая по саннику снег и кашляя в мерзлую рукавицу. Я обернулся и разглядел рысцей бегущую лошадь. Сделав в сторону шаг, хотел ее пропустить, но сидевший в санях старичок, потянув вожжам, сказал:

— Кто эт? Васька?

— Нет, нет...

— Все одно. Садися. У нас путника на дороге ночью не оставляют.

Когда я уселся, старик прикрикнул:

— Но, Маршал, но! — и подстегнул коня хворостиной.

Топот копыт. Крошево снега в лицо. Мелькнувший справа ветхий амбарчик. И вот уже мы въезжаем в деревню. Пахнет дымом березовых дров, теплым крупом коня и морозом. На какой-то миг мне показалось, будто я возвращаюсь домой, откуда уже никуда, наверное, не поеду.



Володька Сысоев был мужик хоть и смирный, но своевольный: если на что решится, так не своротишь, сделает, как сказал. А говорил он обычно подумав, с бухты-барухты слов не бросал. Недавно Сысоев женился на Зойке, десятнице нижнего склада, красивой, но вздорной девке, на уме у которой только и были вечеринки да вино. Слава о Зойке была, как о крале на вечерок. Но Сысоев на это не посмотрел. Уж больно прищлась она ему по душе. Многие говорили ему, что он с ней долго не наживет. Но Володька только небрежно махал рукой: «Не вам об этом судить. А ежели вам, то не мне вас и слушать». Кое-кто пытался спорить: «А если ваша любовь, как веревочка, разовьется?» Сысоев на это отвечал: «Когда жена дважды мила бывает? Как в дом введут, да как вон понесут».

Хорошо бы, наверное, Володька жил с молодой, если бы та часто не отлучалась из дому. Но каждый вечер, едва засмеркает, Зойку будто кто за руку уводил. Придет с работы домой, переоденется в лучшее платье, перекусит чего-нибудь, дверью хлопнет — ищи ее муж. Говорит, что на спевки ходит. А кто ее знает...

Сегодня Сысоев был снова расстроен. Уже половина восьмого, потемки лезут в окно, а Зойки все нет и нет. Володька устал, целый день на плотях, напихался багром досыта, и теперь бы ему поесть горячего супу да стопочку выпить перед едой, благо бутылку он прихватил на случай того, что сегодня решил солить капусту. Капуста куплена пять дней назад, лежит в бумажных кулях, того и гляди вся одрябнет.

Кадцу Володька сам смастерил — большую, на несколько ведер. И вот, ожидая жену, затащил кадцу в кухню, запарил под ягодный верес и хорошенько промыл. Запах запарки был не только в квартире, но и на улице, возле дома, и тот, кто проходил сейчас под окном, знал, что здесь сегодня солят капусту.

Рубил Володька в корыте тугие хрустящие кочки и думал о Зойке. Куда же запропастилась? К Анютке, что ли, опять ушла? Да нет, Анютка уехала в город. К матери, может? Тоже едва ли. Мать живет теперь с дядей Гришей, плешивым вдовцом, у которого две дочки. Зойка, понятно, туда не ходок. «Ну где же она, шалава?»

Володька сердито кусает губы, сердито рубит кочан. Ему надоело уже гадать. И все-таки он гадает: «На репетицию подалась! Боле-то некуда. Ну-у, заброда». На репетиции эти Володька ходить запретил, потому что оттуда она ни разу трезвой не возвращалась. А хватит бы выпивать. Не много и получает. Да и народ похихикивать стал: «Бейся, Володенька, как с литовкой, быть может, и совладаешь!» Володьке обидно. Порядочная жена по чужим задворьям не ходит. А у него? Что ни вечер, то новый адрес. И некого ведь винить. Никто его не толкал на эту женитьбу. Мало того, за неделю до свадьбы Зойка сказала ему: «Я в грехах заросла. Не хочу, чтоб потом меня попрекали». «Я не буду», — поклялся он тогда. Зря, пожалуй, поклялся.

Бросив сечку в корыто, Сысоев уселся на кадцу и задумался. Год назад он женился на Зойке. Год назад от него уехала мать. И с тех пор на душе у него неспокойно. Мать уехала потому, что увидела в Зойке капризную молодуху, с которой она бы не ужилась. Теперь мать ездит по городам, где живут Володькины братья.

Сысоев разжал ладони и, оттолкнувшись от кадцы, прошел на крыльцо. Вечер был росный, с чистой луной, рассекавшей кривыми рожками темень холодного неба. Внизу, под угором, поросшим густой лебедой, бежала сплавная река, лениво-спокойная в берегах и тревожная на стремнине. По реке, слеповато мерцаая, скользили матерые бревна. Справа за запонью в черной оправе плотов громоздился погрузочный кран.

Там, среди словых ершей, кошелей и плиток, прошли у Володьки и детство, и юность. Пацаном, как и все поселковые дети, он бегал к отцу, который всю свою жизнь разбирал заторы, ладил водные кошели и загораживал бонами плесо. На плавучей преграде с множеством боновых перемычек для ребят — потеха и воля, где можно купаться и загорать, прыгать солдатиком в глубину и, подражая раздетым до пояса мужикам, гнать баграми к водным карманам рудстойку, пиловочник и стройлес. Все это было Володьке в забаву, пока в один из ненастных дней его отец, закрепляя проводом запонь, не свалился в реку, угодив под кипящий залом. Не стало отца у Володьки. Пришлось пареньку раньше времени повзрослеть и ходить уже на плоты как работнику и кормильцу. Кормильцу семьи, в которой у матери, кроме него, поднималось еще три сына.

Братья его давно выросли и, разъехавшись кто куда, обзавелись квартирами и женились. А Володька остался. Зачем уезжать? Он прижился тут, как хорошее дерево среди леса. Он был свой среди сплавщиков. И еще не мог уехать он из-за Зойки, которую полюбил сам не зная за что. А женившись на ней, окончательно привязал себя к родительскому дому.

Луна освещала поселок, который от множества хлебов, сеновалов и банек казался взъерошенным и лохматым. Было слышно, как кто-то упорно и долго чиркал спичкой по коробку. И вдруг Сысоев услышал быстрый смеющийся говор. «Зойка! И не одна!» По густому уверенному баску он узнал лебедчика Яшу Буру, двухметрового бобыля, успевшего за свои тридцать лет четыре раза жениться и столько же раз развестись. Бура был из тех избалованных славой рабочих, которые любят, чтобы их замечали и ставили всюду в пример. Сысоев был тоже заметным рабочим, однако стеснялся, когда его выделяли. А Яша не стеснялся. К тому же он был нахален и смел. Его большие и светлые с выкатом глаза постоянно зарились на молодых, особенно тех, которые худо жили с мужьями. Мужики не однажды пытались его проучить. Но Яшу это лишь забавляло: за время действительной службы он прошел отличную школу бокса и мог дать отпор хоть кому. Потому до сих пор продолжал, как хороший судак, безнаказанно плавать среди молодых, выбирая из них ту, к которой сильнее манило. «До Зойки мой добрался», — подумал Сысоев, почувствовав, как в груди оскорбленно и тяжело заворочалось сердце.

Он спустился с крыльца, стал суетливо ходить, но смекнул, что это нелепо и глупо, и поспешил возвратиться домой. Услышав в сенях шаги, схватил с подоконника книгу, раскрыл где попало и прочитал:

И царицу в тот же час  
В бочку с сыном посадили,  
Засмолили, покатили  
И пустили в океан...

Зойка вошла, заносчиво стуча каблуками. Была она одета в желтый из джерси костюм, сапоги-чулки и перчатки. На красивой маленькой голове — модное кепи с невероятно широким клоунским козырьком.

— Чем попотчуеть, муженек? — спросила, вешая кефи.

Володька положил на книгу шершавую пятерню.

— Я и сам ничего не ел.

Зойка вызывающе усмехнулась:

— Что же, не мог ничего приготовить?

— И ты бы могла! — приобзлился Сысоев... — Где столько времени шлялась?

Спуская замочек молнии по сапогу, Зойка взглянула на лицо Володьки, выражавшее ревность и раздражение. «Чего рюхает на меня? — скривила губы. — Подумаешь... Супу ему не сварила. Не каждый день. И так надоело».

Это «надоело» приходило к молодой все чаще и чаще. Она невзлюбила Володьку сразу же после свадьбы. А пошла за него потому, что боялась собственной славы — славы «кralи на вечерок», из-за которой ее уже сторонились все подходящие женихи. Лишь Сысоев не сторонился. Расписался с ней в поселковом Совете и даже виду не показал, что досталась ему такая. Зойке это пришлось по нраву, и в душе ее выросла была надежда: а вдруг все наладится хорошо? Но надежда, едва они начали жить, подломилась, как стебелек. Володька с первых же дней своим настойчиво-твердым желанием видеть жену всегда под рукой настроил Зойку против себя, вызвав в ней утомление и досаду. Чтобы реже видеть его умоляющие глаза, она старалась куда-нибудь убежать — то в клуб, то к подруге, то просто на берег. Сперва убегала, ища такую причину, чтоб муж поверил и отпустил. Потом перестала искать причину и убегала с шальным удовольствием злой молодухи, которой нравится делать во вред. Так и так, полагала, им долго вместе не жить, все равно когда-нибудь разойдутся. Не зная ей, видно, семейного счастья, ее жизнь не к этому вела.

Детство Зойке запомнилось как сплошные скандалы: пересзды из одной квартиры в другую, где хозяином всякий раз был чужой человек, за которого мать выходила замуж. Сколько отчимов позади! Сколько сводных сестер и братьев! К новой родне она всегда питала легкое отвращение и хотела уйти от нее. Но к кому? И куда? Не к кому. Некуда. Не было в мире угла, где бы могла она отдохнуть от своей затяжной неволи. Неволи жить рядом с тем, к кому испытывала брезгливость. А когда из невидной костлявой девочки преврати-

лась Зойка в славную с полной грудью и темно-сумерчатыми глазами девушку, то стала сама ко всем относиться с вызовом и насмешкой, научившись в короткое время пить веселившее душу вино и гулять с кем-нибудь из решительных мальчигов за поселком.

В конце концов Зойка запуталась. Запуталась так, что не знала, как ей и быть. Правда, случались минуты, когда она, вся молитвенно замерев, мечтала о встрече с кем-то близким, с кем-то надежным, кто бы спас ее, выпутал из беды и вернул ей веру в любовь, которую она потеряла. Но проходили минуты, и снова в лицо ей глядела обычная жизнь, та, что знакома по прошлой неделе, прошлому месяцу, прошлому году, и все опять повторялось, как раньше.

— Надоело! — сказала Зойка, снимая с себя костюм.

Не понял Володька, что же именно ей надоело, но, вспомнив, что шла домой она не одна, недовольно спросил:

— Кто провожал?

— Мало ли кто! — ответила Зойка с явным желанием досадить. — Ты ведь, кажется, не ревнивый. Ты культурненький у меня. Куплетики, вижу, читаешь! — Босая, в короткой белой сорочке, с прямыми, черными волосами вдоль круглых, как яблочки, щек, она подошла к столу, ткнула пальцем в раскрытую книгу и выразительно, будто со сцены, прочитала:

В синем небе звезды блещут,  
В синем море волны хлещут...

Володька поставил ногу на лавку, где стояли чугуны, бак с водой и коробка с картошкой. Сдавил руками виски. Зойка глумилась над ним вызывающе и открыто, и он через силу терпел, как может терпеть только муж, который больше всего на свете любит свою жену, прощая ей колкости и насмешки. Меж тем Зойка язвительно продолжала:

Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывет...

Сысоев снял ногу с лавки и так повернул лицо, что глаза его захватили сначала кадцу, после жену. И тут он вспомнил свирепую шутку, какую устроил Бура с Маргаритой, с одной из своих первых жен, когда та решила взять его в руки и стала к нему придираться по каждо-

му пустяку. Три вечера слушал Буря ее клокотанья. А на четвертый вернулся домой пьянее вина, и едва Маргарита открыла свой рот, чтобы попотчевать свежим попреком, как тут же взял ее на руки, вынес во двор, усадил в подострешную кадцу и прокатил вдоль улицы до реки. Кадцу еле тогда изловили, А Маргариту, зеленую от испуга, увезли в фельдшерский пункт.

Сысоев мысленно усмехнулся, представив на миг, что бы стало с его благоверной, если б ее затолкать тоже в кадцу и отправить, как Маргариту, катком до журчащей воды. «Ие-е, — мотнул головой Володька, — на такое я не мастак...»

Захлопнув книгу, Зойка прошла к стряпному столу. Володька учуял, как шибануло водочной вонью. «Снова с попойки», — отметил и, поймав молодуху за рукав сорочки, тихо сказал:

— Муж не пьет, а ты через день?

Зойка таиться не собиралась:

— У Нинки Архиповой именины!

— У нее и была?

— У нее.

— Но мы же хотели солить капусту?

— Засолим и завтра.

— Нет уж, бубновая, будем — сейчас.

— Но я разморенная, не могу.

Володька ступил в темноту сеней, принес оттуда дощатый кружок:

— Повиляла хвостом — и хватит! Давай-ко, руби кончаны!

Зойку задело:

— Не буду! — сказала она скандальным тоном разнужданной бабы, привыкшей в спорах брать только верх. — Сам руби, коли хочешь!

— Заставлю! — Сысоев шагнул к навесному шкафу, взял оттуда бутылку, налил в стакан и выпил. Потом протянул к Зойке руку, пошевелил всеми пальцами. — Они у меня во все стороны вертятся!

Лицо у Зойки пошло красными пятнами:

— Мне?! Угрожать?! Кто я, по-твоему?!

— Рыба, — ответил Володька.

— Что-что?

Сысоев невесело усмехнулся:

— Стерлядь! — и снова налил в стакан.

Зойка от ярости задохнулась.

— Чилиявый! — швырнула презрительным словом, каким называли в поселке негодных к супружеству мужиков.

Володька поставил стакан в капусту:

— Надо что-то с тобой придумать.

Зойка забежала, завертелась, схватила платье и сапоги, наскоро надела.

— Нажрался винища! Мало? Дак еще оскорблять? — И повернулась к дверям, подымая руку за кепи.

— Это куда-а?!

— На кудыкину гору!

В груди у Володьки похолодело, к чувству обиды вдруг примешалось чувство невозможности сейчас видеть Зойку, слышать ее вызывающие слова. Он отпихнул ее от двери, зло бросив: «Шалава!», и, хлопнув дверью, выскочил на крыльцо.

Шел огородами, потом берегом реки. Шаг был резок и раздражен. Душу его кололо мыслью, что он теряет свою жену.

Сысоев метал глазами по сторонам, словно все окружающее следило за ним, как за обобраным человеком, желая ему навсегда оставаться таким. Володька сунул в рот папиросу. «Надо сыскать! — подумал о Зойке. — Без нее подобру мне не жить...»

Хрустя крахмальными стеблями лебеды, поднялся до улицы, где бараки, потрогал сапоги и не понял: зачем их потрогал? Ощущение было такое, будто он посмотрел на себя откуда-то издалека и удивился, что это был он. Грудь его затопляло жалостью и к себе, и к своей капризной и вредной Зойке.

В свете уличного столба он увидел, как прошли под ручку Бура и Зойка. Сысоев зажмурил глаза. «Неужто ушла насовсем? Гадский рот! Как глупо все получилось. Зачем ее стерлядью обозвал? Да и она-то четырежды дура. К кому припаялась? К Буре, пучеглазому балабону. Побалуется, а потом за ненадобностью — прогонит. Кому тогда будет нужна?»

Сысоев вобрал вдох бессильной досады, повернул в проход меж заборов. Треснула под ногой палочка. Володька оперся рукой о забор. В голове, как открытие, зазвенела внезапная мысль: «Ведь не он ее любит, а — я! Ему нужна она, как подстилка, а мне, мне — как воздух...»

Сысоев вернулся к дороге и с нетерпением мужика,

решившего взять себе то, что у него отобрали, стал дожидаться, когда к нему подойдут.

Голова Буры маячила в потемках и показалась Володьке настолько высокой, что он заморгал, ощущая в себе неуверенность и смятение.

Они шли, прижимаясь друг к другу, и рука Буры, белевшая тыльной частью ладони, беспокойно гладила Зойкину грудь. Сысоев выкривил губы, словно хотел закричать, но сердце вдруг провалилось.

Они узнали Володьку шагов за десять. Переглянулись, перешепнулись и, подойдя, обошли его, как худую корягу.

Сысоев смутился. «Чего стою, ровно пень?» Обругав себя, он взглянул с остервенелой тоской на прижавшуюся к плечу двухметрового Яши Зойку.

Они удалялись прогулочным легким шажком. «Ведь родную жену уводят!» — сдавило меж ребер. Володька сделал движение головой, словно отгонял от себя что-то надоедливое, и с круто поднятой грудью, не упуская из виду идущих впереди Зойку и Буру, быстро зашагал по пыльной дороге.

— Это куда-а? — прохрипел он, беря Зойку за локоть. Взял отчаянно, как человек, решившийся на последнее. — Куда, спрашиваю, заблуда?

— К новому мужу! — съязвила Зойка, вырвав свой мягонький локоть из жесткой руки мужика.

— Чего это ты? Чего? — Сысоев лихим петухом забежал перед Зойкой, попятился задом и, ткнув указательным пальцем в Яшин живот, зачастил на ходу: — Чего придумала, гадский рот? Какой он те муж?! Да это же титька! Ерема в штанах! Барахло! Ботало! Балаболка!

Бура улыбнулся. Он был мужиком не только веселым, но и рисковым. Наступая Володьке на сапоги, он сказал снисходительно, мягко, словно увидел в нем инвалида, кого полагается пожалеть:

— Ладно, Вова, не суетись. Шел бы ты лучше домой.

— Один?

— А то как же.

— А ты останешься с ней?

— Так ведь надо кому-то остаться.

Сысоев, сдавая назад, чуть не упал, запнувшись задником сапога о твердую складку дороги:



— Ох и бабошник ты! Ох и стерво!

Яша остановился. Уж кто-кто, а он-то хорошо знал, где можно и где нельзя отвечать на обиду обидой. Поэтому, разозлясь сейчас на Володьку, он смирил в себе гневный порыв и начал думать, как бы лучше ему поступить, чтоб Сысоев убрался отсюда без звука. Убрался, усвоив раз навсегда, что с ним, с Бурой, осложнять отношений не надо.

— Не надо, Вова, меня оскорблять, — посоветовал он. — Неужто не видишь: она ушла от тебя надолго.

— Не, не... Не может этого быть, — растерялся Сысоев.

— Может! — вмешалась Зойка, решившая прекратить затянувшийся разговор.

— Что-о? — Володька взглянул на жену с испугом.

— Шмолай отсюда! — сердито добавила Зойка. — Ты мне надоел. Опротивел даже. И очень давно. Вот так. Отвали! Не мешай нам беседовать.

В глазах у Сысоева потемнело. Его измученная душа возмущенно взметнулась и понеслась, понеслась в какую-то жуткую темноту, в которой могла разбиться, как разбивается грузовик, управляемый пьяным шофером.

— В гробу я видел такую беседу! — гаркнул Володька и грубо, точно хотел оторвать, схватил руку Зойки. — Домой! Побесилась — и баста! А ты! — он нацелил глаза на Буру. — Сгуляй на конюшню. Там не хватает столыого жеребца.

Бура отшатнулся, и в повороте его головы Сысоев заметил ту озабоченную тревогу, с какой опасаются сделать что-то неправильно, что-то не так.

— Помоги же ему уйти! — с гневным стоном взвизгнула Зойка.

Долгая, как слега, ручища достала Володьку, и он поднялся, взлетел и стремительно и больно опустился на землю.

Вечер летел над поселком обдерганно-серыми облаками, обещая прохладу, дождик и затяжную угрюмую ночь. Сысоев встал, отряхнул с себя пыль и, по-сиротски согнувшись, пошел домой. Было обидно, и лезла в голову и мучила одна мысль: «Везет мне, как хворому на поминках. Чего вот теперь? Притерпеться и подождать, покуда Буре не обрыднет Зойка, и он прогонит ее, как сучку?»

Вечер рос на глазах, становясь угнетающе-темным огромным, и Володька терялся в нем, как букашка. На душе его было прегадко, точно он совершил непрощаемый грех. Качались макушки дворовых черемух. Лаял щенок. От реки тянуло закишим душком перепрелой коры. Воспринималось все это как-то отвлеченно, словно иная, совсем незнакомая жизнь, которая больше Сысоева не касалась. Не стыд, не позор гнули его голову вниз, а тяжелое чувство вины, что он не справился с ролью мужа и вот остался теперь один.

Домой Сысоев пришел растерянным, лишившимся главного, без чего невозможна нормальная жизнь. Подошел к столу. Посмотрел с тоской на бутылку. Пододвинул стакан. «Ну сужто нельзя ничего поправить?» — спросил себя, усаживаясь на стул против кухонного окна.

Он сидел, опершись грудью на стол, и во всей его позе, в движении рук, теребивших листья капусты, нахмуре бровей таилась отчаянность мужика, решившего свести с обидчиком счсты.

— Еще не поздно, — сказал Сысоев и резко поднялся, зашел в темноту спальни комнаты, где стояли кровать, два стула и телевизор, на ощупь снял со стены ружье.

Бура жил на краю поселка, на улице Коммунальной, в одной из квартир щитового дома. Сысоев спешил. Боялся, что могут закрыть дверь изнутри, и тогда неизвестно, на что бы решился он дальше. Но дверь оказалась открытой. Переступая порог, увидел ее и его. Сидели в комнате за столом. На салфетке — нарезанный хлеб, помидорчики, рюмочки, поллитровка.

Как они всполошились! В одну секунду, увидев его с ружьем, побелели лицами.

Сысоев стоял, привалившись плечом к косяку, весь угрюмо светясь от сознания, что наконец-то он выполнит долг, который так изнуренно его беспокоил. Дуло ружья ходило, перемещаясь то в сторону Зойки, то Яши то между ними, глядя на горлышко поллитровки.

— Каждый получит свое, — промолвил Сысоев. Вид у него был не мстительный, не суровый, скорее усталый и вялый; казалось, сюда он явился по чьей-то настойчивой просьбе, и не исполнить ее было нельзя.

— Не понимаю, о чем ты, — Зойка отпрянула от стола.

— Хочу получше тебя запомнить, — Сысоев поправил приклад, и ружье, отразив электрический свет, блеснуло стволом.

Зойка икнула, сморщила нос, но тут же нашла в себе силы презрительно усмехнуться и резким жестом отчаянной бабы, которой так и так уже пропадать, рванула за ворот платья, рванула настолько резко, что обнажились сухие лучинки ключиц.

— Стреля-яй!!!

Дуло качнулось, и черный глазок его посмотрел с убийственной точностью на Буру.

Глаза у Яши вылезли до отказа. Он впервые в жизни был напуган, ибо поверил в свой смертный час. «Так не положено! Так нельзя!» — кричало его лицо, дрожа подбородком. Мимолетно взгляд его упал на Зойку. «Из-за нее! — возмутился Бура, испытав к молодой открытую злобу. — Из-за нее пропадать теперь, как собаке?! Ну не-ст...»

— Вова! — он как-то ватно, расслабленно встал, уронив на скатерть рюмку с недопитой водкой. — С ума ты сошел? Остановись! — Кивнул головой на Зойку. — Из-за кого? Из-за бабы? Да это смешно. У меня с ней не было ничего. И не будет. На кой она мне сдалась!

Дуло пошло круто вверх, и Сысоев, хватая ладонью ремень, забросил ружье за плечо:

— Ладно. Гуляйте. — И повернулся.

Дверь за ним резко захлопнулась. Бура посмотрел на бутылку, дрожащей рукой налил в рюмку водки. Выпивая, глянул на Зойку, пытаясь понять: сильно ли обижена на него? Присмотревшись к бледному ее лицу какую-то дряблую безучастность, многозначительно заявил:

— Теперь он в наших руках! Такие шуточки не прощают. Сколько, думаешь, могут дать?

Зойка ничего не сказала, лишь повела легонечкошейей, но в ее глазах Бура и так прочитал ответ: «Не слишком ли многого хочешь?»

— Ты что? Обиделась? Брось! — Бура примирительно улыбнулся и попытался Зойку обнять. Но молодуха резко встала и, прикрывая ладонями голую грудь, уничижительно улыбнулась:

— Вонькой козел! Брысь! Видеть тебя противно.

Она ушла, не закрыв за собой дверей.

Дул ветер. Где-то на плашке ворот тонко поскрипывал ветрячок. Ночь глядела со всех сторон. Глядела,

как одиночество, утомляя глаза безмерной своей темнотой. «Что натворила я? Что наворочала? — думала Зойка с горьким чувством. — Обидела. И кого? Самого смиренного человека. Ведь он любит меня. Так любит, что даже решился на крайнее. Поднял ружье! — Зойка вдруг поняла, что в сегодняшнем вечере самым страшным была легкость, с какой ушла она от мужа, чтоб переспать эту ночь с другим. — И почему он не выстрелил? Почему меня не убил? Ведь я гадкая. Гаже меня и нет. Извела мужика. Целый год играла ему на нервах. А он терпел. До сегодняшней ночи терпел. И вот судьей моим стал. Судьи преступников не щадят. А он пощадил. Для чего? Чтоб расстаться со мной, как с какой-нибудь потаскушкой? Чтоб подольше помучилась я? На кой мне такая пощада? Лучше бы убил — и дело с концом. Ну куда мне теперь деваться? Кто меня ждет? Кому я нужна?»

Она шла безмолвными улицами поселка, казня себя. Мысли путались в ее голове. Потом вдруг сознание ее обострилось, и Зойка с предгибельной ясностью ощутила, что ей осталось дойти до плотов, с которых она уже не вернется.

Миновав последнюю улицу, Зойка свернула к реке, откуда тянуло прелью опилок и листьев. С неба упала на лицо капля дождя. «Вот и пришла», — вздохнула молодка.

Два водореза, каток с толстым тросом, якорь, погруженный кран — все здесь было знакомо, но как-то по старому дню знакомо. И вот теперь, сегодняшней ночью, виделось Зойке каким-то чужим. В желтом свете высокого крана золотисто перилась вода, и скользившая по текучему золоту лодка казалась нездешней, придуманной, невозможной, приплывшей сюда из волшебного сна. «А может, мне снится и этот вечер, и эта река, и это бегство мое от Володьки? — подумала Зойка со слабой надеждой, но сразу понурилась, потускнела. — Если бы снилось, была бы я самой счастливой...»

Она стояла на бровке угора, как птица, чутко насто-рожась, точно ее кто-то должен был окликнуть.

За спиной слышались шаги. Зойка испуганно обернулась. В свете лампочки над крыльцом магазина она разглядела сутулого человека. Он прошел сквозь свет, как сквозь прожитый день, и исчез, ныряя в заулочный омут темноты.

— Володя-я! — крикнула Зойка с отчаянием.

Сысоев споткнулся. Поправил ружье на плече. Закупил. Вверху, над его головой, пелось торопливые облака. Внизу по слабо белевшей в ночи дороге бежала Зойка. «Для чего?» — не понял Сысоев. А когда она, вся запыхавшаяся и растрепанная, остановилась напротив него, спросил отстраненно:

— Что будем делать?

Зойка стояла, придерживая руками разорванное на груди платье.

— Капусту будем солить.

Сысоев мотнул головой, словно отряхиваясь от мошки:

— Капусту?

— Сегодня же и засолим! — добавила Зойка сквозь слезы.

1978 г.

## ПЕРЕГОН

Экспедитор Галина Вострова уже и не помнит, который раз едет с грузом печеного хлеба, крупы, вина и рыбных консервов по леспромхозовской УЖД. Глаза у нее большие, с радостной искрой, но лицо некрасивое, крупное. Ей уже двадцать четыре года, а жениха как не было, так и нет. В поездки эти она отправляется с тайной надеждой: а вдруг ей встретится тот, кому она будет мила, кто однажды сядет рядышком с ней, улыбнется, возьмет ее руки и спросит: «А можно завтра тебя увидеть?»

«Тут-тук, тук-тук», — перестукивают колеса. Галина сидит в пассажирском вагоне. Народу сегодня мало: девочка в длинной, до колен, фуфайке, помятый, невыспавшийся мужик, командированный с коробочкой крохотных шахмат да еще присогнувшийся около печки пухленький седенький старичок. Печка, как зверь, огорожена клеткой, железные прутья которой дребезжат на стыках рельсов. Старичок швыряет в топку дрова.

Галина переводит взгляд за окно. Вдоль полотна — маслянисто-темные полосы снега. Из сугробов торчат обмертвелые стебли малины. Хвойный лес сменяется перелеском, перелесок — березняком, меж стволами которого прибрано и уютно, словно кто-то хозяйственный и опрятный наводил здесь воскресную чистоту.

Вот и первая остановка. Сцелщик вагонов, здоровый малый в расстегнутом кителе речника и белой бараньей шапке, спешит к висящему на сосне телефону спросить у диспетчера, занят ли путь. Спросил — и уже несется обратно, махая лохматой шапкой:

— Давай до двадцать девятого! Там переждем!

Тонкий свисток. Лязг. Поезд трогается.

Солнечный свет проливается в окна, играя на спинках диванов и лицах людей. Галине неловко сидеть без дела. Забыла взять книгу и вот скучает. А ехать сто двадцать два километра, до самого дальнего лесопункта. Сейчас без пятнадцати десять. Обратно, если аварий не будет, вернутся к позднему вечеру. Галина глядит на помятого мужика, который дремлет с дымящейся сигаретой и всем своим видом как бы безразлично говорит: «Ничего-то сегодня не будет. Все то же, что было и раньше, а может, еще и скучнее». Отвернувшись от мужика, переводит глаза на девочку в фуфайке. Лицо у нее напряженное, гладкий лоб исказила морщинка, словно девочка спешит заглянуть в непонятный завтрашний день, который ей принесет какое-то облегчение. «Чего-нибудь дома случилось», — вздыхает Галина и вспоминает то время, когда и она торопила завтрашний день, потому что сегодняшней был переполнен слезами вечно испуганной мамы и бранью вечно хмельного отца. Теперь никого у нее не осталось: мать умерла, а отец уехал в другой леспромхоз. Давно это было, лет восемь назад, но душа нет-нет да и затоскует, проливая сиротскую жалость не только к себе, но и к тем, кто, как эта девочка, вдруг напомнит ей детство и маму. Это раньше, когда Галина еще не привыкла к потере, сердце ее неутешно болело, сейчас же оно лишь легонечко ноет, все время напоминая о том, что она одна, а одной в этом слишком огромном мире так смутно, так ненадежно.

Галина устала сидеть. Чтоб поразмяться, проходит к другому концу вагона. Слышит, как шепчет ей в спину пухленький старичок, и шепчет, видимо, шахматисту:

— Налитая какая! Капрон трещит на ногах!

Галине и стыдно, и хорошо. В замечании этом слышит она ту греховную скрытную страсть, что горячо будоражит мужчину при виде здоровой радостной девки, которой вольно и посмотреть блуждающим взглядом, и обещающе улыбнуться, и даже дать надежду на

скорую встречу наедине. Не так уж много было подобных встреч у Галины. Но все же были они, и после каждой из них она ощущала себя какой-то растроченной, виноватой, выброшенной из жизни на многие, многие дни.

Впереди спокойный, без спусков, подъемов и мостиков перегон. Машинист прибавляет скорость. Вагон то и дело качает. Галина, прижавшись к стеклу, смотрит, как мимо проносятся вырубки, ельники и поляны. Вон проглянуло сквозь лес замшелое дикое прясло. Вон сухая береза, кора от которой поотделилась, и стоит подуть ветерку, как она трещит и каркает, словно ворона. Вон высоко на еловых сучках волокна зависших былинки, оставшихся здесь еще от зимы, будто память о зимней вывозке сена.

— Природой любуетесь? — улыбается шахматист, пряча в портфель коробочку шахмат.

Галине приятно, что с ней разговаривает мужчина, который, кажется, симпатичен, не очень навязчив и даже любезен. Однажды с ним она где-то встречалась. Но где и когда? Галина пытается вспомнить. Напрасно. Командированных много сейчас стало ездить, особенно в те суматошные дни, когда срывается план и надо как-то его поправить.

— Да так, — говорит она, с удовольствием подмечая в мягких глазах мужчины, его полноватом лице, в ярко-зеленом галстуке и отутюженном черном костюме черты довольного человека, жизнь которому удалась. «Поди, жена у него, как ягодка боровая, — предполагает Галина, — работает где-нибудь на комбинате. И детей у них двое: мальчик и девочка. А в квартире — хрустальные люстры, ковры, пианино...»

— Вы женаты? — вдруг спрашивает она.

— Нет.

Мужчина отводит глаза, и Галина видит около них косые хитренькие морщинки. «Лукавит, в командировках-то все они холостые».

— А детей у вас сколько? — спрашивает с улыбкой.

Мужчина слегка розовеет и голосом ласковым, словно глядя Галину по голове:

— Всю жизнь мечтал, чтобы было двое.

— А на самом деле?

— На самом деле ни одного.

— Тогда я сочувствую вам! — заключает Галина и

ждет с язвительным любопытством: чем же на это он ответит.

Но собеседник молчит, растерянно смотрит перед собой. Потом, потирая ладони, поспешно встает — низкорослый, но длинноногий, с неожиданно вздыбленной кверху спиной. «Кажется, горб!» — пронзает Галину догадка, и ей становится стыдно, так стыдно, что вся она вспыхивает огнем и виновато глядит, как обиженный ею мужчина, достав папиросы, сует одну из них в рот и торопливо проходит в тамбур. «Надо бы извиниться. А как?» — мучается Галина и переводит глаза за окно: на бегущие навстречу поезду дома, хлевушки и бараки, на мелькающий по взгорью маленький городок миниа-турных, без стен, острокрыших избушек — своеобразных картофельных погребков.

Двадцать девятый. Так называется лесопункт. Поезд останавливается. Галина запахивает пальто и спешит к грузовому помосту, где уже поджидают ее краснолицая полная продавщица, две пскарихи и маленький тощенький мужичок в галифе.

Галина сдвигает засов. От товарного, шитого жестью вагона пахнет хлебом, крупой и рыбой. Внутри полу-сумрачно и прохладно. Галина ищет в карманах пре-проводительный документ, подает его продавщице. Та читает и морщится:

— Консервы «Ставрида»?

— «Ставрида».

— Три года назад, как наелись. Вы бы сюда колбасы.

— Будет и колбаса, — обещает Галина.

— На Первое мая?

— На Первое.

Мужичок, натужно пыхтя, выносит ящики на помост. Весь раскраснелся, вспотел.

— Давайте-ко помогайте! — кричит пекарихам.

Те отвечают:

— Умец, да не разумен!

— Чего?

— Того, что мужчина должен отстранять советскую женщину от нагрузки.

Грузчик устал, мешки и ящики явно ему не под силу, но он хорохорится, бегаёт петушком, все время кого-нибудь поддевая.



— Ночами эдак не задыхаюсь! — весело объявляет он, взваливая на спину очередной мешок.

Мужичок Галине поднадоел. Только и знает трепать языком, и она замечает ему с усмешкой:

— Кто тебя ночью-то понуждает работать?

— Моя благоверная, — отвечает с готовностью грузчик, — уж больно она охочая до меня!

Продавщица цокает языком, пекарихи смеются, а Галина краснеет и укоризненно говорит:

— Ты не очень. Не очень-то распускайся!

— А я распушенный еще с холостых годов! — бахвалится мужичок и, задыхаясь и кашляя, тащит куль к вагонетке и, навалив его с помощью пекарих, потешливым голосом добавляет: — Девушки, тетеньки, старушонки! Кого только не было у меня! Сотни-то две, по-ди, перебрал!

— Оттого такой надсажённый! — бросает в ответ продавщица, пекарихи хохочут, а Галина, мотнув осуждающе головой, закрывает вагон и слышит хруст снега и ярые голоса. Сначала женский:

— Стой! Стой, сотона! Неужто тебя отпущу?! Неужто не обуздаю?!

Потом и мужской:

— Хватит! Нажился! Сказал, сбегу! И побег!

— Митенька! Дьявол! Лёко ты в самом деле!

— Поксдова, дорогая!

— Лёко! Ты ведь хотел не дурить?

— Хотел, да перехотел! Сама виновата! Высоко носишь себя!

— Митенька! Сотона!

Митенька в темной фуфайке, волосы длинные, ниже шеи, скачет в полный опор по тропе, полевая сумка подпрыгивает на ляжке.

— погоди! погоди! — дает знак машинисту.

Но машинисту не до него. Только что он пропустил встречный поезд с хлыстами, и надо спешить пройти перегон, пока не занял его еще один встречный.

Беглец бросается к полотну, перескакивает помост и настигает раскрытую дверь пассажирского вагона, в которой стоит горбатый пассажир в хорошо отутюженном костюме. Беглец, выбиваясь из сил, тянет к нему пятерню:

— Помоги!

Пассажир опускается на колени и подает решитель-

но руку, но тут же ее убирает, услышав отчаянный бабий визг:

— Не пушай его! Не пушай!

Галина все это видит из задних дверей вагона. Она негодует на вздорную бабу, которая, видимо, стоит того, чтобы такие, как Митенька, от нее сломя голову убегали. А на Митеньку у нее не хватает сердца: ну, не мог заскочить в вагон, и вот стой теперь, как дурак, на глазах у всего поселка. Но хуже всего обидно Галине за пассажира. Ведь хотел же помочь! И помог бы! Да послушался дуру-бабу, испугавшись ее визгливого «Не пушай!»

Поезд мчится в ольховом подросте. Галина смотрит в раскрытую дверь. Уплывают назад бараки, поленицы дров, опозоренный Митенька с кирзовой сумкой на ляжке.

Галина не знает, что и подумать, увидев вдруг у себя под рукой девочку, которая, вздрагивая плечами, тихонько и горестно плачет.

— Что ты? Что с тобой? — спрашивает Галина.

— У меня папа с мамой такие, только наоборот.

Непонятно Галине, странно:

— Наоборот?

Вытирая рукавом фуфайки заплаканное лицо, девочка разъясняет:

— Папа пьет, а мама все время куда-нибудь убегает.

Галина нервно кусает губы и ощущает бессилие и досаду. Вот оно, горюшко, — рядом, а помочь ему невозможно.

— Не горюй, — утешает, — ты же большая, все у тебя впереди.

— А у тебя позади? — девочка спрашивает то ли с вызовом, то ли с укором, спрашивает, как взрослая взрослую, и в глазах у нее сквозь слезы пробивается горечь.

— Что ты?! Что ты?! — Галине немножко не по себе. Так язвительно, прямо и больно могут спрашивать только подростки. И она спешит успокоить не столько девочку, сколько себя: — И у меня еще все впереди. Все, все! Неужели не веришь?

Голос у девочки сломленный, тихий:

— Я не знаю. Я мало еще жила. И об этом меня никто не спрашивал.

— Ничего. Как-нибудь. Только надо маленечко подождать.

— До чего подождать?

— До хороших дней. Ждать-то, всяко, умеешь?

Глаза у девочки светятся робко, голубовато, как незабудки возле сырого болотца:

— Не умею... Но я терпеливая... Я научусь...

«Тут-тук, тук-тук», — перестукивают колеса. Поезд спешит к Пятьдесят второму. Так называется лесопункт, в котором будет еще одна остановка.

1979 г.

## КРИВАЯ СТРЕЛА

Старые елки, столовая на полозьях, дом-курилка с железной трубой и большая, на козлах, цистерна стоят при развилке трех зимних дорог. Одна дорога уходит к дальним делянкам, вторая — к нижнему складу, третья — к поселку Митинский Мост.

Запах снега и хвои перебивается запахом кухни. Запах такой, что, кажется, кто-то сейчас объявит: «Здесь кормят каждого, кто голоден! Пожалуйста, заходите!»

По толстым осиновым плахам заходят одетые в ватники лесорубы. Длинный стол, две скамьи. Притомленные, с паром от скинутых рукавиц, прижимаются грудью к столу рабочие нижнего склада. Тут раскряжевщики. Тут машинисты лебедок. Тут подкатчики бревен. Тут трактористы. Кто в шапке сидит. Кто без шапки.

— Добавь-ко, Настасья! — слышится то и дело.

Настасья с зарей на щеках от горячей плиты, в белом халате и белом платке старается всем и во всем угодить. Сколько рук у нее? Поглядеть — не поверишь, что две. Так споро она успевает пройтись с уполовником подле мисок, наливая туда капустные щи, и хлеба нарезать ножом-автоматом на толстой доске, и второе вовремя снять с раскаленной плиты, и компот поднести. Хорошо Настасье среди лесорубов, словно матери возле детей. Каждого рада попотчевать доброй едой и приветливым словом:

— Ешьте, ребяташки, вдосыть, чтобы работа давалась шутя!

Настасье хотелось, чтоб дверь в ее густо пропахшую

щами и кашей столовку пела скрипучими петлями целый день, пока она тут кашеварит, ставит на стол, убирает и моет посуду. Но едоки у нее сидят не подолгу. Каждый привязан к работе. Запьют горячую кашу морсом или компотом — и благодарствуем, ждите нас завтра. Настасье приятно, даже когда к ней приходит мастер Рогулин, неразговорчивый, лысенький человек, посидит, пороется в кирзовой сумке, достанет оттуда стопу нарядов, напишет в них что-то свое и, не сказав ничего, незаметно уйдет, оставив после себя слабый шорох бумажных листочков. Без бряканья ложек, без голосов, без шороха тихих листочков ей становилось не по себе.

Ее огорчало не то, что она прожила век безмужней. Не то, что была некрасива лицом. Не то, что мужчины в нее никогда не влюблялись, хотя один из них все-таки был ей двухмесячным мужем, и от него у нее появился сынок. А то, что сынок ее Коля, кого она так берегла, так ходила за ним, так его тешила и ласкала, только-только вступил в настоящую взрослую жизнь — и погиб.

Пять лет прошло с той поры, и все это время Настасья боится остаться одна. И дом в деревне, где с сыном жила, продала специально, чтобы поменьше ее угнетала тоска. Но и в поселке, переселившись в квартиру барака, она каждый раз, возвращаясь с работы, входила в жилое с пугливой душой, словно там, за обитой кнопками дверью, сидел с папиросочкой перед печью вернувшийся к ней из какого-то жуткого места ее смертельно уставший сынок. Чтобы как-то себя обесстрашить, на полную громкость включала динамик. Голос радио разом глушил беспричинный испуг. Настасья даже слегка веселела и становилась способной делать чего-нибудь по хозяйству, разговаривая при этом, будто рядом с ней был живой человек. Так и вели меж собою двойную беседу; динамик — свою, и Настасья — свою, не вникая в то, о чем и что говорит по отдельности каждый. Выключала Настасья радио лишь тогда, когда к ней прибегали соседские дети. Как старалась она им потрафить! Не чинила запретов ни в чем. Берите яблоки и конфеты! Скачите, как козлики, через стулья! Пойте песни и хохочите! Всем пыталась завлечь ребятишек, лишь бы с нею подольше они посидели, не покидали ее.

Не могла без людей Настасья ни дома, ни на рабо-

те. За последний год столовку чаще других навещала десятица Вера. В Митинский Мост приехала Вера в прошлом году. Вскоре стала работать приемщицей леса. Вскоре и свадьбу свою отгуляла. Была она юной, настолько юной, что верилось, будто и замуж затем поспешила, чтобы немножечко повзрослеть. Муж у Веры — шофер. Возит орсовский груз.

Поглядывая на Веру, на ее симпатичное, чему-то тихо ликующее лицо, на деревянный с крючком и черными цифрами метр, с которым она врывалась с мороза в столовку, Настасья вздыхала: «Могла бы невесткой мне быть...»

Сегодня Вера в столовку вошла осторожно и робко, точно чего-то остерегаясь. Волосы в белых морозных колечках, губы дрожат, взгляд какой-то туманный. «Вся перезябла», — решила Настасья, ибо машины шли к эстакадам нижнего склада безостановочно друг за другом, и Вере пришлось поохотиться с метром за каждым хлыстом, тут же розовым мелом пятная на них свои метки и голой рукой на холодном ветру занося в кубатурную книжку цифру за цифрой.

«А может, чего такое ей мужички сказанули? Эка молоденька — долго ли огрубить?!» — подумала повариha, зная, что Вера, приняв древесину, обычно идет в дом-курилку — сделать подсчет привезенных хлыстов. В курилке же этой вечно кто-либо сидит, жарко и тесно, надымлено до угара и слышится крепенький разговор.

Настасья еще раз взглянула на Веру. Та неловко приткнулась к столу, распахнув полушубок и полушалок. В слабой шее ее, горловой белой ямке, широко раскрытых глазах и лице с нежным выступом скул ощущалась не только хрупкая красота, а еще и незащищенность, какую старалась она утаить, но выражение горько опущенных губ выдавало ее настроение. Настасья, чувствуя сердцем чужую беду, спросила с заботой:

— Чего это, Веронька, у тебя седни личико не такое? Ровно его со вдовой обменяла?

Взмахнула Вера ресницами, заливая Настасью взглядом недавно плакавших глаз. Взглянула, словно проверила: та ли женщина перед ней, кому довериться можно в самом секретном? «Та!» — поняла, разглядев в окружении дряблых морщинок бусые, выцветшие глаза,

глаза участливой женщины, притерпевшейся к давней печали.

— Не знаю, как и чего, — ответила Вера. — Боюсь за себя! И за маленького боюсь!

Удивилась Настасья:

— Маленький-то откуда? Ай! — догадалась, обняв глазами скрытый полый полушубка Верин живот. — Глупо, девушка! Тут не бояться — тут радоваться да ждать! Это же счастье! Твой ну-ко собственной человек!

— Тетка Настасья, ты добрая! Да только Борю-то моего на жалость не склонишь. Как он сказал, так и будет. Иначе — развод.

Взгляд Настасьин, и так-то тусклый, еще более потускнел.

— Ребятеночка, что ли, не хочет?

— Не хочет, тетка. Мол, надо с маленьким погодить, с ним, мокроштанником, будет сплошная бессонница да забота. Велит, покуда беременность небольшая, ехать в город, в эту больницу. Чтоб от ребеночка опростаться.

— А ты?

— Ни в какую!

— Так и не езд.

— А Боря?

— Что Боря?

— Уйдет от меня. Он такой. Ой, поди-ко, нельзя не ехать. Страшно мне, тетка Настасья.

— Страшно-то, Вера, не это.

— А что?

Настасья подвинулась к двери, открыла ее. Лицо, окунувшись в утренний свет, тут же торжественно загрустило. Она услышала хвойную песню, какую ей пел старый ельник, неся свое эхо от горизонта и здесь превращая его в глухие напевы, к которым прислушивалась душа, узнавая в них быль и небыль. Настасья захлопнула дверь. В повороте ее головы было что-то суровое и волевое.

— Страшно, когда тебе не для кого стараться! — И, помолчав, прибавила поучая: — Человеку дни выданы не для страха. — Вздохнула, задумавшись круто не только о Вере с ее неродившимся человечком, а обо всех матерях, кто в угоду жизни без лишних детей добровольно себя отдает на жестокие пытки. — На смерть посылать его — сама худая статья.

Личико Веры разгорелось, иней растаял в ее волосах и влажно блеснул, похожий на мелкие слезы.

— На словах-то, тетка Настасья, можно сказать хоть того красивей! А на деле?

— Было дело и у меня. — Настасья стояла, опершись рукой о гладкую кромку стола, большая и рыхлая, с вялым лицом, повитым дряблостью и печалью. Видела Вера, как в длинных щеках ее прорезались сухие морщины. Морщин этих не было раньше, и вот они вышли, как выражение старого горя.

— Было? — Вера прошла ладошкой по волосам, снимая с них щекодавную влагу мороза.

— Да, — подтвердила Настасья. — У тебя младенчик-то чего? Еще нет, а на жизнь его повернуло. А у меня, хоть и был он, и был даже больно большой, а от жизни, как по высокой воде сухое бревнышко, утащило.

Заволновалась десятница, не заметила, как поднесла указательный палец к губам, прикусила его точь-в-точь девочка-недоростыш. На нее накатило дыханием сильной беды, какая случилась не с ней, и все равно ее поразила.

— Тетка Настасья, я ведь не знала! Да как это вышло-то у тебя?

— Глупо вышло. Ноне Коле-то моему, кзб не тот темный вечер, было бы двадцать пять, столько же, сколько твоему Бориску. В клуб пошел паренек-от мой. Приоделся во что красивее. Жили-то мы тогда не в поселке — в деревне Нелюбино, через поле. Идет, значит, он. А за ним увязался кот Мартик. Тот часто его провожал за деревню. А тут еще далее пошел. Ступают на пару, как брателко с братом. Кот то об Колину ногу потрется, то вперед забежит, вроде бы как закрывает ему дорогу. Возле барачков, как поле-то сын мой пройди, на него с батогами и налетели.

— Вот он! — кричат.

Повернуться бы Коле вправо, на электрический свет от окон, был бы жив и теперь, а он влево, в темное повернул. Нож-то под ребра и угодил. Парни хлещут его батогами. Откуда-то девки взялись, и бабы, и старики. Кто стонет, кто крестится, кто унимает. Тут фонариком кто-то Колю и осветил. Да на весь-то поселок слезным голосом:

— Не тот, робята! Не Виська! Не он!

Был-от Коленька мой смирённый-смирённый. По ошибочке, значит, его. Кривая стрела. Метила в одного, да попала в другого. Приняли, стало быть, за углана\*. Был такой у нас Виська Облузин, с малолетства из тюрем не вылезал. А попадал все туда за гадости да за драки. Чуть малёшенько подохнет — тут и жди от него какой пакостишки. В последний-то раз глаза свои гадские насветил на чужую невесту. Уследил, что ночует она в сеновале. Ночью туда и залез. Снасильничал будто поганец. На завтра узнал об этом весь Митинский Мост. Вот тут и решили ребята поганцу здоровьишка поубавить. Да немного поторопились. Вышло так, будто ими нечистый руководил. Коленька мой за Виську-то, змия, попался.

Поблсднела Вера. Больно ей за тетку Настасью. Больно и непонятно.

— А кто убил-то его? Нашли?

— Был тут следователь. Искал. Да только ему ничего не сказали.

— А все-таки кто? — загорелась Вера, так вся н уйдя глазами в лицо Настасьи.

Посуровела повариха:

— Не надо тебе это знать.

— Не надо?!

— Кто сынка моего прикончил, — сказала Настасья, — тот виновен, да не настолько, чтоб гноить его за решеткой. По мне довольно одной потери. Вторая потеря мне бы Колю не возвратила, а нового горя дала бы в излишке, и я могла бы не устоять.

Вера почувствовала себя какой-то маленькой, глупой и неприятной. Горе ее по сравнению с горем Настасьи было ничтожным. Она посмотрела на повариху, как та, сугорбя рыхлые плечи, прошла к плите, встала одной ногой на колено, швырнула полешко в огонь. «Как живет-то она? — подивилась Вера. — С такой зарубиной на душе? Ой как худо ей! А гляди, не выкажет горечка никому. Да и выглядит эдакой бодрой. А у кого что стрясись — готова еще и утешить. Откуда в ней это?» — думала Вера. И приходила к мысли, что, видимо, это от вечной русской привычки раскрывать свое сердце для каждого, кому плохо и тяжело, кто расстроен и болен или не знает, как дальше жить. И вдруг молодухе от-

---

\* Углан — шпана.



крылось: Настасья ей для того и рассказывала о сыне, чтоб укрепить в ней, неопытной, слабой и глупой, веру в счастливое материнство. Подступила к горлу сладкая дрожь, перехватила дыхание на секунду. «Никуда не поеду! — решила Вера, и ресницы ее задрожали от проблеснувших в них радостных слез. — Ну ее к демону, эту больницу! Мой малыш будет жить!»

И все-таки к дому Вера ступала с какой-то неясной тревогой. Волей-неволей думала о себе. Чего она видела в жизни? Да то же самое, что и все, кто, как она, закончив в родном городке учебу, едет с дипломом техника в лесопункт. А в лесопункте — работа. Не мастером — молода и характером слабовата, десятником нижнего склада определило ее начальство. Работа простая. Знай залезай на площадки машин, к пахнущим терпкой смолой еловым комлям, зацепляй их линейкой, смотри на отсчет и записывай в книжку. Кроме работы, не знает Вера, чего ей и вспомнить. Разве замужество с Борей. Счастлива ли она? Покуда Вера не разберется. Замуж вышла как с перепугу. А перепуг оттого, что была она девушкой видной, и стоило ей появиться раз в клубе, как среди парней моментально возник раздраженный шумок, словно делили ее, решая на спор, кому с десятницей лучше пройти. Многие парни в ней разглядели ту самую, с кем бы хотели связать свою жизнь. Она же выделила Бориса. Привлекли ее в нем широкие плечи, синие пристальные глаза и лицо с выражением твердости и упорства.

Ночные прогулки, свадьба, семейная жизнь запомнились ей как один затянувшийся день, в котором все было слаженно и спокойно. Однако спокойствие кончилось. Это случилось вчера. С изумлением и боязнью учуяла Вера в себе трепыханье еще одной жизни. Значит, она тяжелеет! Значит, под сердцем — родное дитя. Странно смущаясь, сказала об этом Борису. Полагала: он будет рад. Но муж огорчился.

Целый вечер она страдала, слушая, как Борис монотонно впускал, что ребенок сейчас преждевременен, свяжет заботами по рукам и что лучше Вере не мешая съездить в больницу.

Это молодку сейчас и пугало. Что она скажет Борису? Где отыщет слова, какими можно сломать в нем худое упрямство?

Над поселком ползли тучи. До ночи еще далеко, а

серая мгла сдавила Митинский Мост. То тут, то там замелькали огни, осеняя крестами от рам глубокие снежные огороды. Провизжал за забором в хлеву молодой поросенок. Бухнул валенок о порог. От трубы отемнелой косицей пошел развиваться распластанный дым. Жизнь продолжалась и здесь, несмотря на холод и снег, скучный лес и давившие на дома и бараки глухие потемки.

Вспомнила Вера, что Митинский Мост был для нее когда-то настолько чужим, неприветливым и ненужным, что она настрочила домой письмо, убеждая свою никогда не болевшую мать выслать справку о ложной болезни, которая, дескать, ее привязала к постели, и потому за ней требуется уход. То было год с небольшим назад. Теперь поселок как бы сменил чужое лицо на лицо знакомое, где-то даже и дорогое, и Вере было приятно, что нету в ней прежней тоски, привыкла к работе и знает многих людей, с кем любит здороваться каждое утро. «С людьми хорошо — так с мужем худенько, — маялась Вера в своих раздумьях. — И чего он такой? Ведь не пень. Должен понять, что нельзя мне в эту больницу. Не выдержу я...»

Борис уже ждал. Он даже ужин сам приготовил. Впрочем, он делал за Веру не только ужин — стирал и гладил белье, мыл полы, ходил в магазин. Много было заложено в нем от просужей хозяйки, любившей в квартире порядок и чистоту.

Он сидел за столом в шерстяном спортивном трико, обтянувшем его мускулистое тело. Тонкогубое с правильным носом лицо, блеск внимательных глаз, наблюдавших с улыбкой за Верой, — все в нем как бы шутя, но и с достоинством говорило: «Вот я какой у тебя! Настоящий хозяин! Где такого еще найдешь?!»

Умывшись, Вера уселась за стол. Вдохнула с чувством человека, которому скажут сейчас неприятность. Однако Борис был корректен. Сам поел. Дал и Вере поесть. И лишь после того, как она взялась убирать со стола, серьезно и требующе сказал:

— Едешь завтра. С Третьяковым договорился, — назвал начальника лесопункта. — На три дня отпускает. Увезу тебя сам. Так и так мне по орсовские консервы.

Ознобило Веру. Она покосилась на дверь, откуда

так остро и холодно кинуло стужей. Но дверь была плотно закрыта.

— Боюсь.

По тонким губам Бориса скользнула короткая усмешка:

— Другие вон раз — и в дамках! А ты?

Чашка вывалилась из Вериных рук и, хрупнув отколотой ручкой, покатилась вертком по столу. Почему-то глаза ее поймали вешалку возле порога, где поверх занавески торчала зимняя шапка, схватили и умывальник, зеркало на стене, полотенце для рук и недвижно сидевшего мужа, чье лицо неожиданно вызвало в Вере неприязнь.

— Не поеду. — Она побледнела: — Ты должен понять...

— Не дури, — недослушал Борис. — Как, не знаю, не понимаешь! Для тебя же будет потом хорошо. Что я враг тебе, что ли? Значит, завтра...

Собралась Вера с духом и тоже не стала дослушивать мужа.

— Скудный ты, Боря, — сказала, заставив себя хоть и слабо, но улыбнуться, — ну точненько дятел. Говоришь, как березу долбишь.

Удивился Борис.

— Потому и долблю, — объяснил, — чтобы было у нас все как надо. Надо сначала пожить на себя. Так что давай. Не упрямысь. Дурехой не будь. Обойдется, как в точной аптеке.

Расстроилась Вера. Но неожиданно, как поддержка, на память пришла ей тетка Настасья.

— Человеку дни выданы не для страха, — заговорила ее словами. — На смерть посылать его — самая худая статья.

Брови Бориса сошлись:

— Угрожаешь?

— Предупреждаю.

— Сама придумала?

— Повариха.

Отшатнулся Борис на горбатую спинку стула. С минуту сидел, о чем-то мрачно соображая. За эту минуту лицо его сузилось, потемнело. Знал Борис за собой преступное дело. Был виновен в гибели сына Настасьи. Не ножом он его, а палкой. И хотя этих палок в тот вечер пришлось на голову парня немало, еще не-

известно, какая из них была самой смертельной. И повариха могла его обвинить так же, как и других, кто участвовал в этой свалке. Но она ни о ком ничего не сказала. Тогда не сказала. Выходит, сейчас?

— Душа моя не баранья, — сказал он, угрюмо уставясь в клеенку стола, — за дешевку ее не продам.

— Это о чем ты? — смутилась Вера.

Борис шевельнул головой, глаза резко вылились свет удивления и испуга.

— Разве тебе повариха не говорила, кто уколошил ее Николашу?

— Спятил, Боря! Об этом она сказала другое.

— Другое?

— Она сказала, что это парии, а кто — конкретно не назвала.

Борис повернулся вместе со скрипнувшим стулом.

— Тогда ответь мне: кто и кого посылает на смерть? Так ведь сказала твоя повариха?

— Так.

— Ну так и кто?

— Кривая стрела, — снова ответила Вера словами Настасьи. — Метишь в дите, а ударишь в себя.

— Фу ты черт! Фу ты! Я думал, ты говоришь о Настасьином сыне, — промолвил Борис. Но Вера-то видела: муж встревожен.

— Чего уж теперь говорить о Настасьином сыне. Его не вернешь. Говорю о нашем...

Борис неотчетливо понимал, что сейчас толковала ему супруга. В груди его что-то то сжималось, то разжималось. Казалось, там сшиблись друг с другом жестокость и жалость, и примешались к ним где-то сбоку надежда и страх, и было ясно ему, что сегодняшней ночью он не заснет, потому что будет судить его совесть. Совесть сына Настасьи, которого нет. И совесть их с Верой ребеночка, который, кажется, будет.

Свет потушен. Потемки в квартире. Потемки и там, за морозным окном, где текла, освещая себя слепыми снегами, молодая январская ночь, и в ее губительно-жутком зените серебристой колючкой мерцала малютка-звезда — единственная из всех, что пыталась проникнуть взглядом в окно и узнать: почему же хозяева этой квартиры никак не могут сегодня заснуть?

Догадывает Бориса мысль о жене: «Теперь она все обо мне узнает. Завтра же спросит тетку Настасью.

И та ей расскажет. Конеч. Была жена — и не станет. Уйдет. Или скажет, чтоб я уходил...»

И Веру терзает такая же мысль. Она задает себе страшный вопрос. Сотню раз задает: «Неужто и Боря увечил Настасьина сына? Если так, то и жить мне не с ним...»

Утром они уходили из дома, будто чужие. Не позавтракав, шли: Борис, направляясь в гараж, Вера — в столовую.

Настасья несколько не удивилась, когда дверь в столовую распахнулась и Вера, вся в белых ниточках от мороза, красиво-печальная, с горьким надломом губ и бровей прошла, прошуршав по скамье полой полушубка. Остановившись возле плиты, ослепила Настасью сырыми глазами:

— Думала все о сыне твоём. Кто сго, тетк? Может, вместе с другими был там и Боря?

Настасья отерла лицо ладонью.

— Нет, — сказала с забившимся сердцем.

Не поверила Вера:

— Ты меня не жалеи!

— Нет! Нет! — повторила Настасья и ощутила в себе тяжелую усталость.

— Ты мне голую правду, тетка Настасья!

Повариха взглянула на Веру и улыбнулась:

— Пустое, Вера. Не было там твоего Бориска. Ты мне лучше скажи, — показала на Верин живот. — Как дите-то свое? Чего с ним решила?

— Буду рожать, — потупилась Вера и отвернулась к окну, вбирая рассеянным взглядом белую крышу дома-курилки, цистерну на козлах, поленницу дров и бредущие в тихих сугробах старые елки, из прогала которых вдруг выполз опутанный инеем лесовоз. Схватив со стола деревянный с крючком и черными цифрами метр, Вера метнулась к порогу столовки. Бежала к машине с хлыстами, не зная того, что Настасья глядит ей вдогонку. Глядит глазами усталой старухи и, теща себя красивым обманом, видит в ней ласковую невестку, которая скоро подарит ей долгожданного внука.

## КАМУШЕК

Берега здесь затоплены. Бесконечные плавни с обломками старых ольшин и кустами сутулого белотала напоминают о чем-то неузнанном и печальном, навеки схороненном под водой. Трижды бывал я на этой реке. Рыбы тут много. Одно неудобно — негде вздуть вечерний огонь. И все же костры кое-где полыхают. Я был свидетелем, как один рыболов варил уху в деревянном корыте, которое было привязано к лодке и плыло вместе с огнем по реке.

И вот я снова спешу в край затопленных трав. До лодочной станции добираюсь по зыбкому ярусу рослых осок. Слышу голос сторожа лодок, мохнатобрового, в детской кепке, корявого мужика:

— Гад такой! Только мне попадись! Так уважу шестом вдоль хребтины, что забудешь, куда и сесть!

Я догадался: кто-то угнал со станции лодку. Не позавидовал смельчаку, потому что сторож был вознамерен разделаться с ним как с личным врагом. Пройдясь по болотному льну с нервно закушенной папиросой, он начал было отвязывать лодку, чтобы отправиться срочно в погоню, но тут послышался выплеск воды.

— Едет, в гробу его ноги!

Подняв над водой заносчивый нос, лодка вертко шла по канаве. В корме, обнимаясь с шестом, стоял лысоватый, в очках и кожаных броднях мужчина.

— Здорово, ребята! — Он широко улыбнулся. — Наверно, лодки хватились?

Сторожа затрясло:

— Кто тебе разрешил ее взять без спросу?

— Сам не пойму! — Мужчина направил нос лодки к причальной скамье. — Пришел — никого. Ну и решил вон до тех ивнячков прокатиться.

— Я вот тебе прокачусь! — В руках у сторожа вырос батог.

Мужчина вышел из лодки:

— Правильно! Я виноват! Не спорю!

— Да я стяжком тебя по очкам!

— Можно и по очкам.

— Искупаю, как лягушонка!

— Обижаться не буду.

— Ноги переломаю!

— Валяйте и ноги.

Сторож даже растерялся: не ожидал, что так необходимо и покорно можно встречать его грозную брань.

— Как тебя там? — спросил, втыкая батог.

Мужчина ответил:

— Овинин.

— Согласный, смотрю, на все. Это почто же так у тебя, товарищ Овинин?

Овинин покладисто объяснил:

— Мой бог — справедливость. Заслужил худое — худое и получи. Вот я, к примеру, сейчас провинился. И хотел бы лодки у вас попросить, да уж не-ет. Потому что вы не дадите. И за это вас даже мысленно похвалю, благо поступите справедливо.

В глазах у сторожа брызнул смешок.

— Непонятно, товарищ Овинин. Наш брат живет как придется да как поведется. А ты по какому-то правилу, что ли?

— Да! Да! По правилу! — согласился Овинин. — А правило у меня такое: ступай по жизни только прямой дорогой. Сам иди напрямиком и другим не давай, чтоб сбивались. Все давно бы у нас жили при коммунизме, кабы не эти отходы с прямой дороги...

— Ладно. Вижу, в башке у тебя не тесно. — Сторож, видимо, не любил слушать умные изъяснения и, кивнув головой на лодку, добавил: — Залазь обратно. Рыбачь. Только путевку сначала оформи.

Пока они заполняли путевку, я поднял шест и, шагнув в загремевшую лодку, начал ее выводить на реку. Не проехал и полканавы, как услышал:

— Вы тоже с ночевкой?

Я неохотно откликнулся:

— Тоже.

— Тогда я вас догоню. Вдвоем интересней.

Пересев на дощатую банку, я поспешил поднажать на весла: хотелось побыть одному, без собеседника на рыбалке. Благо рыбалка тем и бывает великолепна, что на ней отдыхаешь от множества слов, которые слышишь на улице, дома и на работе, от всех знакомых и незнакомых, родных, приятелей и начальства, с кем по воле случая или судьбы ты обязан поддерживать разговоры.

Пахло мокрыми веслами и осокой. Солнце снижалось. Я нашел одно из спокойных окон, завел туда лодку, воткнул долгий шест и привязался к нему веревкой.

Клевало неплохо. Удочка то и дело тащила вверх упиравшихся окуньков, и в груди, ублажая душу, играла азартная страсть. Было в ней что-то радостно-хищное, с чем человек, поди, и родился, с чем и живет, умея время от времени дать этой страсти поблажку.

Однако всему наступает конец. Солнце завязло среди топей, стало темнеть, и надо было задуматься о ночлеге. Наученный горьким опытом прежних рыбалок, теперь я был при дровах, которых набрал, проплывая вдоль голых, с ободранной шкурой кустов белотала. И место скоро нашел, где бы можно было зажечь костерок, облюбовав для этого стайку поросших пушицею кочек.

Сидеть на кочке было хотя и мягко, но сыро, к тому же с каждой секундой она погружалась все глубже и глубже, и мне приходилось над ней привставать, дабы ненароком не искупаться. Так же было непросто разжечь и сушиняк, ибо кочка тряслась каждой осочинкой и травинкой. И все-таки мой костерок занялся — хуленький, бледненький, низкорослый, однако достаточный для того, чтобы сварилась уха.

Сумерки быстро густели. Мерцала река. Ночь смешалась с потемью трав, поднявших над рекой свои высокие стебли.

После ухи потянуло на сон. Но едва оттолкнул послушную лодку, устроился в ней на решетке, прикрывшись коротким плащом, как дрема исчезла, к душе прикорнуло что-то скитальческое, бродяжье.

Было слышно покойное бормотание, с каким вода обтекала нос лодки. Крякнула утка, взлетев в трех шагах из косматой травы. Повеяло стынью. Вверху, на южной окраине неба, нашел звезду Альтаир. А потом и Полярную отыскал. Соединяя их, видел немислимо длинный космический луч, который, как стрелка буссоли, показывал путь. Путь тому, кто сейчас заблудился и торопится выйти к ночному жилью.

Заснул именно в ту минуту, когда подумал, что не засну. Сквозь сон кто-то спрашивал у меня: той ли дорогой плывет моя лодка? Откуда я знал. В ночи ничего не видно. Однако вопрос звучал и звучал. Чтобы уйти от него, я сказал: «Перестаньте про эту лодку: она уже никуда не плывет». И едва я это промолвил, незамедлительно и проснулся, с удивлением обнаружив, что лодка действительно не плывет.



Я уселся за весла. Заметив плесо стеклянно-пологой воды, стал разматывать леску.

Клевало лучше, чем на закате. И опять в груди, согревая озябшую кровь, трепыхалась радостно-хищная страсть. Светало. Сквозь клочья тумана вставала земля с ее отдаленными берегами, травой на воде и летящими куликами. На какой-то миг мне поверилось, будто я нахожусь везде, умудрившись сродниться с природой так нераздельно, так обтекаемо и так просто, как это может только предутренний ветерок.

Возвращался я к лодочной станции с ощущением тайны, к которой нечаянно прикоснулся.

Было уже не рано. От затопленных трав опускались зеленые тени. Толкаясь шестом к тесному лежбищу лодок, я услышал резкие голоса. Пригляделся и понял, что это Овинин и сторож. Оба чем-то возбуждены. Казалось, они никуда отсюда не уходили, спорили ночь напролет, не умея мирно друг с другом расстаться.

Овинин в косо посаженных на нос очках, бухая броднями по воде, шел на сторожа так, точно хотел его опрокинуть.

— Фамилия?

— Вроде бы Щекин. — Сторож сдавался к ведру, зеленевшему на пороге передвижного домика-караулки. — Только не круто ли размахнулся, в гробу твои ноги, товарищ Овинин?

— Сеткой ловил? — Овинин кивнул на ведро, в котором вровень с краями пестрели жабры, головы и хвосты.

— Сеткой.

— Вот и попался! — Овинин достал из кармана серенький документик. — Я кто, по-твоему, Щекин? На работе я — инженер по труду и зарплате, а на реке — общественный рыбинспектор. Мой бог — справедливость.

Сторож поморщился, снял с головы староватую, в мелких клинышках детскую кепку, обтер подкладкой распаренный лоб.

— Больно громко заговорил.

— А я со всеми так, кто ворует!

Мохнатые брови Щекина тесно сбсжались.

— Брось цепляться, Овинин. Возьми-ка лучше пару рыбех.

— Взятку суешь?

— Да не взятку. Эт так. Чтoб от тебя отвязаться.

— Совесть мою оценил в два лещовых хвоста?

— Да бери хоть четыре! Только оставь меня, ради бога.

Овинин пообещал:

— Оставляю, однако сперва объясню...

Нервы у Шекина, кажется, сдали. Отчаянно сплюнув, он наклонился к ведру, схватил его и поставил к ногам инженера.

— Чего объяснять! Забирай всю рыбу! Ешь ее с пузырями! И двигай отсель!

— Я не из тех, — Овинин взглянул на Шекина с превосходством, — не из тех, кто берет. А мог бы. И сколько угодно. В своем управлении я на самом денежном месте сижу. Захотел бы — карманы трещали от денег. Давно бы и дачу имел и «Волгу». А вот не имею этого ничего. И не буду иметь. Потому что стараюсь жить честно.

Шекин насупился.

— Ну и чего ты со мной ладишь делать?

— Я ничего. Не потому, что этого не хочу. А потому, что ты можешь подумать, будто я за вчерашнее мшу. Вот товарищ — другое дело! — При этих словах инженер по труду и зарплате взглянул на меня так дружелюбно и так приятно, словно мне надлежало его поддержать.

Я поневоле опешил.

— Что другое?

Инженер подсказал:

— Вы можете акт составить на браконьера и сдать его в органы рыбоохраны.

На душе моей стало скользко.

— Но я не общественный рыбинспектор.

Инженер саркастически улыбнулся:

— Лишь бы не мне. Так у нас большинство. Щиплют, как курицу, наше богатое государство. Щиплют такие, как этот, — рука Овинина сделала жест, нацелив на сторожа блый палец. — А мы стоим с ними рядом и не мешаем.

Камушек падал в мой огород. Перекинуть его обратно я не посмел, потому что почувствовал: прав Овинин настолько, что с ним и спорить даже нельзя. Так с этим камушком я и пошел, направляясь болотной тропой к шоссейной дороге. И Овинин пошел. Не прошли и десятка шагов, как раздался отчаянный голос:

— Товарищ Овинин!

Мы обернулись. Щекин стоял в позе смущенного мужика, кого внезапно ошеломили.

— Ты не подумай, — взмахнул он матерчатой кепкой, — что я какой-нибудь там браконьер! Я ведь старался для молодых! Сегодня у нас на деревне свадьба!

— А молодые кто тебе будут? — спросил с подозрением инженер.

— Просто мы рядом живем. — Сторож надел на голову кепку, виновато моргнул и вдруг умоляюще улыбнулся, точь-в-точь просил нас поверить ему, как человеку, который еще никого под худое не подводил, жил с народом в единое сердце и, если когда-нибудь оступался, то после этого каялся и страдал, как страдают, наверное, многие русские люди, кого судьба проверяет на прочность души.

1981 г.

## ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Там, за хвойным плетнем, томятся от зноя зеленые гряды. А за ними вся прожженная солнцем поселковая улица.

От промчавшихся МАЗов — гарь и пыль. Зато под стенкой сарая будто в погребе. Выступ крыши бросает длинную тень. Нет ни мух, ни слепней.

Васька, не вставая с травы, достает из кармана бутылку. Достает небрежно, лениво, точно приходилось ему это делать множество раз.

— Вермут... — Голос у Васьки совсем равнодушный.

Но Сережа знает, что Васька рисует. Опять изображает из себя пожившего человека, привыкшего, чтобы все с него брали пример.

Мысленно Сережка над ним смеется. Ваське что? Можно и представляться. У родителей единственный сын. Живи в свое удовольствие. Сережка тоже бы не прочь пожить без забот. Но разве это возможно? Мать у него — одно название, что труженица. Сердце у нее слабое — того и жди, что окончательно сляжет. Да и братишек у Сережки целая куча. Сам-то бы он еще ничего, мог бы обойтись и без вкусной еды, и даже без магазинных обивок. Но братишки без этого не могут никак.

У Сережки узкие мальчишечьи плечи, но голова большая и голос с переходом на бас.

Он выжидательно смотрит на Ваську:

— А если узнают учителя?

Васька встряхивает бутылку:

— Пускай! Мы тепере от них независимы!

Ответ успокаивает Сережку. С Васькой где пропадешь? Разве только на устном экзамене. Там он обычно подмигивает своими голубенькими глазами, требуя срочной подсказки. А за подказку — лишь оплошай — живо за дверью окажешься. Сегодня Сережка и Васька сдали последний экзамен. Счастливее их не найдешь!

Сережка разламывает кусок черного хлеба. Побольше половинку — Ваське, поменьше — себе:

— Ты раньше когда-нибудь пил?

Уголки Васькиных губ презрительно опускаются вниз:

— Не впервой! Вот выпьем и пойдем к девкам в барак.

Сережка внимательно смотрит на Ваську. Вроде говорит без притворства. Нет уж, Васька как хочет, а он в барак не пойдет. Сережке становится стыдно, стыдно того, что еще не случилось, но что может случиться, если он не поссорится с Васькой.

Сережка уже и не рад, что согласился с ним выпить. Зачем ему это вино? Лучше бы пойти на реку. Удил бы потихоньку ельцов и плотвичек.

Река для Сережки — родная стихия. Каждое лето он на ней пропадает. Мать ему и уха наварит, и рыбников напечет, а когда лов особенно щедрый, снесет рыбу в столовку и на выручку купит что-нибудь из одежды. На другие-то деньги трудно справить обновку.

Работает мать в бараке техничкой, и получки хватает только-только, чтоб в долг не забраться. Да Сережка и сам понимает, что лучше жить они не могут пока. Вот когда он в годы войдет да начнет работать в дежанке, тут они живо окрепнут.

Васька возится возле забора, пытаясь сорвать с бутылки железную пробку.

— Дай-ко я! — говорит Сережка. — Я зубами ее.

— А не сломишь?

— Не... У меня кривые они. И сломя, дак не жаль.

Сережка напрягся, но железная сковородка как примерзла к стеклу. Он хочет уже разжать занывшие челюсти, но замечает, что Васька смотрит в его рот с уважением, и Сережка еще сильнее цепляет зубами пробку.

— Ладно, буде, оставь, — разрешает Васька.

Сережка чувствует, как пробка медленно начинает подаваться, отходя от стекла.

— Ай да ребяташки! Что делают-то они? — неожиданно громыхнул возле них голосище.

Васька метнул голубыми глазками на Сережку: прячь, мол, скорей. Но Сережке прятать куда? По губе у него уже кровь сочится, а зубы застряли под пробкой. Он и опомниться не успел, как за бутылку схватилась рука мастера Ларина — волосатая, мягкая, с медным кольцом на мизинце.

— Да-а... Воспитала школа ребяташек! — Голос Ларина насмешлив, а мясистое, с двойным подбородком лицо готово выразить осуждение. — Неплохое начало! Гляди, как шикуют! Ровно богатые купчики!

К взрослым Сережка всегда испытывал почтение и чувство зависти. Хотелось ему, как они, работать и получать зарплату. Сколько в семье счастливых минут, когда приносят домой покупки! Сережка ждет не дождется, когда и он принесет братишкам по новым штанам, а матери красивой ткани на платье. Он на любую работу готов. Пошел бы хоть на сучки, хоть на выкатку бревен. И, понимая, что просить об этом лучше всего мастера Ларина, смотрит сейчас на него с виноватой улыбкой.

— Ты, дядя Коля, выпей-ка лучше с нами, — не смущается между тем Васька.

Сережка видит, как его дружок из кожи вон лезет, чтобы показать себя рубахой-парнем, которому все дозволено и все нипочем. «Сейчас он разнесет тебя в хвост и гриву», — думает Сережка о мастере. Но Ларин лишь насмешливо произносит:

— И это нашего передового тракториста сынок? Да-а...

— Дядя Коля, — просит Сережка. — Вы всяко никому не расскажете?..

— А чего, дядя Коля, — подхватывает тут же и Васька, — чего рассказывать-то?

Ларин снисходительно улыбается:

— Уж не в школе ли вы такие увертки себе заучили?

— Дядя Коля, так без уверток-то как? Без уверток-то не больно легко школу окончить.

Ларин тоненько усмехнулся:

— Шустер ты, Василий! Ну прямо Шурик, да и только!

— Какой Шурик!

— Ну, ребятушки... фильмы, что ли, не смотрите? — Мастер достал бутылку, которую до этого положил в карман, повертел ее и вернул Сережке. — Ребята-то вы больно хорошие. Ладно уж, выпейте, как уйду. От одной авось не подеретесь.

Сердце Сережки радостно затрепетало. Что за человек этот Ларин?!

Мастер уже сделал шаг к дощатой калитке, но задержался.

— А у меня есть до вас предложение, — обернулся он. — Взять хоть тебя, Василий. Летом-то ты чем намерен заниматься?

— Ничем, дядя Коля! — весело ответил Васька. — Я летом ничем не занимаюсь!

— А ты? — Ларин недоверчиво взглянул на Сережку.

Под взглядом мастера Сережка сконфузился. Но, осилив смущение, посмотрел на Ларина с надеждой, точно ждал от него такого, от чего бы вся его жизнь повернулась в лучшую сторону.

Сережка часто думал о матери. Как много сделала она для него! Восемь лет проучила. И хотя мысленно видел себя в будущем студентом лесотехникума, он понимал, что пока об учебе ему не мечтать. Надо было думать, как поддержать мать и младших братишек. Поэтому, когда Ларин предложил ему поработать на пойме реки — застолбить низкий берег, чтобы осеннее половодье не разбросало сплавляемый лес, — он сразу же согласился.

— Держись покрепче за мой локоток! — посоветовал Ларин. — Я человек крутой, по, ежели кто мне понравится, век свой не обижу.

Мать радовалась, словно маленькая.

— Теперь, надо быть, заживем. Можно и гостей по праздникам принимать.

— И мой день рождения справим?

— Справим, Сереженька!

— А если дядю Колю к нам в гости?

— Ну как же... — соглашается мать. — Без этого тоже нельзя. Отец-то живой был, так небось каждое воскресенье у нас тесненько было. Гостей найдет — повертятся негде. И высокое начальство тут, и соседи с женами, и кавалеры, и крали всякие. «Сыграй-ко давай, Андрюша, на выходку!» — крикнут отцу. А тот и рад стараться. Гармоику в руки — и такая пляска, что половицы стонут.

Вспоминая, мать с нежной гордостью смотрит на сына. Не пожалуется она на своего большака. Отец как помер от несчастного случая, думала, немного без него наживет. Трудновато пришлось: до этого она, кроме домашних, никаких дел не знала. Предложили полы мыть в бараке. А в бараке мужики стояли с семи деревень. Грязь, пылица, дыму втугую. На карачках с утра до вечера. И семилетний Сережа с ней. Жалеет мамку свою. Под каждую коечку заберется. Ползает с тряпкой, да так аккуратно все вымоет, что переделывать после не надо.

И все-то время он ей пособляет. И дров к печам на-таскает, и сушилку затопит. Летом дел поменьше, так спешит на реку. Без рыбы дня не сидели.

Радует сердце матери, что из сынка работник выйдет завидный. Даром, что худенький, зато старания столько, что хватило бы на троих.

Сережка еще с вечера заступ напильником наво-стрил. А утром сразу засобирался на пойму. От завтрака отказался.

— Проработаюсь, дак тамо поем.

Мать на крылечко вышла проводить. Смотрит любовно на сына: и ноги слегка корячит, и чуть горбится — ну, точно покойный папая.

Придя на берег, Сережка сразу сообразил, что к чему. Для начала стал выкапывать ямы. Береговой дерн податлив: лопата легко вонзается. Над головой пролета-

ли длинноклювые курочки, что жили здесь в поросших осокою старицах.

Вскоре пришел мастер Ларин со своей дородной женой Галиной. С собой они принесли пилу «Дружба», топоры, бак с бензином.

— Столбов тебе напилим, — сказал Ларин, кивая на лес. — Так что ты знай только копай да ставь их.

Сережке стало неудобно: и чего надумали пособлять, да еще в воскресенье?! А он-то считал, что принесет из дому лучковку да потихоньку и напилит столбов. Ни к чему теперь стала лучковка.

Поуспокоился Сережка лишь после обеда, когда, свалив и раскряжевав с полсотни деревьев, супруги ушли в поселок.

Перед уходом Ларин сказал:

— Даром что из одних косточек сложен. Да-а... Есть хватка. Ежли и дале так пойдет, то через месяц, поди, и закончишь?

Похвала ободрила Сережку. Его узкие плечи слегка приосанились.

— А потом-то, дядя Коля, мне дадите работу?

Ларин был предоволен.

— Да я из тебя своего помощника сделаю. Быть тебе, Сережка, десятником!

Сережка с малолетства такой: как похвалят — рад сделать того лучше и больше. А тут печется сам, ну-ко, мастер! Хочет, чтобы он был на порядочной должности. Сережка представляет себя десятником: как он измеряет диаметры бревен, распоряжается, куда лес разгружать, и все его слушают.

Хорошо, когда в голове легкие думы. С ними и усталости нет, и работается словно под песню. Толкая шея Сережки набухла от напрягшихся жил. Ладони к вечеру горели, словно их поджаривали на костре. И все-таки Сережка пошел домой не сразу, как окончил работу.

Бесшумным, но порывистым взмахом он закинул в реку прозрачную леску. Поплавок тут же дернулся, резко уйдя в черную суводь. Елец оказался тяжелым. Очертя в воздухе круг, он гулко шлепнулся у Сережкиных ног. За первой рыбиной — и вторая. А там и третья...



К задворкам поселковых домов Сережка подошел уже в смутных потемках. Продавать рыбу он не соби-  
рался, но ему встретилась жена дяди Коли. Увидев  
связку крупноголовых ельцов, стала просить:

— Сереженька, продай мне рыбку! Вот обрадуется-  
то мой!

Сережка рад просто отдать рыбу — удовольствие лю-  
дям сделать. Но Галина не понимает. Деньги в руки  
сует.

— Не надо, — противится Сережка.

Но Галина карман отыскала, подмигивает:

— Надо, Сереженька, чтобы честно все было.

Когда Сережка извлек из кармана серого пиджака  
скомканный трешник, Галинино платье мелькало уже  
за ближним хлевом.

Многого не знал еще в жизни Сережка. Окружавшие  
его люди казались ему понятными и простыми. И не ду-  
мал он, что за один какой-то день его представления о  
некоторых из них могут так измениться.

День тот начинался, как и все прежние дни. Сквозь  
глушняк на болоте сочились пучки рассветного солнца.  
Пахло поспевшей травой. И длинноклювые курочки, как  
обычно, сновали над островками осоки.

Сережка закапывал последние столбики, когда уви-  
дел у дальних надолб высокого человека. «Да это дядя  
Федя, кажись», — обрадовался он.

Во время учебы Сережка почти каждый вечер наве-  
дывался к Ваське. Бывало, расшумятся они или начнут  
бороться на разостланных на полу фуфайках, а дядя  
Федя только что с трактора. Должен, казалось бы,  
прикрикнуть на них или выгнать на улицу. Но такого  
не случалось ни разу.

Тетя Вера порой недовольна, слушая их шумные  
споры: дескать, что из них дальше получится, если те-  
перь уже все понимают.

А дядя Федя ее успокаивает:

— Дальше из них человеки получатся, так что пусть  
готовятся к этому сыззаранья.

...Сережа отставляет лопату. Смотрит, пожмуриваясь  
от жарких лучей. Длинное, с запавшими щеками лицо  
дяди Феди выглядит мрачным. Таким Сережа дядю  
Федю еще никогда не видел. «Быть может, неприят-  
ность какая случилась? Иначе зачем ему слоняться по  
пустоши», — думает он, но спросить не решается.

Первым заговаривает дядя Федя:

— Деньги зашибаешь? — Он в упор смотрит на закопанный столб.

— Надо начинать и работать, — отвечает Сережка.

— А мой Василек думает не эдак...

Сережка настораживается:

— А где он сейчас?

— Был у дяди в гостях. В Вологде. Знаешь город такой? Потом к тетке поехал, в Москву. — Помолчав, дядя Федя невесело добавляет: — Это ему, видишь ли, нравится. Тебе денежки зашибать нравится, а ему по гостям кататься.

— Ты, дядя Федя, плохо о нас думаешь. — Сережка решает заступиться и за себя, и за друга.

Дядя Федя улыбается, но так устало, точно ему жить надоело.

— Плохо ли, хорошо ли, а все-таки думаю. А вот когда совсем не думаешь...

— Дядя Федя, как жить-то, если не думать?

— Кто не думает, тот не живет.

— Что же он делает-то тогда?

Но Васькиного отца сбить с мысли не очень-то просто.

— Кто не думает, тот питается.

Дядя Федя поворачивает обратно в поселок, но Сережка окликает его. И он, постояв в нерешительной позе, возвращается.

— А Васька-то у меня ведь под следствием... — неожиданно говорит он, глядя прямо Сережке в глаза и видя, как в них застывает страх. — Сдружился с городской шпаной, — продолжает дядя Федя. — Так вот дружки эти подзуживать его взялись. До того доподзуживали, что Васька захотел им нос утереть. Спер с прилавка бутылку. Держит в руках: смотрите-де, ни шиша не боюсь. Хотел, видишь ли, назад вино-то поставить. А тут милиционер оказался. Дружки-то, чтоб подозрение на них не пало, схватили Ваську за руки: вора-де держим...

— Неужто посадят? — вырывается у Сережки.

Но дядя Федя, так и оставив вопрос без ответа, теперь уже решительно и быстро удаляется вдоль beleющих надолб.

Сережка ложится рядом с водой, опустив голову на кулаки. Он никак не может представить, что теперь будет с Васькой.

Из травы Сережка поднялся, услышав топот коня. Не хотелось никого сейчас видеть, но мастер Ларин обрадовал его, сообщив:

— Сегодня твоя первая трудовая получка! Пока ты получишь немного. Но ты не смущайся, Сережка! Будет все хорошо! Сделаю я из тебя десятника! Ей-богу!

Легко и мягко входили слова мастера в сознание паренька. И хотя досадная мысль о Ваське не оставляла его, но раздумья о предстоящих деньгах, на которые Сережка сегодня же сделает покупки — пусть не шикарные, не дорогие, но зато позарез нужные его матери и младшим братишкам, несколько заслонили ее.

В конторе на Сережку никто не обратил внимания. Однако, подойдя к столу, за которым выдавал деньги лысый кассир, он от смущения едва выговорил свою фамилию.

— Так, значит, Чекалев... Двадцать два рубля восемнадцать копеек.

Засунув быстро деньги в карман, Сережка направился к выходу. Но от дощатого барьера отделился дядя Федя:

— Что-то маловато ты, браток, получаешь...

Лучше бы дядя Федя сказал ему это один на один. А то при народе. Еще подумают, что до денег он жадный. И спиной и шеей чувствует Сережка на себе липкие взгляды.

— Что вы хотите? — слышит он главбуха в очках, который сидит за центральным столом, опираясь локтями на голубой лист стекла. — На ремонте лежневки никто больше еще не зарабатывал. Рубль восемьдесят в день — ставка твердая.

Сережка уже жалеет, что пришел в контору так рано. К закрытию бы явиться — никаких бы и разговоров.

— Чего вы чепуху городите? — говорит дядя Федя, перевалившись грудью через барьер. — Парень остолобковкой поймы занимался! А вы про какой-то ремонт!

Бухгалтер обиженно уткнулся в бумаги.

— Чем бы ни занимался, это нас не касается.

— Нет, касается! И хотите вы того или нет, а я узнаю, на кого составлен наряд за остолбовку реки, — разгорячился дядя Федя.

— Нам это неизвестно, так что можете не кричать, — недовольно прервал его бухгалтер, зачем-то протирая при этом стекла очков.

Но лысый кассир вдруг, оторвавшись от бумаг, стукнул кулаком по углу стола.

— Как это, Леонид Дмитрич, тебе неизвестно? Да ты сам кипятился, с каких, мол, это пор стала Галина Ларина эстоль денежек заколачивать! За остолбовку-то она семьдесят три рубля получила! Что, вспомнил небось? Сейчас найду и наряд. Это нам недолго...

Дядя Федя изумленно посмотрел на Сережку:

— Ничего не понимаю. Выходит, не ты, а жена мастера берег-то столбила?

— Да, — вконец стушевался Сережка. — В воскресенье она работала вместе с Николаем Александровичем...

Он стал весь красный, когда в дверь вошел сияющий Ларин и бодро воскликнул:

— Здорово, народ!

Он передал бухгалтеру синенький табель и тут же заторопился назад.

Но, робея и смущаясь, Сережка заговорил с ним:

— Дядя Коля, тут за ремонт за какой-то я получил зарплату. А ведь ремонта-то никакого я не делал...

— Ах ремонта... — сказал Ларин тише обычного. — Ты уж извини, Сережка, извини, милок, но сейчас мне некогда. Потом мы с тобой разберемся.

— А не лучше ли сейчас, Николай Александрович, — требовательно вмешался дядя Федя.

— Федор Иванович! — улыбнулся Ларин. — Я же сказал. Зачем повторять дважды? И вообще я не люблю, когда суют нос не в свое дело. Я, например, не спрашиваю тебя, за какие такие грехи сыночка твоего забрали...

У Серсжки запыла душа. Как так можно? Забыв о себе, он беспомощно смотрел на вцепившиеся в борт пиджака дяди Феины пальцы.

— Знаешь, что я скажу... — прохрипел дядя Федя.

Но Ларин дожидаться не стал и быстро прошел в коридор.

Матери Сережка ничего не сказал. Зачем ее зря расстраивать? Но самому ему было обидно вдвойне — и за себя, потому что подарков никаких не купил, и за дядю Федю. Что же это такое? Человек от горя весь потемнел, а его тем же горем и донимают.

Мать, считая Сережкины деньги, задумчиво улыбалась:

— Стало быть, гостей на выходной позовем.

— Кого, мама?

— Да хотя бы Николай Лександрыча. Уважил он нас с тобой, не поглядел на бедность сиротскую.

Сережка пробормотал что-то невнятное и, жалея мать, предложил:

— А может, мама, пока без гостей...

В дверь постучали. В тусклые сумерки кухни шагнул Ларин и по-хозяйски начал распоряжаться.

— Достань-ка, Петровна, стакашки, — сказал тоном, не терпящим возражения. Потом извлек сверток и подмигнул пригорюнившемуся Сережке. — Вермут! Твое, поди-ка, любимое?

Сережка повернулся к окну:

— Я не пью.

— А с Васильем-то не ты, что ль, за воротник-то закладывал? А, Сережка? — Ларин потрепал его своей мягкой ладонью по согнувшейся узкой спине. — Садись-ка давай. И ты, Петровна, садись.

Сережка глядел на бойко бегавшие по столу пальцы Ларина и жалел, что тот застал его дома.

— Ладно, Сережка, брось дуться, — заговорил Ларин отеческим тоном. — Не пьешь, так приневоливать не буду.

— Не в том дело, дядя Коля, — тихо сказал Сережка.

— Ну что ж, — улыбнулся понимающе Ларин. — Тогда насчет денежек потолкуем. Кто как, а я лично готов принять грешок на себя. Без грешка лесорубу жить ныне нельзя. Верно говорю я, Петровна?

В жизни мать не прекословила никому. И сейчас поддержала с улыбкой:

— Стало быть, верно, Николай Лександрыч.

Ларин, цокнув о прокуренные зубы стаканом, сделал крупный глоток. Потом, вспомнив, видимо, что-то важное, отставил стакан:

— Говорят, рыбный купец у нас объявился. Не слышал, Сережка?

— Не...

— Я не верил сперва. Мало ли, думаю, сплетников-то у нас. Но наемднн Галина моя домой прибегает. «Рыбки, — говорит, — свежей купила». В самом деле: пескарики там, ельчишки. Интересуюсь: «Сколько это стоит?» — «Три рубля! За меньше-то, — говорит, — вы-торговать не могла». Да-а, Сережка... — Ларин повернулся к нему грузным туловищем. — А может, ты знаком с крохобором-то с этим? Может, ты знаешь его, а, Сережка?

Узкие плечи Сережки опустились мгновенно, как если бы надали на них чем-то тяжелым. Заметив это, Ларин пододвинул к нему полный стакан.

— Не будем, Сережка! Не будем про эти грешки! Выпьем давай мы за тебя! За будущего десятника выпьем!

Сережка вдруг пожалел, что нет сейчас рядом с ним дяди Феди. Тот бы в обиду не дал. Тот бы поставил Ларина на место. «И долго за меня заступаться будут другие?! — пришло неожиданно в голову. — Почему я сам не заступаюсь за себя? Боюсь я, что ли?»

Сережка уловил на себе взгляды матери и братишек. Они смотрели на него с надеждой, и это помогло ему набраться решимости.

— Дядя Коля, — порывисто сказал он, — а ведь вы не живете. Совсем не живете!

— Что же я тогда, по-твоему, делаю?

— Питаетесь вы...

— Ишь ты, что знаешь! Так ведь это не диво...

— Нет, диво!

Сережка шел на серьезный спор. Это Ларин почувствовал и, чтоб охладить паренька, спросил тоном строго официальным:

— Почему?

— Потому что вы питаетесь как...

— Как кто, Сережка?

— Клопы... Знаете, как питаются?

Оба подбородка Ларина стали мгновенно багровыми. Он с грохотом поднялся со стула, распрямил коренастые ноги, глянул в упор на Сережку, но, не выдержав его взгляда, снова опустился на стул.

— Верно, Сережка, — сказал он наконец слабым голосом. — Верно, что жить не живу, а проживать проживаю. И людям не в радость, и себе не в доход. А что делать теперь? Что, Сережка? Ведь задним-то умом дела все равно не поправишь. Или уйти с мастеров! Довольно! Зажирел на народных харчах. Как ты полагаешь, Сережка? Уйти?

— Полно-ко, Николай Лександрыч, — сказала Петровна, расчувствовавшись от слов Ларина. — Куда ж ты с мастеров-то? Живи уж, как живется.

— Жить что?! — сказал Ларин измученным голосом. — Жить можно ползая. А можно ведь и летая. Вот ведь какую загнул мне твой Сережка загадку. Да-а. И все ведь сходит к тому: на каких памятях останешься у людей... На каких?..

Сережка окончательно был сбит с толку. Минуту назад он этому Ларину готов был плюнуть в глаза. Теперь же чувствовал себя перед ним виноватым. Душа его страдала: слова Ларина, как колючки, вбивались в сердце, и было больно их слушать, так больно, что Сережка не выдержал:

— Дядя Коля, вы не расстраивайтесь. Я не хотел, да уж так получилось. Простите меня...

Ларин ушел, унося на лице усталую полуулыбку, какой улыбаются умные люди после трудной победы. «Поживешь на веку, поклонись и сопляку», — шептал он, озираясь на огороды и дворики.

Но на улице было безлюдно, светила луна, и шифер на крышах отливал серебряным блеском.

1968 г.

## НА БРЕВНЕ

В майскую пору, когда паливаются свечами сосны, кустится трава и обрастают листвой березы, нет ничего приятнее, чем идти вдоль реки по неторной тропе, вдыхая влажную прель прошлогодних иголок. Я ступал вдоль лопочущей водами быстрой Волошки с ощущением человека, который вот-вот сольется с природой, растворяясь в ней, как теплый туман.

Где-то на нижнем складе, в верховьях Волошки, срывали в реку штабеля, и вода пестрела от бревен, плывших стадами и в одиночку меж травящихся берегов.

Внизу, в гуще хвойного сора, качалась долбленка. Возле нее — в белой кепке с пластмассовым козырьком мословатый лет восемнадцати парень. Прибывал к матерому комлю бревна два похожих на ласты тесовых открьлка. Полюбопытствовал я:

— Чего излагаем?

Мословатый поднял глаза.

— Батик\*, — сказал, — лажу на нем порог проскочить.

Удивился я:

— На бревне — и порог? А зачем? Вон же долбленка!

Парень глянул на лодку с пренебрежением.

— На ней вниз хорошо. А вверх? Кишки на уключины наматаешь, пока Каменуху пройдешь!

— А на батике на твоём разве лучше?

— Его вверх подымать не надо. Бросил где хошь — и назад.

— И не жалко трудов?

— Какие труды? Его смастерить — две минуты. А можно и вовсе не мастерить. Встал на бревно, что поболел, — шпарь себе по воде. Эво Маня у нас! — Глаза у парня блеснули восторгом. — Ишь летит! Ровно рыбий пузырь!

Я уставился в низ Волошки, где река клокотала холмами, блестела облаком брызг и тащила сквозь выплески быстрые бревна. На одном из них — грузный мужик в сером свитере, галифе и разогнутых броднях.казалось, его вот-вот опрокинет волной. Но мужик стоял уверенно и спокойно. Куда это он? Ага. К мелководному рукаву, где один к другому лепились бревна, выползая мыском к середине реки.

— Опять на приварок, веселую душу. — Парень дрябло поморщился, но тут же встряхнул головой и сделал рувором руки. — Маня-я?! Мне плы-ыть?

— Гляди сам! — срсагировал Маня и, перепрыгнув с бревна на бревно, вновь поплыл, но теперь среди лесоплава, ловко вонзая багор в сортименты и направляя их на струю.

Мне пора уже было трогаться дальше, но я засмотрелся на сплавщиков, стороживших бурную Каменуху. Здесь нередко, наверно, случались заторы. Потому и оставлен

---

\* Батик — плотик из двух спаренных бревен.



пикет. Но все ли рассчитано верно? Двое против такой стихии? Сумеют ли выдержать натиск реки?

Молодой пикетчик вскочил на бревно. Прошелся, попрыгал, поприседал, но плыть почему-то вдруг передумал. Я снисходительно намекнул:

— Тебе бы как Маня?

Парень понурился и вздохнул, лопаточки скул его покраснели.

— Чтобы ходить по воде, как Маня, надо утопить пять кепок. А я только две утопил.

— Работаете первый сезон?

— Первый.

— Тогда тебе нечего торопиться.

— Ну нет, — насупился парень, — в светлый день, чтобы прятаться в тень?!

Я не совсем его понял:

— При чем же тут тень?

Пикетчик сказал:

— Не желаю ходить в тени знаменитых.

— Таких, как Маня?

Славщик повернулся ко мне, и я увидел в скуластеньком с блеклыми усиками лице гордый вызов зря оскорбленного человека, который стоять за себя не умеет и все-таки будет стоять.

— А что? — спросил он с готовностью кинуться в спор.

Но спорить я не хотел:

— Да так, ничего.

Усики парня зашевелились, а в широко расставленных впалых глазах заиграла секретная мысль. «Сказать, не сказать?» — читалось в них крупным текстом. Решил, вероятно, сказать, ибо нечего было ему таиться — он же видел во мне постороннего человека, кто может выслушать и уйти, никому не открыв его тайную думку.

— Не люблю зависеть ни от кого! — Пикетчик заносчиво усмехнулся, давая понять, что это усвоено им надолго.

— Не малого захотел, — отметил я вслух, а про себя невольно подумал, что парень с запросом и через год, через два, вероятно, покажет себя как личность. Только с какой стороны покажет? С хорошей? А может, с плохой? И я осторожно спросил:

— Но для тебя примером-то кто? Неужели не Маня?

— Я сам хочу быть примером! — откликнулся парень. — И буду! Давно ли я на сплаву? С майских праздников. А уже умею стоять на воде. На тихой, правда. Но и на бурной сумею. И не когда-нибудь, а сейчас. Вон патлы у дерева обрублю.

Пониже, шагах в тридцати, берег треснул и надломился, склонив над обрывом большую березу, ветки которой свесились так, что касались концами воды, вскипавшей желтыми бурунками.

— Совладаю, веселую душу! — Держа топор за стальную бородку, парень поднялся к березе. Постучал в нее обушком, попинал сапогом, однако корни держались крепко, и береза не поддавалась. Тогда пикетчик плюнул на обе ладони и, неловко пристроившись на стволе, стал ссекать толстый сук. Долго он наносил топором удары, пока наконец перерубленный сук, залупившись, не рухнул в воду. И тут послышался яростный крик:

— Павлуха?! Чего же ты полоротишь! Блохи тебя не кусают?

По склону, жарко пыхтя, торопился взволнованный Маня. С красным лицом, толстым брюхом, в мокрых до пояса галифе, он выглядел гневно и властно, как верховод, который сейчас разнесет всех по кочкам. Одарив меня режущим взглядом, перевел глаза на Павлуху и взмахом багра показал на кусты:

— Лясы с туристами точишь, а дело, пали твою курицу, стой!

Павлуха слегка побледнел и растерянно обернулся. В кустах, подминая сушняк, тяжело и тесно ворочались бревна.

— Я и не видел.

— Зенками пялишься не туда!

Пикетчики ринулись вниз. Взмахнули баграми. Перегаркнулись еще раз и пошли выбурливать воду, выводя из кустов бревно за бревном.

Пластались, наверное, с полчаса. Выбрались на припек. С кряхтеньем сдернули бродни, вылили воду и улеглись.

Близилось к полудню. По-самоварному жарко блестела река, донося от камней drobные постуки сортимен-

тов. Маня, перевернувшись на брюхо, покосился наверх. В его шурких, прижатых косыми подбровьями глазах я прочитал: «Еще не ушел?»

— Чего? — снисходительно усмехнулся, испытав ко мне незначительный интерес. — Чего выглядели у нас?

— Выглядел бравого сплавщика.

— Ну и что?

— Удивил он меня.

— Чем?

— А плыл на бревне и ни разу не пошатнулся.

Мане польстило. Он по-кошачьи зажмурился и сказал о себе с удовольствием человека, который любит, когда его выделяют:

— А я ведь не шибко и брав. Бравые лезут, куда другим боязливо. Я на бревно век свой бы не встал, кабы не знал, что могу на нем удержаться. Двадцать лет на сплаву. Тут и не хочешь, да станешь ходить по воде, как по хорошей дороге. Научишься и реку без лодки переплывать и съезжать под мостом по мельничной слани. Теперь, подумаю, вроде и бравым-то быть ни к чему. Вон Павлухе к чему. Ему ух как надо себя показать! Я молоденьким был, тоже любил побахриться. А ноне бахриться к чему? Жизнь по первому кругу прошла, теперь на другой ее повернуло. Скучно стало чего-то. И все оттого, что жил на износ. Поработано было! Погуляно! Эх! За свои сорок лет столь изведаль всего, что другие за семьдесят не сумеют.

Маня замолк, решив, что рассказывать хватит, взглянул на Павлуху, который сладенько почивал, погладил его, утопив в глубокой ладони голову парня вместе с полотняной кепкой, блестящей пластмассовым козырьком. Потом натянул сапоги и неспешно поднялся. Нет, непохож был Маня на человека, который живет по второму кругу. Жизнь играла в его глазах, играла и в бодрой походке, с какой приблизился он к долбленке, достав с беседки бинокль. Долго он шарил стеклами по реке, ища какой-нибудь непорядок. И вроде нашел, затревожился, зыркнул на парня с предостережением и даже пнул в его сторону камешком.

— Хватит берег давить! Есть работешка!

Павлуха привстал, потянулся за сапогами.

— За Каменухой опять набивает! Сплавай туда!

Плыть Павлухе, само собой, не хотелось. Его памяти дремой глаза скучно уставились на долбленку.

— На лодке?

— Али на бревне?

— На батике, — буркнул Павлуха.

— Как знаешь. — Маня повесил бинокль на ветку ольхи. — Только будешь купаться — меня не зови. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Сколько я этих уха-риков поспасал!

Павлуха, ступив на качнувшийся батик, заверил с выскомерцей:

— Меня не придется.

Багор скрежетнул. И батик, срезая стружку воды, дал разворот. Однако не тот, с которым бы можно пройти, не задев кроны березы. Павлуха выгреб крутой полукруг. Вода хлестнула по голенищам.

— Пали твою курицу, наклонись! — скверным голо-сом рявкнул Маня.

Павлуха и так хотел наклониться, но окрик родил в нем худое упрямство, и он влетел в зашуршавший прут-няк.

Я ослепленно отпрянул, зажмурился. Ну надо же так получиться! Ну надо! Багор и бревно неслись среди волн, а Павлуха, схватившись за ветки, нырял, погружаясь по самую кепку в реку. Его протащило на несколько метров, затем растянуло, как на разрыв, и силой ствола завздымало к березе. На долю секунды Павлуха повис. Но тут опять его окунуло, снова бросило по струе и снова мощью березы вырвало в воздух, на миг показав резко стиснутый рот, голый пуп и съезжавшие брюки.

— Прыгай! — потрещивал Маня. — Может, и не потонешь!

В третий раз парня выкинуло без кепки. Он летел как повешенный, руки мертво сцепились в ветвях, и не было силы, какая могла бы заставить пикетчика их разжать.

Вниз да вверх, вкривь да вкось летало Павлухино тело. Маня орал:

— Хватит болтаться! Не маятник! Кому говорят: ныряй!

— Мануил! — На лице у Павлухи будто болезнь, тускло-зеленая бледность.

— Чего там, паленая кура?

В промежутки между нырками Павлуха плевался водой.

— Не разжимаются пальцы. Я не держусь, а меня не пускает!

Маня вздрогнул. На толстом его лице залегла тень смятенной тревоги.

Я кивнул головой на березу:

— Наверно, надо ее срубить.

— Нельзя, — поморщился Маня, — зашибет, как цыпленка.

— Но он уже обомлел!

— Вижу, что обомлел. — Маня мрачно пожал плечами. — Его черт качает. А с чертом шутки плохи. Быть может, попробуешь ты?

Я растерялся:

— Что я?

— Сымешь его?

Со скверным предчувствием на душе я двинулся было к долбленке, но Маня остановил:

— Вертячая. Оба к рыбам уйдете. — И тут в его сероватых глазах заиграла злая решимость. Он резво метнулся к реке, показав рукой, чтобы я помог ему спарить два сорта. Потом схватил из долбленки весло и беседку. И топор с гвоздями схватил.

Плот был сбит буквально за две минуты. Маня встал на него, отлихнулся. Вынув нож-складенец, властным взмахом руки показал под березу.

— Дуй туда! Коли я оплошаю, тюкнешь Павлуху багором! Не бойсь! Может, и не заколешь!

Было мне непонятно и дико. Как же так? Чтоб спасти человека, я должен, выходит, его подколоть. Неужели иначе нельзя? Я взглянул на Маню с мольбой. Но пикетчику было не до меня. Его заплеснутый волнами плот приближался к Павлухе. Парня вырвало из реки, потащило наверх. И в этот миг над его руками проблеснул складенец. Павлуха с обрезками веток в горстях повалился, осел и, конечно бы, плюхнулся в воду, но Маня успел подхватить его на лету и, поставив рядом с собой, прижать к себе, будто хворого брата.

Я отбросил ненужный багор, посмотрев на него с суеверной какой-то боязнью. И тут же о нем позабыл, почувствовав рядом реку, что несла на себе запахи кис-

лой коры, еловые бревна, щепь, пузыри и караульщиков Каменухи, которые все удалялись и удалялись, правясь к тихому мелководью, чтоб выгнать оттуда скопившийся лес. Сплавщики о чем-то меж собой говорили. Я прислушался к ветру, и он донес до меня потерянный возглас Павлухи:

— Третью кепку вот утопил!

Потом я услышал хохоток и самодовольный голос Мани:

— Утопи еще две и будешь таким же, как я, паленая кура!

1981 г.

# ПОВЕСТИ



К Рухловым зашла почтальонка Наташа, порылась в сумке озябшими пальцами, вынула бланк:

— Вот, тетка Анна. Вчера хотела отдать, да как-то вылетело из головы.

Телеграмма была от дочери. «Завтра субботу Климения день рождения ждем».

Анна, глядя пальцами бланк, на котором, как ни старалась, ничего больше прочесть не могла, заходила по кухне, заулыбалась. Но вспомнила вдруг с запоздалой досадой, что надо ехать сейчас за сеном, значит, у доченьки не бывать.

— Вчера-то чего не могла принести?

Наташа поправила верх платка, убрав под него желтую пряжку.

— Позабыла, тетка Анна. Что хочешь делай.

Сказала Наташа скорей виновато, но Анна, охваченная обидой, услышала в девичьем голосе скрытый вызов. Сбив половик, пронеслась в горницу-боковушку, прошумела там — и назад. Следом вышел заспанный Дмитрий. Сел на лавку, зевнул и услышал, как баба его обрушилась на почтальонку.

— Ну, Натаха! Ну, девка! Из-за тебя теперь в городе не бывать! Кто отпустит? Бригадир еще с вечера приказал сено с Пустоши доставить. Попробуй теперь с ним сговоришься! Не каменной человек, а поди...

— Да ладно тебе, тетка Анна! — снисходительно улыбнулась Наташа. — Не съездила в этот раз — в другой угадаешь! Я ведь думала...

— Надо думать-то не вчерашним днем! Куда теперь с твоей грамоткой? На вот ее, забери! — и Анна бросила телеграмму.

Наташа слегка побледнела, хотела было уйти, как вдруг надумала зло и больно обидеть Анну. Однако — какими словами? Не было слов у нее таких. Наташа поправила сумку, отстегнула зачем-то пряжку и рассеянно, словно ища поддержки, посмотрела на алый от грамот простенок, на заборку в фуфайках и зевавшего возле горшка с геранью большелобого мужа Анны.

Дмитрий, заметив ее поглядку, промолвил с ленцой:

— Брось, старуха, ругаться. Ни к чему...

Сказал бы он это с сердцем, и Анна, ни секунды не



медля, перекинула бы гнев на него, но слова его прозвучали вяло и равнодушно.

— Как это ни к чему? — в голосе Анны слышалось примирение. — Неуж тебе дочь неохота наведать?

— И наведеаем. Чего тут такого? Вот пойду сейчас к Олексану — и дело в шляпе. Уж кого-нибудь не отпустит, но не меня.

Анна стелющимся шажком подошла к почтальонке. На лицо ее легла тень совестливого покаяния: накричала на девушку, а зачем?

— Ума-то у меня тоже — ой! Не густо насыпано! Ты уж, Натаха, не обессудь...

— Нет, тетка Анна... Нет, я ничего...

— Ну а раз ничего, — повеселела немного Анна, — так на вот тебе! — И она подошла к шкафу, достала оттуда яблоко. — Кушай, андели! — И, подав его девушке, улыбнулась, как улыбается ласковая хозяйка, когда провожает приятных гостей. — Дай бог тебе жениха пригожего. Голова чтоб с поклоном, каблук с подворотом.

— Ой! — засмеялась Наташа. — На что мне-ка его? Ой, тетка Анна! Глупости-то какие!

Едва Наташа захлопнула за собой тяжелую дверь, Дмитрий глянул на Анну.

— Даром что ростиком долговата, а ить золото девка. Сколько ей уже? Двадцать четыре, поди, годка. Эдак примерно. А женишка подходявого все нет и нет. Да и где их найдешь? Пустовата деревня этим товаром.

Дмитрий сидел, уронив меж колен узловатые руки. Он, как и всякий благожелательный человек, любящий подумать над тем, чего не было, но что когда-нибудь будет, размышлял теперь о себе и о тех, кто жил с ним рядом. Ему всегда становилось стыдно своей в общем-то справной жизни, если он замечал, что другие живут чем-то хуже.

Анна сбегала за дровами, принесла беремя, бросила к печке. Дмитрий, вдыхая запах холодных поленьев, облек свою мысль в слова:

— А ить хочет замуж-то. Больно хочет. Да и котора девка не хочет? Да, пряточки, неважнецка для вас перспектива. А ить славницы-то какие! Кровь с молоком. Бери любую да сади на парадное крыльцо в город. Там парней-то, что листьев в лесе. Живо бы разобрали.

— Вот и свез бы ты их туда, — заметила Анна.

— А не худо бы. Не худо бы эдаких кудреватых.

— Дак чего? Соберись! — ласково подсказала Анна и, взглянув на лоб мужа, уходивший к затылку, где торчал одинокий кустик волос, улыбнулась. — Може, и у тебя вырастут после этого.

— Чего вырастут?

— Да волноватые-то кудерки!

Дмитрий встал, потягиваясь, подошел к дощатой заборке, на которой висели фуфайки. Сняв, которая хуже, услышал:

— Ты чего ето? Не ворон ить пугать.

— А как знать, — улыбнулся Дмитрий.

С крыльца открывалась деревня. Вправо — покрытые снегом поля, перелески и пустыри. Влево — два ряда низких изб. Вдоль заснеженных крыш суетливо скакали дымы. Дул промозглый и острый ветер. Дмитрий шел, приставляя к лицу суконную рукавицу. Гулко скрипнула дверь. Потом и вторая, и третья. Послышался длинный и звонкий хруст, чей-то настойчивый голос.

— Ива-а-ан! Обед-от с собой будем брать?

— Ну его к лешим! Всяко к двум-то часам вернемся.

— А ежели не?

— Не да ме! Чего ты ко мне прилепилсе? Не вернемся, дак так нам и надо. Усёк?

— Усек! — успокоился голос.

Лаяла где-то собачка. Откуда-то из-под крыши градом посыпалась стайка птиц. «Воробышки!» — улыбнулся Рухлов. На востоке медленно тлело — казалось, кто-то большой и озябший раздувал потухавший костер. Кричала сорока. В одном из подворий хрипло спорили мужики. Заваленное снегами утро входило в деревню неуверенно и стыдливо.

Из-за сельповского склада вынырнул бригадир. Был Романовский высок и тонок, в рыжем с кудрявым воротником полушубке, пушистой огромной шапке и меховых рукавицах. «Ну и ладно, — сказал себе Дмитрий, — не надо хоть в избу к нему заходить».

Бригадир Александр Романовский слушал Дмитрия с нетерпением, так как было ему досадно, что его сейчас отвлекают.

— Много вас тут желающих кататься по городам. А кто работу будет вести? Я, что ли, один?

В подмороженном голосе бригадира Дмитрий учуял пренебрежение. Так разговаривают, когда желают от

тебя поскорее отвязаться. Под подошвами валенок уркнул снег. Дмитрий преданно улыбнулся.

— На тебя одного надежа.

— Отчего к председателю не пошел? — спросил Александр.

«Из-за эдакой пустяковины?» — хотел было ответить Рухлов, но сказал другое:

— А ты чем хуже его?

Александр улыбнулся, и лицо его стало другим, незнакомым, будто вышел из-за его спины белозубый веселый мужик и, заняв бригадирово место, с удовольствием согласился: конечно, не хуже.

— Значит, хочешь в город податься? К зятю, стало быть, на рожденный день?..

— К зятю, Олексан Дормидонич. К нему да и к доче, примерно. Зовут, дак ить как?

Бригадир снял рукавицы, засунул руки в карманы, пропихнул их, подымая полы рыжего полушубка.

— Отпустить тебя, что ли? Хотя в общем-то и нельзя. Сам понимаешь, с Леденгской Пустоши только теперь по займку ссно-то и возьмешь. Направить бы трактор туда, да болото не пустит. Так-то, Дмитрий. Конями, только конями его и возить.

— Дело бывалое, — согласился покладисто Дмитрий, — завтра, буде, и съездим. Анну с собой прихвачу. Баба матерая. Разов пять обернемся, все большое и увезем. Подводить тебя нет расчета.

Бригадир потер ладонь о ладонь. Потер не просто так — с утайливым смыслом.

— Ишь, ты, — сказал, — меня не хочешь, говоришь, подводить. А кого тогда хочешь? — Александр помолчал, словно оценивая обстановку, от которой зависит быть ему откровенным или не быть. Решив, видимо, быть, добавил: — Председателя, может, а-а?

Дмитрий быстро взглянул на багровое от мороза лицо бригадира, по которому шла и вдруг замерла баловливо-сдержанная улыбка. «Что он, с ребячьим умом, глупости-то такие спрашивает!» — удивился Рухлов, а вслух сказал:

— И Степана бы Никанорыча не подвел. Он печется о нас, как о маленьких пареньках. Надо сердце иметь с горошину, чтоб его подводить.

Бригадир достал из-под мышки свои рукавицы, надел их и, поглядев на Дмитрия с несприязнью, сказал:

— Отпущу я тебя, Митя, в город. Слову своему я хозяин. Только сперва достань с Пустоши сено...

Баловал зимарь, бросая в окна снежные клочья. С востока, где смирно качался на елках малиновый горизонт, надувало запахом сена. Где-то хлопнули друг о друга хромовые перчатки. Затем проскрипели шаги. Из-за ближней поленницы дров, пуская ртом белые парашюты, вышла с сумкой через плечо, в валенках и платке, завязанном на подбородке, длинноногая почтальонка. Застучало сердце у Александра.

— Здравствуйте, Наташа! — сказал голосом, каким никогда, казалось, не говорил.

Покраснела Наташа, вздохнула: «Здрасте!» — и пошла, ослепив бригадира стыдящимся взглядом. Этим взглядом сказано было, что любит она Александра, и поэтому лучше бы он на ее пути никогда не встречался, потому что ей надо его забыть, а как это сделать, она не знает.

Александр брел устало и тихо, как человек, которого мучает память. Он помнил ее пугливые губы, от которых пахло лесной полянкой. И волосы ее помнил, непокорные, желтые, спадавшие все время на глаза. В волосах этих он прятал свое лицо, и было в такие минуты так хорошо ему, что он забывал обо всем.

Александр вздохнул, набирая в грудь запах носимого ветром дыма. «На городскую позарился. Ну да я! Думал, девка красивая да из города, дак взглянуть на меня, на деревню, будет ей низко. Оказалось — не так. Ушлая девушка. Даром что на шесть годов меня старше, а на третьей неделе знакомства подсказала дорожку в загс. А что получилось? Имал ласточку, поймал ворону...»

В окнах изб от топившихся печек колебались алые вспышки. Романовский свернул к высокой избе, в которой жил Ваня Солопов, работник первой руки, но насмешник и забияка.

На крыльцо опустился танцующий снежный столб. В столб ударилась дверь. В подпоясанной флотским ремнем фуфайке вышел Ваня Солопов.

— Ты, Иван? — спросил Романовский.

— Я как будто.

— Трактор завел?

— Да почти что. Вот только дойти до него осталось.

Бригадир доволен ответом, но все же с пригрозкой предупредил:

— Ну-ну, смотри у меня...

Было восемь утра. Александр продолжал подворный обход — от избы к избе, по всем четырем посадкам. Нравилось Александру прямо на месте решать, кого послать на какую работу.

Семену Захарову, рябому смирному мужику, за всю жизнь не сказавшему никому поперечного слова, велел:

— Посзжай с Иваном по бревна! Он уже трактор завел.

Соседа Семена, пожилого ленивого Броню с куриным пером в длинных заспанных волосах, сурово спросил:

— Завтракал?

Броня только что встал.

— Не успел...

— Тогда ладно. Можешь не торопиться.

Броня развел руками.

— Экий прах... Что за честь мне такая? Неуж по бревна я не ездок?

— Угадал. Ты сегодня ездок по навоз. Любишь с навозом-то ездить?

Броня растерянно заморгал.

— Олексан Дормидонтыч. Экий прах... Да лучше уж я по бревна.

— Завтракал? — снова спросил Александр.

— Не...

— Вот и весь разговор. Натощак с бревнами я еще никому не велел работать.

Умел Александр управлять бригадой. Уговаривать выйти на ту или иную работу никого уж не надо. А ведь, бывало, каждый в деревне мужик и даже каждая баба обходили его вниманием, словно не он стоял перед ними, не он и задание назначал, а кто-то невидимый, воздушный, кого можно пройти насквозь. А уж так он хотел, так хотел, чтобы люди были ему послушны. Просил, уговаривал, улещал:

— Надо бы двор ремонтировать...

— Не могли бы съездить по семена...

— Вот сделали бы траншею под силос...

Соглашались колхозники и с тем, и с другим, и с третьим. Отправлялись и двор ремонтировать, и возить семена, и ладить силосную траншею. Но всегда соглаша-

лись с условием. Одному, чтобы было не тяжело, второму — выгодно и нетрудно... Заветной мечтой Александра была мысль об отъезде из дома. Хоть куда, лишь бы не видеть своих подчиненных. Но уехать было нельзя: держали старая мать, жена. Да потом — кто его из колхоза отпустит? Смирившись, что придется пожить в деревне, Александр стал немного спокойней. Позднее явилась цель: надо что-то сделать с собой. Чтобы шел с поклоном к народу кто другой, но не он. Утешала еще надежда: если он наведет в бригаде порядок — с дисциплиной, надоями, урожаем, — значит, будет замечен в верхах. Дал понять об этом ему сам Иван Николаевич.

Разговор состоялся четыре года назад, когда, закончив партийную школу, Александр зашел в управление сельского хозяйства. Зашел уверенный в том, что ему предложат занять должность ответственную и солидную. Но Иван Николаевич Полозов внятно сказал:

— Поедешь в Данилов Починок. До учебы ты был рядовым колхозником, а теперь — бригадиром.

Александру стало холодно у покрытого алым сукном стола, за которым сидел с поощряюще бодрой улыбкой тот, в кого он так преданно верил.

— Бригадиром? — переспросил.

— Да, бригадиром.

Александр хотел возмутиться и воздуху было набрал, но Полозов мягким кивком головы пресек:

— Так, Александр Дормидонтович, надо. Надо сперва к тебе приглядеться. Как дела пойдут под твоим началом? Хорошо пойдут, значит, быть тебе кем и повыше.

Обещание и дружескую поддержку уловил Александр в этих словах. Но ему показалось этого мало. Захотелось речительства в том, что его бригадирство будет недолгим. Попытался об этом сказать:

— Я, Иван Николаевич...

Но Иван Николаевич снова не дал продолжить.

— Знаю, — сказал вразумительно и любезно, — вот покажешь себя деловым бригадиром, тут мы тебя и поставим на то самое дело, которому ты соответствуешь...

От города до деревни Данилов Починок семнадцать верст. Александр в тот же вечер приехал домой. Не один приехал — с женой. Полагал, что и мать, и знакомые, и вообще вся деревня будут рады его молодке, потому что она из города, закончила институт, красива лицом и станет заведовать местной школой. Но, к его удивлению,

встретили их обоих с подозрительно-зоркой поглядкой, точно были они опасны и могли обидеть других.

Понял тогда Александр: неприязнь у сельчан идет от измены его Наташе. Все в деревне полагали, что лучше жены, чем Наташа, Александру и не сыскать. И вот вместо Наташи — Нина, городская его жена, с которой уже через месяц он стал раздражительным и однажды, вздыхая, сказал:

— Да-а, случилась, кажется, незаладка...

Незаладка случилась и на работе. Председатель колхоза Степан Никанорович Бабкин, человек снисходительный, мягкий, смотревший вначале сквозь пальцы на неумелое руководство бригадой, в конце концов не стерпел. Разговор проходил в его кабинете. Покручивая головой, будто намереваясь вылезть из рубахи, Бабкин строго спросил:

— Ты, Александр Дормидонтович, это что? Ты, это, всю бригаду поразнуздал! Пьянки всякие. Вольности! Ты болеешь растерянностью. Никто, это, не слушает тебя.

Александр, лелея тайную мысль, сказал:

— А вы меня рассчитайте...

Степан Никанорович усмехнулся:

— Вот какая у вас падея! Вот чего добиваетесь? Знайте, уволить я, это, вас не уволю, а с бригадиров сыму. Да еще в управление брякну. Вынужден, это...

Было в те дни в голосе Александра, в жестах, походке и особенно взгляде что-то отчаянно-отрешенное, побуждавшее смотреть на него с любопытством и удивлением. В те дни он впервые поднял голос до крика. В те дни он готов был на самый решительный спор. В те дни он почувствовал в людях уступчивость и покорность. И не было больше уже сомнений, что он подымет бригаду в гору. На высокую гору, которую видно было бы всем.

Александр ступал по мыскам наметенного снега. За крайней избой, перед тем как пойти по тропе, взглянул на дорогу. Дорога, играя поземкой, бежала в поля, за которыми смутно синел дальний ельник. За ельником — снова поля, затем перелесок, карьер, большое село, а там и рукой подать до районного центра. «Дорога, дорога, — подумал невесело бригадир, — приведешь ли меня туда...»

Ветер стих, и теперь было слышно, как потрескивал в сгибах локтей прохудившийся полушубок. Александр размышлял: «Давно ли был парнем? Давно ли мечтал о будущих днях? И вот эти дни. Настиг и живу в них. И даже нажился. Пробираюсь в новые дни. А когда и эти дни догоню, то стану спешить еще дальше. И так без конца буду и буду себе торопиться. А надо ли? Надо ли торопиться? Не такой уж долгий отпущен нам век».

Александр шел и шурко смотрел вперед. Опускавшиеся с небес прозрачные свай света, сеновал на пологом холме, елка с шишками, потонувшие в переметах прясла — все здесь жило своей постоянной жизнью. И эта тихая постоянность его волновала.

Бригадир подходил к деревенскому кладбищу, где вдоль ярко-зеленой ограды стояли березы. Были они так стары, так печальны, что хотелось их пожалеть. Александр проник вопросительным взглядом между крестами. Сколько тут похоронено всяких людей! А кто о них чего знает? Кто расскажет о том, какая рука вела их по дорогам к кладбищенскому покою? Романовский поднял лицо, увидел обвисшие ветви, и ему стало как-то не по себе. Представил на миг, что это не ветви, а чьи-то усталые думы — полузабытые, тихие, призасыпанные снежком. Висят и висят — как бессмертные...

Александр оглянулся и заспешил.

В проеме ворот недавно построенной фермы мелькнула собачка. Тявкнула в сторону бригадира, но, узнав его, виновато и преданно заскулила. Романовский прошел по холодной застройке. В аппаратной сквозь слабо прикрытую дверь слышался бабий разговор. Бригадир невольно остановился.

— Под таким заслоном, как наш Олексан, жить дивья. Он и на том-то свете знает, что днется.

— Сбежит он от нас. Али не видать? Расшарашился весь. Одной ногой в деревне, другой — в городе.

— А что, девки, таких не скоро и упасешь.

— Своя голова на плечах.

— Уедет, дак заработки как — падут?

— Али денежек нет?

— Есть-то есть, дак куда вот их класть. В карман? Да опять же с дырой...

Александр улыбнулся, смекнув, что ему так и не дослушать разговора. Ватный подбой дверей прополз по тесовому полу, Александр вошел. Доярки мыли доиль-



ные аппараты, переставляли фляги в угол, а кто и ба дела сидел. Среди них находилась почему-то Мария, которой надо бы быть у себя на дворе и поить там теля; обратом. «Эта везде успеет», — отметил он и сказал пре увеличенно бодро:

— Ну и как настроение?

— Самое подходявое! — откликнулись бабы да та охотно и дружно, словно готовились к такому ответу.

— А Мария чего? Опять отвлекает последними но востями?

За Марию вступилось несколько баб.

— Не отвлекает, коров-то мы обрядили. Домой со брались.

— А новости как не послушать? На то мы и женщины, чтоб ушки на них наставлять.

— Ну, сжали женщины, — согласился нехотя Александр, — тогда валяй, веселитесь.

— Я тоже мекаю эдак! — заулыбалась Мария. — Веселый человек — душе спасенье, дому благословенье, а людям, стало быть, утешенье...

— Та-ак! — оборвал ее бригадир. — Все поняли. Можно не продолжать. — И посмотрел на доярок с заботой. — Как с сеном? Надолго хватит?

— Дня на два, поди.

— И не дольше?

— Не дольше.

— А потом останемся без кормов?

Рассмеялись доярки.

— С тобой не останемся!

— Отчего ж так? А вдруг?

— Не-е! Тебе, Олексан, только скомандовать...

Александр засунул руки в карманы.

— Ладно, — сказал, — будет моя команда. А после команды будет и сено. И не когда-нибудь, а сегодня! — Его длинноносое молодое лицо стало мечтательно-твердым, словно он представил себя в тех желанных будущих днях, которых всегда ждал и к которым так торопился.

Возвратился Дмитрий домой с растерянно-виноватым видом, будто его только что обобрали.

— Не пускает? — встретила Анна.

— За сеном ехать велит.

Анна коротко махнула рукой, показывая этим, что другого от Александра нечего было и ждать.

— Не с того боку, поди, подступил?

— Кто знает...

— Да как это кто? Ты!

— С какой это стати?

— С такой, что нечего было бахвалиться! Пошел-то, что говорил? «Уж кого-нибудь не отпустит, но не меня!» — при этих словах Анна так посмотрела на мужа, что Дмитрий устало вздохнул. — Не едак просят-то у добрых людей! — привередливо продолжала она. — Не спряма. Ноне спряма-то что? С крыши на борону, так и голову сломишь. Руководство себе на уме. Хочешь чего добиться — ходи хитр-хитряком.

— Тебя бы на Олександана-то напустить. С тобой хоть кому говорить, дак с душой собирайся.

— А ты как думал, — сказала Анна, маленько гордясь, — не пустоволоска перед тобой!

Дмитрий был согласен и с этим. Он забрался за стол и, широко растопырив под блюдечком пальцы, начал пить чай. Анна тоже пила, приговаривая:

— Налегай, Митрей! Попьешь да поеси, нос-от на работе и не трясется!

Дмитрий слушал жену. В голове плыли думы о замужней дочке Галине, жившей, кажется, без забот, о грамотном зяте, который, верно, обидится, если в гости к нему не прибыть; наконец о вывозке сена. Дмитрий был человеком совести и порядка. Если кто-то надеялся на него, обращаясь с просьбой, то он подводить не умел. Сегодня трое его просили: дочка с зятем — с одной стороны, бригадир Романовский — с другой. Дмитрий сидел, испытывая неловкость, словно кто-то унылый и властный стоял за его спиной, заставляя его быть безропотным и покорным. Тридцать лет проработал Дмитрий в колхозе. Он устал от бесчисленных указаний, рьяной будничной суеты, от железного слова «надо», отдававшего всякий раз принуждением и тревогой. «А ежели я Олександану не покорюсь? — думал рассеянно Дмитрий. — Возьму да махну сейчас в город. Радуйся, дочь!»

Дмитрий встал, посмотрел на Анну из-под бровей, нависших черными ночными кустами.

— Поедем, что ли, — сказал, сам не зная еще куда: то ли в город, то ли на Пустошь.

— Поедем, — вздохнула Анна, и грустный вздох жепы решил выбор Дмитрия в бригадирову пользу.

Двойственность, когда надо бы делать и то, и другое, а разорваться надвое нельзя, всегда угнетала Дмитрия. В такие минуты он был горазд и ворчать, и устало морщить лоб, и думать, что кто-то его намеренно обижает. И вот двойственности не стало. Дмитрий, румяный от теплой картошки и трех чашек чая, достал с печного карниза пачку «Примы» и закурил. И вновь в голове его всплыли мысли. «Мужик я зависимый, — думал он, — зависимый от кого? От бригадира, примерно. От тех, кто сидит в конторе. Таков уж порядок жизни, а от порядка никуда не денешься. И прав Олексан, что понуждает меня заданьем. Э-э, да что это я? Заданье! При чем тут оно? Дело-то ить в другом. Я до жизни, пожалуй, лишку жаден, вот отчего разнбой. Обо всем охота узнать, все увидеть. А отчего такое бывает? Оттого, примерно, что мне повезло. Не скотиной, не зверем, не мухой — человеком произошел! И женился, кажись, удачно. Эх, бабенка-то у меня! — Дмитрий взглянул на Анну, которая, навалившись грудью на печь, искала там целые рукавицы. — Атаман! Тридцать лет вместе. Скося не взглядывали. Кому еще так удавалось? Да вот. Больно добро. Жизнь идет как по маслу. А вроде бы будет и перемена: чует сердце. Только какая? Заглянуть бы умом вперед...»

Но заглянуть ему не пришлось. Анна, найдя на печке ватные рукавицы, стала его торопить:

— Чего расселся-то? Е-е, спишь, что ли? Пошли, буде. Пошли, пока Сано не разъярился!

Закрыв дверь на батог, Рухловы спустились с крыльца, оба в серых с галошами валенках, ватных штанах и фуфайках. Дмитрий шел по рыжевшей от солнца дороге, опережая Анну на шаг. Чувствовал он себя таким сильным и молодым, что хотелось немедля кому-нибудь пособить.

— Хорошо! — сказал, улыбаясь.

— Чего уж хорошего? — откликнулась Анна. — К дочери ну-ко не съездим. По-велёному да по-спрошёному что за житье?

— Пускай по-веленому. Зато бояться некого! И вины держать не надо ни перед кем! Это ить не каждому так удастся. А, старуха? Кому мы чего должны?..

От деревни до Пустоши два километра по торной дороге, да два — целиной. Звенел под полозьями снег. Лошади шли бодрой рысью. Солнце висело низко. Его рассеянные лучи, сплыв с еловых вершин, мягко стелились к дороге. Блестели темным пером вороны. Они скакали меж конских груд, поджав озябшие ноги. Топот копыт их вспугнул — молча, с сиротской угрюмостью поднялись к еловым ветвям.

Дмитрий сидел в передке саней, то и дело потряхивая плечами. Было очень морозно. Чтобы согреться, он спрыгивал, отставал и, пукнув на лошадь, бежал междуконной полоской.

Анна, ехавшая за ним, закуталась в полушалок. Она слышала, как к ресницам ее подбирается чуткий дорожный сон, колыбельной легонькой песней уносивший ее в далекое детство. Близко-близко, у самых глаз, почти пугаясь в длинных ресницах, проплывали ватага ребят, маховые качели, гармошка и вдруг белый, с крутой, как угор, шей конь.

Конь заржал. Приоткрыла Анна глаза. И так странно: конь далекий, из нежного детства, и теперешний, настоящий, оба были как бы в одном и бежали по мягкому снегу.

Тишина и ясность кругом. Закуржавленные деревья. А вон и просека по болоту. Дальше распадок берез. А за распадком и Пустошь.

Дмитрий с опытностью, с какой исполняют знакомое дело, подвел лошадь к крайнему стогу. Сверкнули острия вил. Три-четыре царапки — и снег, сердито кипя, пополз и рухнул к подножию стога. Запахло широким июльским лугом. Дмитрий скинул фуфайку, показал Анне жестом, чтоб была на приеме и не зевала. В похватке, какой забирал он сено, в том, как пел его, изгибая держак, как на сани клал, поровня навить ровным слоем, ощущались сноровка и страсть мужика, привыкшего всякое дело справлять торопливо и жадно, точно боясь, что работы ему не хватит. Шапка Дмитрия напозла на затылок. На висках — узлы голубеющих жил. Лицо красное. Ну чего бы так буйно стараться? И полегче бы мог. Так нет. Дмитрий будто приказ выполняет: побыстрее, похоловее, покруче!

Анне видится в своем мужике что-то властное и большое. Он сейчас как бы вправе и накричать на нее. И она ничем не ответит, не обидится даже. Такого его пре-

имущество как верховода, который в пору крутого задора волен всех себе подчинить, приказать делать то, что считает наперво важным.

Передышку Дмитрий устроил лишь после того, как весь стог был навит на те и другие сани. Он курил с наслаждением, слыша треск сигаретки и ревниво следя, как зрачок огонька приближается к пальцам.

Дмитрий взглянул на часы:

— Эво! Десять уже! Дай бог ноги! Но, христовые! — крикнул на лошадей.

Лошади трудно, как сквозь воду, заподымали ноги в снегу. Встрепенулись вozy.

На вершине угора лошади встали. С дрожащих шелковых губ упала на снег горячая пена. Анна и Дмитрий вскарабкались на вozy. В макушках деревьев с ветки на ветку широко пронесся настуженный гул. Дорога стелилась половиком. Она задыхалась от нависших над ней хвойных лап. Послышался шум. Всё громче и громче. Трактор. А в нем, разумеется, Ваня Солопов.

Солопов — мужик неожиданный, хитрый, его никто никогда не поймет, где он серьезен, а где баловлив. При встрече с ним надо быть готовым ко всякому обороту.

Дмитрий сейчас ни к чему не был готов. Он сидел, крутоплечий, широкий, спустив с вozy ноги в загнутых валенках, на которых сверкали галоши, и беспечно смотрел вперед. В середине кабины он видел скуластую, крупную голову в косо надетой шапке. Трактор ближе и ближе. Скрипнула дверца, и Солопов, высунувшись по пояс, голосом быстрым, каким ругают нерасторопных, закричал:

— Пропадите вы пропадом! Али мне дорогу вам уступать?

Дмитрий вынужден был покориться. Навел лошадь на комья и кустики вдоль дороги. Заехав на них, наблюдал за Анной: как-то справится? Ничего. Заехала вроде неплохо, только лошадь застряла в кустах.

Солопов вел трактор тихо и осторожно, боясь до поры напугать лошадей. Рухловы повеселели: «Ай да Ваня! Ай да молодчик! Так бы всегда!» — говорили их взгляды. Глаз у молодчика заиграл, засветился проказливым блеском. Трактор вдруг угрожающе заревел, лошадь у Дмитрия — на дыбы. Он намертво в вожжи вцепился.

— Стой! Стой!

Анна тоже вцепилась в вожжи. Они забились в ее рукавицах, словно длинные змеи. Ускользнули куда-то вперед. Анна вдруг ощутила спиной и плечами, как ее кидает назад.

— Со-то-на-а! — закричала, падая с воза. — Будь ты проклят! Лешой тебя понеси! — продолжала ругаться, но уже из сумета, схоронившего ее с головой. А для грузчиков на санях — забава: захохотали так, как, наверно, ни разу в жизни не смеялись.

Дмитрий бросился к Анне, с обидой ворча: «Умей шутить, умей и перестать. Ить не каждая забаушка смешком, иная слезой...», но увидел, что жена жива-здоровая и даже топает ногой.

— Чего топает?

— А надо! Ишь, бессовестны рожи! Что я, куколка им с возу-то падать?

— Эдак, примерно, — промолвил Дмитрий и оглядел накренившийся над дорогой воз. Если сбоку его не поддерживать, обязательно упадет. С тоской в глазах Дмитрий окинул взглядом дорогу, словно ища на ней мужика, который мог бы подсобить, встав рядом с ним под нависшее сено. «У одного силешки не хватит!» — подумал он с сожалением.

Нагнувшись, Рухлов увидел, что сани наехали на пень. «Вот отчего». Он встал, упираясь руками в всережки, и на лице его, вдруг напрягшемся, в серых кривых морщинах обозначилось злое упрямство. И когда жена подошла и тоже уперлась руками в сено, он хмуро сказал:

— Поди отселя, поди. Возьми лучше вожжи.

Едва лошадь пошла — воз колыхнулся, и громадная тяжесть подмяла Дмитрия под себя. У него треснуло что-то в спине. Закачавшись, он как-то боком, по ходу саней сделал два страшных шага, но колени размякли, и Дмитрий плашмя ударился о дорогу. Проклиная свою неловкость, проморгался, поднял лицо и, увидев удачно сошедший воз, улыбнулся. Улыбка погасла, едва он попробовал встать. Вдоль спины прокатилась горячая боль. Из-за воза мелькнула Анна.

— Андели! Не зашибся?

— Пустое, — сказал неуверенно Дмитрий, — с пупа, кажись, сорвал.

— А я уж думала, спину тебе сломало.

Оглянувшись по сторонам — не видит ли кто — Дмитрий скинул фуфайку, постелил ее на дорогу и, припав к ней животом, попросил:

— Давай, сошшипни. Болеть когда нам теперь?

Загнув на белой спине мужика пиджак, рубаху и майку, Анна стала щипать. Занятие было привычно простое. Сколько раз доводилось между делами заниматься таким лечением! Пальцы бегали вдоль спины. До тех пор они гладили и щипали, пока кожа не покраснела и Дмитрий, теряя терпение, не подал кашлем сигнал, намекавший, что лечиться ему уже не под силу. Анна шлепнула по спине:

— Хватит. Не барин валяться-то! Здоров будешь!

Дмитрий снова сидел на возу. Сидел неподвижно, боясь шевельнуть тосковавшей спиной. Впереди, мерцающая гладкими колесами, бежала кривая дорога. С поля дул ветер. Стонала сухая сосна.

В скотный прогон около фермы, весь избитый следами копыт, лошади въехали с бодрым храпом. С закуржавелых морд мелким стеклом посыпался лед. Ворота коровника закрипели. В распушенной шапке и полушубке вышел из них бригадир. Лицо недовольное. Видно, давал сейчас указание, да кто-то не согласился. Придирчивый взгляд Александра вмещал в себя привезенное сено, Анну с Дмитрием, лошадей, а за ними пустырь и околицу зимней деревни, ища какого-нибудь беспорядка. К возам бригадир подошел, уже зная, к чему придраться.

— Долго ездите! — упрекнул

— Так уж вышло, — ответил Дмитрий, развязывая веревки.

Александр пнул ногой по обвисшему сену. Пнул не просто так — с особенным смыслом.

— Да и нагрузили не лишка!

Дмитрий нехотя — не любил когда под руку говорили — перекинул веревки, начал было сваливать воз, но отдумал и закурил.

«В город, видишь, не отпустил, — смекнул Александр, — вот теперь на работе и вымещает свое недовольство...»

— Покурить-то мог бы и позже, — сказал бригадир, — не великое дело сделал. Прокатился четыре версты. Что? Не слышишь?

Дмитрию стало неловко за бригадира. Он сердито выплюнул окуроч. Глаза назрели усталой печалью.

— Можно и кончить. Нам что... — сказал, схватив трехзубые вилы, размахнулся и с кривым поворотом вса-  
дил в качнувшийся воз. Сено поплыло вниз взлохмачен-  
ной гривой. Спину, скованную надсадой, Дмитрий ста-  
рался не шевелить, переложив всю тяжесть работы на  
руки.

Александр глядел на Дмитрия с потаенной завистью,  
как глядят малоопытные работники на талантливых ма-  
стеров, желая высмотреть тайну успеха. «Ну и ломит!  
Да, кажется, в полсилы. Отчего же не в полную? Мо-  
жет, устал? Нет, не похоже. А может, чует мою подгляд-  
ку? Иш, хитрец! Пожалуй, ведь чует», — подумал с ус-  
мешкою Александр, не зная, что Дмитрий в эту минуту  
скрывает тупую тягучую боль

Бригадир взглянул и на Анну. Та сгружала неловко,  
раскрасневшись и пыхтя. Романовский невольно плюнул.  
В душе поднялось раздражение. «Работнички!» — бурк-  
нул он. Подошел, протянул руку к вилам, которые Анна  
с радостью отдала. Бригадир повторял движения Дмит-  
рия, стараясь работать кистями рук. Но хватило его не-  
надолго. В голове родилась обидная мысль: «Я ломлю,  
а баба стоит. Да что это? Обязан я, что ли...» Александр  
распрямылся и увидел бабын глаза. В их легкой радост-  
ной синеве разглядел стыд, растерянность и хвалу. «То-  
то ли!» — сказал мысленно бабе и с улыбкой начальни-  
ка, показавшего, как надо работать, протянул Анне  
вилы.

Дмитрий стоял столб-столбом. В пальцах опять папи-  
роска. Бригадир недобро усмехнулся: «Пастырный!» Но,  
увидев порожние сани, он удивился и даже вдруг захо-  
тел сказать что-то приятное, однако спросил о другом:

— Зять-то у тебя где работает?

— В райкоме.

— В райкоме партии? — удивленно переспросил  
Александр.

«Да не партии, а райкоме союзов, при управлении», —  
хотел было поправить Рухлов, но, решив, что это не  
важно, промолчал.

«Что же ты раньше-то не сказал?» — подумал брига-  
дир, а вслух сказал:

— Ничего не пойму. Вроде каждого знаю. А давно  
он там?



— Недавно.

— Инструктором, что ли?

— Не-е, каким-то начальником.

— Завотделом?

— Может, и зав. Мне не больно-то докладывают

— Та-ак, значит, та-ак... — Александр не заметил, как пальцы его застегнули пуговики полушубка. «А вы можете, нажаловаться! — подумал он. По озабоченному лицу прошла тень досады. — Нажалуются, а на мне срабатывает. Четыре года как проклятый быюсь в этой дыре. И еще столько же буду...» Увидев, что Анна сгружается с воза, Александр протестующе крикнул:

— Не, не, я уж сам!

Снимая пласты перевитого сена, он гадал: «Что делать-то, а? Вот незаладка...» Работа больше на ум не шла. Воткнул вилы в сено. Спросил:

— Сколько стукнуло? — но тут же поправился, считав, что спрашивать надо как-то иначе. — Лет сколько исполнилось?

Дмитрий понял, что спрашивают про зятя. Сказал:

— Тридцать.

— Немного. А Гальке? То есть вашей Галине Дмитриевне?

Дмитрий зевнул. Вопросы были какие-то бабьи. усмешливо глянул на Анну: дескать, ты говори.

— Галинке-то? — охотно откликнулась Анна. — она годков на шесть его моложе.

— И Полозов будет там?

Никакого Полозова Анна не знала, но по тону вопроса, прозвучавшему с искательной ноткой, сообразил, что бригадир станет к ним добрей, если она скажет, что какой-то Полозов будет. А может, и в самом деле он будет.

— А как же! — улыбнулась Анна. — Любит тоже вышвырнуть что-то!

— Вы что, знакомы?

— Было дело, — сказала уклончиво Анна и вдруг испугалась, но Романовский ничего не заметил.

— Вы вот что, ребята, — бригадир взял супругов за локти, — передайте ему, что дела в бригаде поправились...

— Чего? Не в город ли отпускаешь? — спросил с недоверием Дмитрий.

— Почему бы и нет?

Александр поспешил к воротам.

— Шурка! — крикнул. — Коней уведешь на конюшню! Да сено тут приберешь. Понял, Шурка?

— По-о-нял! — раздался гулкий далекий голос.

Бригадир ошалел от желания тут же устроить супругам отъезд. Он повел их было к конюшне, но вдруг передумал, оставил стоять и пошел на конюшню один.

— Е-е? — крикнула Анна.

Бригадир обернулся.

— Дак куда мы теперь?

— Домой! Переодевайтесь! То, сё... Лошадь подана будет к крыльцу! На машине бы лучше, конечно, да вчера чего-то она изломалась. На жеребчике! А-а? Мигом доставит!

Анна, ныряя лицом в чемоданы, искала пропавшую кофту. Дмитрий исследовал полати и печь, где должна бы быть красивая кроличья шапка. Наконец и то и другое нашлось.

По ступенькам крыльца прошагал кто-то грузный. Дверь открылась — и в кухню вошла Мария. Дмитрий и Анна переглянулись, словно спрашивая друг у друга, к добру это или нет.

— Здорово, Митрей! Здорово, Анна! Куда это вы собрались? Не на свадьбу ли?

Не дожидаясь, пока предложат, Мария уселась. Откинула платок, наострила уши. Супруги снова переглянулись.

— Не на свадьбу, — сказала Анна.

Мария рада предположить:

— Значит, на день рождения?

— Угадала.

— На чей? — допытывалась Мария. — Поди-ко, на дочерин?

— А тебе-то какая разница? — подняла было голос Анна, так как ей не хотелось, чтобы это событие стало известно всему сельсовету. Мария загадочно на нее посмотрела. Уж кого-кого, а бабу вызвать на откровенность ей не стоило ничего.

— А и забыла, — сказала она, — Галинку-то, кажись, об эту пору ты принесла...

— Ври больше! — засердилась Анна. — При чем тут Галинка? Не у нее, а у зятя рожденный-то день!

— Воно-ка что! У зятя? У Клим? Как его? Трофимыча, будто?

— Валентиныча.

— Ну как же! Как же! Помню! — заумилилась Мария. — Он все еще там, по профсоюзной линии?

— По линии! — ответила Анна, чувствуя, как в душе у нее народилась и стала расти тихая гордость.

— Пойду, — сказала Мария, не трогаясь с места, — пойду обрывать телят своих. Не приведи бог Санка еще по дороге встретить.

Посидев еще с четверть часа, Мария, наконец, поднялась.

— К вам-то я от Лобановых забежала. Слышали? Сиди ночью Петро опять Парасковью из дому выгнал. Ревет баба, как под ножом. Еле успокоила.

— Зря это он, — сказал покладисто Дмитрий, — перепил, поди-ко, опять. Так-то ить он мужик не худой. Не бил хоть?

— Мало, — сказала Мария и сделала шаг к дверям, неуверенный шаг, неохотный. — А у Филиповых сын Ерман приехал. Из Мурманска. Два чемодана привез. Пробовала один приподнять. Где там? Ровно камень накладен.

— В люди выбился, — заметила Анна.

Мария вежливо улыбнулась. Дошла с этой улыбкой до двери, возле нее обернулась:

— В лавке, в Давыдихе, слышали? Дак вот — мужичишские полушубки будут выкидывать. Вчера в сумерцах еще завезли. Не зевайте.

Глаза у Дмитрия вспыхнули. Заиметь полушубок! На жаркой овчине, с кудреватым воротником! Мечтал ли об этом когда-нибудь он, неприхотливый мужик, всю жизнь проходивший в ватной фуфайке? Дмитрий вспомнил вдруг Александра и его полушубок, заметно потерянный на обшлагах. Он, Рухлов Дмитрий Петрович, выходит, будет наряднее бригадира! Неужели такое возможно? Ему сделалось совестно.

— Уж и не знаю, — сказал и виновато взглянул на Анну.

— Молчи-ко давай, — ответила та, — кровь-то ить не молоденькая. Не все работой ее согреть.

На душе у Дмитрия посветлело. Он хотел сказать нечто доброе и Анне своей, и Марии, но в этот момент

за окном проскрипел под полозьями снег. Мария — первой к окну:

— Ой, караул! Гоните меня! Сам, ну-ко, Сано!

Бригадир не дошел до дверей: навстречу — один в новом ватнике, другая в плюшевом черном жакете — принаряженные супруги. Александр снисходительно улыбнулся и тоном добряка, которому ничего на свете не жалко, провозгласил:

— Гордого вам привел! Катайтесь!

В душе у Рухловых — радостная сумятица. Когда еще так относилось к ним руководство? Сани новые, легонькие на ход, на дне внавалку отборное сено.

— Но-о, мило-о-ой!

Тонконогий темный красавец, высоко подымая копыта, побежал благородной рысцей. Побежал, играя хвостом и гривой, точно всем, кто смотрел ему вслед, предлагал хорошенько себя запомнить. За санями сквозь поднятый снежный вихрь летел бригадиров наказ:

— Полозову передайте!..

Анна встревожилась, повернулась к мужу:

— А кто стот Полозов будет?

— Ты что, не знаешь? — ответил Дмитрий. — Начальник производственного управления будет. Главный в районе по сельскому хозяйству.

Над головой неслись быстрые облака. В прогалах холодно голубело небо.

— А как да он не придет, Полозов-то? Что тогда?

Дмитрий сузил глаза, скользнул ими за ближнее поле, за опушку осин, за речку, словно всматриваясь в пространство, за которым где-то таился непонятный завтрашний день. У Дмитрия было такое чувство, словно должен он что-то уладить. Так уладить, чтобы не было плохо ни Анне, ни Александру и вообще никому.

— Там видно будет, — сказал и свистнул кнутом возле конского крупы. От копыт взметнулась метель. Под дугой запозванивал медный гаркунчик. Дмитрий слушал и где-то в глубине перезвона нет-нет да и разбирал чей-то тихий зовущий голос. Голос того, кого он ни разу не видел, хотя чуял его и всегда по нему тосковал. «Разговаривает душа, — понял Дмитрий, — моя душа. С чьей душой? Вот бы это узнать. Вот бы важно...»

Дмитрий озяб держать вожжи. Хотел ненадолго отдать их Анне, как вдруг расслышал тракторный лязг.

Снова Солопов! «И чего ему тихо-мирно не живется?» сердито подумал Рухлов, натягивая вожжи. Конь перешел на шаг.

Трактор надвигался быстро. В кабине сквозь наледь стекла Анна с Дмитрием насчитали пять мужицких голов. Одна — в косо надетой шапке — грозно высунулась из дверцы. Готовясь уступить дорогу, Дмитрий встал на колени и направил коня в сумет. Анна вдруг приказала:

— Ежжай прямо!

В голосе Анны было что-то рискованное и решенное до конца. «Ну уж нет! — про себя возмутился Дмитрий. — Тебя послушай, дак опять комедия выйдет». И сказал:

— Ить нахлещут!

— Не нахлещут, — ответила Анна. — Ну-ко, припороши меня сеном. Я лягу. Скажи, что больная.

— Полно! Кто поверит?

— Я буду стонать...

Дмитрий припорошил, затем встал, принагнулся над передком и помахал Солопову рукавицей:

— Ну чего? — прогремел тракторист.

Дмитрий вежливым голосом:

— Пропустите, пожалуйста! Вот, примерно, в больницу повез!

Дмитрий вдруг осознал, что он врет, причем врет опасно. Но, увидев, что ему поверили, осмелел и добавил:

— Едва ли не при смерти!

— Ды ты что? Давно ли была здорова?

— Дак ить с возу упала! Кажись, сотрясение головы.

В подтверждение этих слов — из-под сена тонко и жалобно: «О-ой!»

Жирная от солярки пятерня тракториста потянулась к кожаной шапке, нахлобучила ее на глаза. Трактор с бурным рычанием продавил наддорожный сугроб и, пройдя по ольховым кустам, протащил груженные сани.

Путь свободен! Конь, потряхивая удилами, прошагал рядом с тракторным возом. Анна тут же зашевелилась, развалила руками сено и, чихнув от избытка здоровья, поднялась в полный рост:

— Христос воскрес! Вот-ка я!

Из кабины уже не одна — пять высунулось голов.

— Спасибо, товарищи! — кричала Анна. — И покедова! Желаю всего хорошего вам!

Дверцы яростно распахнулись. Мужики один за другим попрыгали в снег. Впереди — в короткой фуфайке, с расвирепевшим лицом большепечный Солопов, руки сделал ухватом.

— Гони! — крикнула Дмитрию Анна. — Да витешок дай сюда!

Бежал Солопов скачками, как сорвавшийся с цепи бык, который вот-вот заскочит на сани и задавит всех.

— В чужие саночки не садись! Пословица есть! — крикнула Анна и размашисто, с провизгом разрубила воздух кнутом.

Иван стал, поднимая руки, точно сдаваясь кому-то в плен. В его уши вместе с храпом коня и убегающим визгом полозьев проликал насмешливый крик:

— Ето об чем говорит? Об том: бегать за бабами ноопасись!

Показалась Давыдиха, центр сельсовета. Завернули к сельповскому магазину. Зашли. За прилавком продавщица лет пятидесяти, в халате поверх фуфайки, лузгала семечки. На вошедших взглянула тускло, будто сквозь прошлогодний сон.

— Ну-ко, дсушка! — подлетела к ней Анна. — Отпусти нам мужчинский-то полушубок!

— Нету! — сплюнула продавщица скорлупку.

Анна, несколько ошалев, грозно глянула в рот продавщице:

— Как ето нету?

Хозяйка прилавка, прихлопнув ладонью звучный зев, прошла по Анне опытным взглядом, каким оценивают людей. Оценила, видимо, низко.

— А так. Спихватились поздно... — И снова принялась за семечки, как бы давая понять, что беспокоить ее может не всякий.

Дмитрий сказал:

— Ну ладно. Что уж делать? Живем и без шубы.

— Да ты что, мужик, с печи свалился! — повысила голос Анна и, поправив на подбородке платок, подошла вплотную к прилавку:

— А ты хватит, буде! Ишь, расплевалась! Выкладывай, говорю, полушубок!

Продавщица оторопела, но тут же пришла в себя и холодно усмехнулась.

— Ну! Нам недосуг! — прикрикнула Анна.

Хозяйке прилавка стало обидно.

— Орать? На меня? Да я вас обоих на пятнадцать суток! Будете знать, как матюкаться в общественном месте!

— Садись! Но только сперва полушубок подай! — Анна розовым кулаком постучала по прилавку. — Тут он! Тут! Небось вижу! Так что вымай! Мерять будем!

Продавщица вздохнула, поморщилась и сказала не много помягче:

— Вы не из нашей деревни. Вам не положено. Да и нету.

— Ты сама придумала? — блеснула Анна глазами. — Али чье указанье? А ну как я схожу в сельсовет да проверю для интересу?

Продавщица махнула рукой.

— Свяжешься с такими — жизни будешь не рада.

— Верно, деушка, — согласилась Анна, — связываются-то с нами одне дурачки, а ты, сразу видать, не из ихней компании.

Продавщица достала из-под прилавка свернутый полушубок. Анна бережно развернула:

— Ну-ко, Митя, давай!

Ухмыляясь, пыхтя и робея, Дмитрий стал надевать полушубок прямо на стеганую фуфайку.

— Милушко, — подсказала Анна, — едак-то, поди, не налезет. На пенжак накладай. Вот так! Ишь, как ты изменило. Ровно служащий.

— Верно, верно, — сказала и продавщица, подобрев маленько лицом, — представительный стал. Порфельчик в руку — и сошел бы за сельповское руководство.

Дмитрий пошагал взад-вперед, поодергивал полы, карманы опробовал и сказал приглушенно:

— Ну-ко, эдакой новенькой да и мне? Даже как-то неловко.

— Привыкнешь, — сказала продавщица. Шляпочку бы еще другую. Хотя бы вот эту, с хромовым верхом. На-ко, примеры! А то что у тебя за шапка? Ровно корова лизала.

— Сиди! — вступилась за шапку Анна. — В первый раз надел — и корова? Сама ты корова!

— Кто? Я? Да я за такие...

Вспыхнул бабий необязательный спор. Дмитрий, чтоб не мешать, потихоньку вышел за дверь. А Анна долго еще швырялась горячими, как угли, словами. Наконец,

напугав продавщицу и сама напугавшись, вспомнила, что пора бы и в город.

Дмитрий удобно сидел в санях. Снова в фуфайке. Анна спросила его сгоряча:

— Ты чего это шубу-то снял?

— Поберегу. Наодеваюсь еще.

Анна одобрительно улыбнулась.

Вскоре въехали в город. Конь бежал по краю дороги, сторонясь монтеров с цепями на животе и стаи откормленных псов, готовых лопнуть от дая.

Перед кирпичным высоким домом Гордый круто взмахнул хвостом. Дмитрий, правя коня в ворота, сказал с тихой улыбкой:

— Вот и приехали. Принимайте, хозяева.

— Ну да ладно! — заворчала Анна, ступая за мужем и недовольно оглядываясь.

Дмитрий махнул рукавицей на дом:

— Да откуда им знать? Ить, не слышно. Стены-то эво какие! Не наши с тобой. И потом о хозяевах судят не по приезду.

Дверь открыла Галина — белоскулая, полная, в васьково-веселом платье и туфлях на тоненьких каблучках. Она радостно вскрикнула. И родители заулыбались, почувствовав, как на них повеяло полузабытым дочерним детством.

Дмитрий и Анна вошли. Навстречу — в черном костюме, под которым белела рубаша, а на рубаше галстук с крупным узором, — длиннолицый любезный Клим.

— Как мы рады! Как рады! — воскликнул зять, так и дыша бодростью и заботой.

Дмитрий, сам не зная зачем, протянул ему полушубок. Клим признательно улыбнулся, перегнул полушубок напополам и унес его в спальню.

— Мы сейчас! — сказала Галина и тоже ушла за ним.

— Ты чего, мужик? — ущипнула Дмитрия Анна. — Пошто отдал-то? Догони! Не тебе, скажи, куплено!

— Да не отдал, — Дмитрий кивнул на вешалку с верхней одеждой, — тут, мотри, все занято, некуда вешать. А тамо хоть никому не мешает...

— Вона, — смутилась Анна, — а я уж подумала...

Рухловы разделись. Возвратился тем временем Клим.



Сделал жест, приглашающий в комнату, откуда сквозь плотно закрытую дверь доносился застольный гомон.

— Давайте! Давайте! — сказал.

Супруги вошли и стали, глядя с отчаянной робостью на застолье. Голубые волокна дыма, румяные лица, чей-то легонький смех — все здесь было проникнуто тем душевно-домашним уютом, какой бывает за столом у давно знакомых людей, которые, выпив, становятся друг другу приятны. Но уют, показалось Рухловым, предназначен был не для них, а для тех, кто еще не пришел, но кто может прийти как равный к равным. Им подумалось даже, что явились они сюда по какой-то нелспой ошибке и исправить ее уже нельзя. «Куда же девался Клим? С ним бы все посмелей», — подумали оба: Клим словно сквозь пол провалился. И они поздоровались.

Все с удивлением обернулись. Крайний к Дмитрию стул сочно скрипнул, с него встал с поощряющей бодрой улыбкой круглолицый плотный мужчина.

Полозов! Дмитрий растерянно улыбнулся, сообщив растерянность Анне, и та простодушно открыла рот.

Полозов плавно повел рукой, собирая в одно стол, гостей, телевизор и зеркало, как бы советуя этим движением никого не стесняться, быть со всеми тут запросто и не скучать. Подошел к смущенным супругам, протянул им ладонь.

Всем сделалось сразу приятно, что Анна и Дмитрий присхали из деревни, что такие они простые и улыбаются славно. По лицам гостей можно было понять, что в общем-то все они не такие уж чужие деревне, даже близкие ей кое в чем, хорошо умеют ощутить и ее пугающее дыхание, и походку, какой она шла и идет, догоняя город. Большинство из гостей родилось в деревне, но порвало с ней связи и при встречах с такими, как Дмитрий и Анна, возвращалось душой в былое. Рухловых тотчас же в несколько рук усадили за стол, угостили пивом и водкой.

В глазах у Анны стелился туман, сквозь который все виделось в преувеличенно-радостном свете. Почему-то взгляд ее в первую очередь схватывал тех, кто был нарядно одет, разговаривал и улыбался.

— Кто это? Во-он тот маломожененькой? — спросила про стройного, с родинкой между бровями мужчину, над которым слева и справа нависли дамы. Мужчина рассказывал что-то смешное, а сам был серьезен и строг.

«Анекдотики бает!» — подумала Анна и подтолкнула дочку плечом. — Кто?

Галина пальчиком погрозила.

— Тише, мамка, — и, оглянувшись по сторонам, сказала матери в самое ухо: — Это Тапин. Директор нашего Дома культуры. Юморной такой.

— Ишь ты... Директор... А много ли он получает?

— Не знаю, — пожалала дочка плечами, — наверно, рублей сто двадцать.

— А вон тот? Кто такой? — кивнула Анна на рослого, в белой рубаше парня, волосы которого так торчали, что от них на лицо ему падала тень.

Галина с испугом:

— Мамка, хватит тебе. Ведь могут услышать!

— Шу и пущай! Кто?

Галина шепотом объяснила:

— Жилин. Он в газете работает. Страсть какой образованный. Он стихи еще пишет. А поет!..

— Женатый?

— Нет. Ему жениться нельзя: стихи будут худо получаться.

Взгляд Анны поймал показавшийся из-за Дмитрия округлый профиль лица.

— Начальника-то вашего как величают?

— Иван Николаевич...

— Пришел-то, ну-ко! — сказала Анна. — А я-то боялась, как да не придет.

— Что ты, мамка! — шепнула Галина. — Иван Николаевич у нас часто бывает. Иной целый вечер с Климом за шахматами просидят. Мой-от лучше играет, а ни разу еще не выигрывал. Хитренький!

Анну переполняло бойкое бабье любопытство. Ее так и подмывало узнать про каждого: как зовут, где и ладно ли служит, велика ли получка?

— Эвон, спряма-то нас, белозубенькой... — начала было новый вопрос, но на дочку в этот момент посмотрел именинник. Посмотрел в упор, внимательно, кивнув куда-то на коридор. Улыбнулась Галина:

— Потом, мамка, после. — И легко поднялась, порхнув к двери.

Дмитрий зевнул, прикрывая ладонью неприлично распахнутый рот. Чувствовал он себя стесненно, потому что несколько недобрал. Ему бы еще граммов сто, и

тогда бы он был со всеми на равных. Он сидел рядом с Полозовым, блестя своим замечательным лбом. Лоб его завершался белой вершиной и, казалось, вынашивал трудную мысль.

— Еще бы по приборчику, — сказал нечаянно вслух.

Полозов поощрительно улыбнулся. Ему понравилось слово, которым Дмитрий назвал стограммовый стакан. Кругом стоял легкий застольный шум. Звенели вилки, булькал напиток, и, как горох по широкому блюду, рассыпался женский смешок. Полозов чуть прижмурил глаза и плавно повел головой. Стало немного тише.

— Я думаю, — сказал он уверенным тоном, — именинник на нас не обидится, если мы выпьем... — Он торжественно посмотрел на Дмитрия и на Анну, вероятно, желая назвать их по именам, да, похоже, сообразил, что имен не запомнил, сделал паузу, но не смутился и досказал: — Выпьем за наше трудовое крестьянство, представители которого находятся сейчас рядом с нами.

— За тех, кто нас кормит! — добавил тоненьким голосом Тапин, и все на него посмотрели, как на смелого шалуна, умеющего выбирать время для шуток. Пробежал длинный звон стаканчиков, стопок и рюмок.

— Кушайте! Вот салат! Вот грибки собственного соления! Вот колбаска! — летел приветливый голос Клим, обращавшийся сразу ко всем и, казалось, гладивший по головкам. Клим умел угощать, умел создавать атмосферу уюта, и еще он умел обращать на себя внимание. Полувежливо, полунебрежно поднял вверх указательный палец и намеренно строго сказал:

— Я настаиваю, чтобы наш Алексей Васильевич Жилин немедленно встал...

Большая квадратная голова Жилина, покрытая гривой волос, упрямо торчавших над лбом, колыхнувшись, пошла к потолку. Клим тем временем продолжал:

— ...и прочел стихотворение, которое бы нам обязательно полюбилось!

Левая рука Жилина захватила брючный ремень, а правая, звякнув запонками рубахи, повисла над краем стола. Жилин читал про березы, про дождь, про ветер. Голос его был просторный — таким хорошо говорить на большой пароходной реке. Неожиданно он запнулся, потому что расслышал сознательный длинный зевок. Зевал маленький Тапин, сияя глянцевой кожей лица и розовой родинкой меж бровями.

Жилин хотел оскорбленно умолкнуть, как вдруг увидел Рухлова, который смотрел на него с интересом. Жилин задумчиво улыбнулся и дочитал до конца: «...Люблю грозное качанье березовых плеч под дождем. Люблю пробираться ночами из темного лесу на гром».

Клим, собравшийся было хлопать, неожиданно поблел, с запоздалой досадой соображая: «Не понравился стих! Ну да я! Ничего себе! Преподнес сюрприз...»

Взгляды скрестились в центре стола — все ждали, как среагирует Полозов.

Иван Николаевич провел ладонью по лбу. Реагировать он не хотел, потому что стихи считал несерьезной забавой, отвлекающей от дел. Сказать прямо об этом он, понятно, не мог: ни за что бы обидел поэта. Но что-то сказать было надо. И он сказал:

— По-моему здесь, Алеша, кроме тебя, литераторов нет. И ты на нас особо-то не сердись, что мы не способны твой стих по достоинству оценить. А за то, что ты его нам прочитал, большое тебе спасибо! — Иван Николаевич умилился, довольный своими словами, и все одобрительно зашумели, заулыбались. Один лишь Жилин не улыбнулся. Он что-то буркнул и, видимо, злое, так как Тапин, сидевший через стул от него, покраснел и громко сказал:

— Я попросил бы не забываться!

Кроме Тапина, никто не расслышал, что именно буркнул Жилин, но всем сделалось как-то неловко. Клим хотел было вызвать Жилина в кухню и там без свидетелей объяснить, что нельзя и что можно делать в его квартире. Но в этот момент раздался приветливый голос:

— Не горячитесь, Юрий Васильевич!

Это Полозов говорил, обращаясь к директору Дома культуры. Как говорил! Мягко, ласково, будто прикладывал слово к слову, стараясь уложить их поудобней.

— Зачем горячиться? Каждый человек своим мнением интересен, если, конечно, оно есть у него... Как вы думаете на этот счет? — с вопросительной умной улыбкой на круглом лице Полозов смотрел на Дмитрия. Смотрел в упор, настойчиво предлагая поддержать его или поспорить.

— Да ить как, Иван Николаевич! С какой стороны это все разглядеть! — откликнулся Дмитрий, захотевший

вдруг говорить много, умно и интересно. — Применить хотя бы к нашему бригадиру. Гордый, криковатый, кой-кто не любит его. А почему не любит? Потому что мнение у него! Чего задумал, уж не своротишь, слова назад не возьмет. Он уж как строг! А отчего? Оттого, что думает: дай нашему брату волю, и мы, примерно, собьемся с пути, не туда пойдем, куда надо, и колхозу не в пользу, и нам не в добро. Вот какое у нашего Сана-то Романовского на всех нас мнение.

— Постой-ка, постой, Дмитрий Рухлов, — в глазах у Полозова мелькнуло пытлиное любопытство, — про какого ты Романовского говоришь? Как его отчество?

— Дормидопыч, — ответил Дмитрий.

Не снимая ладони со лба, в раздумье сгибал Полозов пальцы. Согнулось четыре — значит, четыре года назад...

Вспомнил Полозов долговязого выпускника совпартшколы, с молодым, но каким-то жестким лицом, которого он хотел перевести на другую работу, если дела у него пойдут хорошо. «Почему бы не взять его в управление, — прикинул в уме, — вместо, скажем, Дерягина? Дерягин стар, боязлив, да его надо так и так на пенсию провожать...» — Полозов улыбнулся и толкнул легонько Рухлова в плечо:

— Как дела-то в бригаде идут? Как у вас там бригадир?

— На моем веку одиннадцать бригадиров сменилось. А такого еще не бывало. Проворно работает.

«А может, в этом его призвание? И стоит ли с места то шевелить? Вдруг он у нас еще не потянет? Точно, может не потянуть. Управление — не деревня», — подумал Иван Николаевич и быстро переспросил:

— Проворно работает, говоришь?

— Больно проворно!

— Значит, на месте человек. И пусть работает так, чтоб о двенадцатом бригадире никто в деревне и не мечтал, чтобы гремела бригада! Верно я говорю, Дмитрий Рухлов?

— Еще бы не верно, — ответил Дмитрий.

Разговор плыл весело и легко. Иван Николаевич и Дмитрий, уйдя в него с головой, позабыли, что кроме них сидят за столом другие. Впрочем эти другие тоже вели свои разговоры: Анна — с дочкой Галиной, Тапин — с дамами, Жилин — с серьезным товарищем из

Госстраха. Один Клим разговаривал сразу со всеми. И улыбался он сразу всем. И всем казался приятным. Клим смотрел на гостей с изучающей милой улыбкой, как бы прикидывая в уме, кому бы поднять настроение, кого удобнее похвалить, с кем перемолвиться теплым словом. И вдруг он увидел, как по белой салфетке стола, уронив хрустальную рюмку, пробиралась рука. Широкие пальцы добрались до бутылки, обхватив ее и, неуверенно наклонив, направили горлышком в стопку. Клим стиснул зубы и через стол посмотрел на жену, соображая ей взглядом: проследи за отцом!

Растерялась Галина, как теряются женщины, когда им велят делать то, чего они не умеют и что все-таки делать придется. Она робко взглянула на мужа, но тот взгляда ее не принял. Галина толкнула ногой валенок матери:

— Папка-та у нас не напьется?

— А пушай! — успокоила мать. — Не кажжйй день такие пиры.

Тревожно-настойчивый взгляд терпеливо ждущего мужа словно прилип к Галине.

— Мамка, ты бы ему сказала...

— Ну-ко! Буду я мужику настроенье ломать!

— Но, мам!..

— Сиди! — посуровела Анна.

Галина вздохнула и поднялась.

Дмитрий в эту минуту, запрокинув лысую голову, опрастывал стопку. Выпив, взял с тарелки грибок, пожевал его, улыбнулся. И тут с ним что-то случилось, будто он провалился в глубокую древность, из которой все, что стояло перед глазами, стало казаться ненастоящим, точно кто-то это придумал, как сказку. Он обмяк и, клоня подбородок, откинулся к спинке стула.

Клим взглянул на жену с холодным упреком. Затем обежал глазами гостей, безмолвно каждого умоляя, не обращать на это внимание. Но Тапин, должно быть, его не понял. С баловливой улыбкой анекдотиста, которому все и всегда сходит с рук, подмигнул и сказал:

— Представитель нашего крестьянства не выдержал застольного испытания.

Тапин приготовился слушать смех. Но никто не смеялся и даже не улыбался. Тапин ерзал на стуле. Оказаться неинтересным — это было для него так неожиданно, что он оглянулся по сторонам. Задержал взгляд на

Анне, деревенской бабе, в такой смешной пестрой кофте и с таким наивным лицом. И тут его потянуло блеснуть той замечательной шуткой, которая могла бы ему вернуть репутацию первого остролова.

— Небось, трудно жить с таким муженьком? — спросил подстраиваясь под тон, каким, полагал, должны говорить деревенские люди.

С недоумением глянула Анна на Тапина, потом — на всех остальных. Но ответа ни в ком не нашла и поэтому промолчала.

Но Тапин тем же поддельным голосом продолжал:

— Пьет, говорю, мужик-то твой? Пьет, поди-ко, как сивый мерин?

Снова Анна глянула. Тяжело глянула, тревожно. И вдруг вспыхнула вся:

— И ты не с брызгу горох! Не первая в кузову ягода! Мой выпьет, дак спит молчком! А ты и этого не умеешь!

Тапин видел, что все на него обратили внимание. Но как обратили? Будто он всю жизнь был таким нераженьким балагуром, после шуток которого всем становится неудобно. Он попробовал объясниться:

— Вы не подумайте... Я не хотел... Я не думал обидеть...

Анна пренебрежительно, словно был перед ней парнишка:

— Маломожененькой! Да чтоб забидеть меня?!

Гости, будто по сговору, длинно вздохнули. Больше всех был подавлен Клим. Голос тещи, казалось ему, оскорбил всех гостей — и сегодняшних, и вчерашних, и тех, которые будут потом. Длинное, мягкое, без углов лицо его принахмурилось, постарело. Клим страдал за гостей. Он желал (как желал!) вернуть им недавнюю бодрость. «Тапин тоже хорош, — думал он, — сидел бы себе, молчал в кулачок. А то все надо отличиться, юмор свой показать. Показал!»

Клим тревожно заозирался, потеряв способность быть обаятельным, и почувствовал: гости вот-вот уйдут, унеся с собой нехорошее мнение об именинах.

Но Клим волновался, кажется, зря. Гости утомились от вина, от шуток, от разговоров, и нужно было в эту минуту нечто такое, чтобы их всех объединило, заставило позабыть перепалки, колкости и насмешки.

И тут встал Жилин. Встал так резко и торопливо,

словно кто-то его позвал. Подошел к стене, снял гитару. Во взоре его появилось что-то блуждающее. Пальцы правой руки скользнули по струнам.

Звезда полей во мгле заledenелой,  
Остановившись, смотрит в полынню...

Голова Дмитрия шевельнулась и медленно-медленно поднялась. Он чувствовал, как где-то рядом текло красивое продолжение то ли жизни, то ли забытого сна. Все завстные песни, какие он только знал, сейчас собрались в одной и кружили его полупьяную голову звуками нежной печали. Песня, казалось ему, жила в нем самом, наполняя его высотой удавшегося полета. Дмитрий заулыбался. Он любил теперь всех людей — и худых, и хороших — и желал им такого же чувства, какое испытывал сам.

Затуманенный грустью голос плыл легко и далеко, являя сюда, в эту комнату, власть глубокой странной души, что витала сейчас над всеми и упорно звала за собой в какую-то добрую неизвестность.

...Но только здесь, во мгле заledenелой,  
Она восходит ярче и полней,  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей...

Жилин замолк. Лицо его стало изнеможенным, точно прожил он за эти минуты целый год беспокойной жизни. В комнате устоялась какая-то добрая тишина. Не только Дмитрий — все ощущали в себе светлую-светлую грусть...

Расходились гости в приподнятом настроении, чему был очень доволен Клим. Последними одевались Рухловы. Клим помог найти Анне ее плюшевый черный жакет, а Дмитрию — новенький ватник. Галина спросила с надеждой:

— Может, останетесь ночевать?

— Да, да, — спохватился и Клим, — в самом деле, стоит ли на ночь-то глядя?

— Нельзя, завтра нам на работу.

Дмитрий почувствовал острый щипок. Покосился на Анну и вспомнил про полушубок.

— Не тебе, скажи, куплено, — строго шепнула Анна.

Дмитрий кисло поморщился и спросил:

— Полушубок-от как?



Клим признательно улынулся:

— Хорош, хорош! Я уж мерял его! Как это вы догадались? Так кстати. В командировках-то знаете...

— Эдак, примерно, — пробормотал рассеянно Дмитрий, — носи тогда. Носи на здоровье.

— Ну, растяпа! Ну, простофиля! — ругала Дмитрия Анна, выходя с ним на увитый потемками двор.

Дмитрий нехотя защищался:

— Да ладно тебе. Заведем и другой...

Он еще чего-то хотел сказать, но почувствовал, замирая, как тело пронзило свербящей болью и снова, как днем, спина его стала чужой. «Неужто завтра я не работник? — подумал Дмитрий, снимая с коня тепляк. — Да нет. Всяко к утрию заживет. Всяко, примерно...»

В свете желтеньких фонарей, горя золотом окон, улица летела в угор, подсиненный мраком сугробов. Летела глухо и низко между черных домов в неподвижно-седое пространство, где плыла в окружении снежных полей огромная зимняя ночь. Конь, тоскуя по теплой конюшне, вез Рухловых со всем старанием.

Домой приехали в полночь. Анна сразу на печь.

Дмитрий сел покурить. Боль в спине поутихла, терпеть можно было. Посмотрел за окно. Где-то в небе огненной каплей промчалась звезда. Вздогнул Дмитрий. Показалось, что звезда рванулась навстречу. «Ишь ты, — подумал, — ровно живая душа», — и улынулся заснеженной мгле, под громадным крылом которой, обьятые сном, отдыхали ночные деревни.

За спиной отворилась дверь. Дмитрий нехотя обернулся — Мария!

— Где-ка он? Показывай, Митрей! — Мария спрашивала о покупке.

— Нету, — сказал.

— Али не купили? — удивилась Мария, освобождая уши от полушалка.

Отвечать Дмитрий смерть как не хотел. Вздохнул, как вздыхают, когда разговор превращается в наказание.

— Уж не зятю ли подарил? — спросила Мария.

— А чего тут такого? Чего особенного? Мне мал оказался. А ему в самой раз. Он ездить в нем будет. В командировки...

Улыбнулась Мария и тут же стала серьезной. Самое

большее для нее удовольствие — получить занятую новост. И вот — получила.

— Добрые-то какие, — сказала она с надеждой разговаривать мужика и узнать от него все подробно. — Вот бы не подумала. Вот бы никак. Да вы что, рожонные, ошупели?! Али он мене вас получает? Да он за вас за обоих...

Дмитрий шагнул к ней.

— Ну вот что... Об этом ты в другом месте расскажешь!

Мария икнула, растерялась, полушалок забыла поправить — так с простой головой и выскочила на холод.

Дмитрий двинулся следом — запереть крылечную дверь. Но услышал: кто-то идет. По быстрому командирскому шагу, по сердитому матерку смекнул: идет бригадир и, кажется, недовольный.

Александр ступил на порог.

— Приехали субчики! — сказал мерзлым басом. — Приехали, черт возьми!

— Али приезжать-то не надо было?

Бригадир вызывающе усмехнулся:

— Так, так! У зятя, значит, гостили! А зять работает где? Где угодно, но не в райкоме! Я проверял! Нету там никакого нового зава. Да за такое мошенство я вас обоих...

— Как знаешь, — промолвил Рухлов.

— Про Полозова наврали! — шумел Александр. — Придет на ваши именины! Многого захотели!

Дмитрий сказал:

— А ить был. Говорил еще об тебе...

Романовский остолбенел.

— Вот черт! — сказал с растерянным удивлением. — Чего же сразу-то, а? Сразу-то чего не сказал?

Улыбнулся Дмитрий, но как-то странно, словно предназначал улыбку свою кому-то третьему, кто, казалось, стоял за спиной бригадира.

— Сразу-то с тобой не кажжий умеет.

Александр оценил его смелый ответ.

— Он еще меня спрашивал про твое бригадирство: как-де справляешься.

— Так, так. А ты что?

— Я счетом сказал.

— Каким таким счетом?

— Да вот, говорю, одиннадцатый ты у нас бригадир и такого еще не бывало.

— А он чего?

— А Иван Николаевич довольнехонек стал. Говорит, пушай-де работает так и дале.

Романовский почувствовал легкий озноб где-то над поясницей:

— Так и сказал?

— Из словечка в словечко. А еще пожелал, чтобы люди в деревне никогда не мечтали о двенадцатом бригадире.

Александр прошелся по кухне.

— Значит, он полагает, что кроме бригадирства ничто мне больше светить не должно?

— Об этом не было разговору.

Романовский уселся на лавку, задумался хмуро: «Для кого я целых четыре года старался? Для колхозников. Все для них. Да еще для Полозова. Вывел бригаду в гору. А меня и забыли. Снова, может, пойти в управление? Убедить там, что я трачу энергию не на то. Должны войти в мое положение...» Александр закурил. Затяжки были так глубоки, что посыпались искры, от которых, казалось, вспыхнет кухонный полковик. Сказал ядовито, обращаясь к хозяину дома:

— Забыли... Надо же... Вот бы чего не подумал... А может, ты этому рад?

Раздражение, обиду и ревность услышал Дмитрий в словах бригадира. И еще отзвук той непреклонной властной силы, от которой всегда становилось ему неуютно.

— Рад? — повторил Романовский, которому надо было на ком-то сорвать досаду.

Дмитрий глянул на бригадира, на его неширокие плечи, на растерянные глаза, на свисавший к бровям клочок волос и увидел в нем страшно уставшего мужика. Дмитрий сказал:

— Я рад другому.

— Чему же?

— Я рад, что ты у нас гордоватый.

— Дак хорошо это или худо?

— А то и другое вместе, — ответил Рухлов. — Худо, потому как пользы от этого никакой. А хорошо — хоть шапку ни перед кем не надо тебе сымать.

Задумался Александр и не заметил, как пришло к

нему более или менее сносное настроение. Сказал поспойней:

— Не много, не много мне, по-твоему, дано...

— А человеку много дано только в последний день.

«А что? — задумался Александр. — Пожалуй! Человеку в последний день надо проститься с тем, чего он всю жизнь добивался. Чего я, например, добивался? В общем-то, жизни, в которой бы мне было хорошо. И чего я добился? А ничего. Выходит, что я пока не живу, а только еще готовлюсь. Не слишком ли долго готовлюсь? Четыре года... Целых четыре... А как, интересно, другие? А-а? Дмитрий хотя бы? Он тоже, быть может, живет не той жизнью, какую когда-то себе придумал? Да и нужна ли другая жизнь? Кто знает, какая она?..»

— У тебя, Дмитрий, есть какая-нибудь мечта?

Рухлов погладил ладонями лавку, голову приподнял. Из слегка опечаленных глаз его глядела на Александра всемужичья огромная жалость, жалость к тем, кто живет сегодня неустроенно, неприятно.

— А как же. Только вслух ее говорить нельзя.

— Почему?

— Тайное в ней пропадет. А без тайного что за жизнь?

Александр ободрился, сердце в груди застучало ровнее, и вдруг с его губ с каким-то мальчишеским вдохновением слетели слова:

— Черт с ним, с Полозовым! Не хуже других живем. И нам повезло — человеками родились!

— Это первое диво, — подхватил с удовольствием Дмитрий, — потрафило нам, верно.

— А второе какое диво?

— Второе приходится на женитьбу. Каждая невеста для своего жениха вырастает.

Александр с неприязнью вспомнил свою жену.

— Бывают и исключения.

— Дак это когда берешься за локоток не своей невесты.

— Как тут узнаешь? На нем не написано.

— В том и диво, что надо не ошибиться.

Бригадир закурил еще одну папиросу.

— А что? И третье, скажешь, есть диво?

Может, совсем о другом стал бы спрашивать бригадир, если бы в эту минуту он позорче взглянул на Рухлова. А Дмитрий словно усох и лицом и телом, скулы

неестественно обострились, в глазах его плавала мгла.

— Третье диво, — сказал он сквозь силу, — самое темное. Про него мы узнаем в последний день.

Бригадир снисходительно улыбнулся:

— Ну-у, так-то не надо. Лучше без темноты.

Он еще чего-то хотел добавить, но, видя, что Дмитрий устал, протиснулся с ним и ушел.

«Как работать-то буду? — думал Дмитрий, мрачно глядя в окно. — Анна худо, видать, сошшикнула. Недостаточно, ох! Ну да как уж-нибудь. К утрию, может, и полегчает».

Он сомкнул набрякшие веки и тотчас же увидел перед собой целую армию мужиков, почему-то похожих одновременно на бригадира, певца на именинах и начальника управления. Они шли под окном его пятистенка, удалые, высокие и, подмигивая ему, приглашали отправиться с ними. «Нам бы вместе ходить, по одной дороге!» — как под песню, подумал Дмитрий, но секунду спустя смекнул: вместе им не ходить — слишком разные они как по складу ума, так и по способу жизни. И душа любого из четверых может слиться с душой другого, вероятно, один только раз. И сегодня это уже случилось. «Счастливый случай», — подумал Дмитрий и быстро открыл глаза.

Он попробовал было встать, чтоб пройти в горенку-боковушку, где стояла кровать, но тело его обожгло морозом, и оно стало крениться вбок. Ладони уперлись в лавку и, разъезжаясь пальцами, задрожали. Дмитрий прислонился затылком к стене. Он всмотрелся в висящий в воздухе золотисто-веселый кружок и разглядел в нем электрические спиральки, которые вдруг превратились в мохнатые лапки. Лапки спускались ему на глаза. Дмитрий вздрогнул: «Вот оно темное диво! Будь оно проклято! Никому его не желаю...»

Дальше он ничего не помнил.

Пришел в себя в незнакомом месте. Огляделся вокруг. Слева и справа кровати. На них под белыми простынями — остроносые мужики. Дмитрий напряг ослабленный мозг: «Где-ка я? В больнице?!»

Открылась высокая дверь, и вошла сухощавая санитарка. Дмитрий спросил:

— Доктор, примерно, скажи: выживу я ай нет?

Санитарка поправила сбившееся одеяло:

— Теперь-то уж выживешь.

— А работать-то как? Смогу?

— Сможешь. Только возы боле такие не подымай.

— Ништо! — улыбнулся больной. — Али нашим сна-  
нам бояться тяжёла? Вали тово боле, небось, устоят...

Дмитрий лежал, вбирая в грудь пахнущий йодом воз-  
дух. В душу входило то старинное, дорогое, что когда-то  
его волновало, но было забыто им и теперь как бы рож-  
далось вновь. Он почувствовал себя раскованно и бес-  
печно, как бывало лишь в давнем детстве, когда рядом  
с верным дружкой хотелось идти далеко-далеко...

В большое окно палаты wpłyвал воскресающий зим-  
ний день. Голубел каменный угол дома. Перед домом  
висела ветка, а на ней дружной семейкой сидели озяб-  
шие воробьи. На них сыпался редкий снег. Сердце Дми-  
трия сладко заныло. Таким все вокруг показалось ему  
домашним, что почувствовал он теплую нежность и к хо-  
дившей между кроватями санитарке, и к больным, что  
жили один на один со своей болезнью, и к Анне, и Алек-  
сандру, привезших его сюда, и к упругой березовой вет-  
ке, и к воробьям, и к углу голубого дома, и к низкому  
серому небу, с которого падали реденькие снежинки.  
И ему померещилось, будто сейчас он дома. Да он и  
был, действительно, дома, на своей родимой земле.

1973 г.

Солнце, распугивая потемки, поднялось из-за бора, и несколько длинных его лучей скользнуло в окно. Василий Михайлович Белоусов тотчас проснулся, сел на кровати и поглядел на бежавшие по весеннему насту белые наливни света, на посадки домов, на скворечники в ветках, на длинный недостроенный двор, где, возможно, в этом году уже разместится все стадо колхоза. Глядел, ощущая себя хозяйственным мужиком, который на целую жизнь заряжен энергией на работу. И вдруг в голове его жестко-жестко, как молоточком, простукало: «Ты хотя и хозяин, да переменный». Василий Михайлович поскутнел. «Кабы Симка под свой норовок не тянула», — подумал с досадой и вышел из горницы.

Жена вместе с падчерицей, толкаясь у печки, что-то жарила. В последнее время они старались угодить Белоусову во всем. Уж больно загорелось им перебраться в город. А это зависело от него.

В печи прогорало. Ломались желтые угли. От масла на сковородке плыл к потолку горьковатый чад.

Серафима, полнорукая, круглая баба в белом платочке, едва муж помылся и сел к столу, поставила перед ним блюдо горячих блинов, а дочка ее Светлана принесла сковородку картошки и побежала заваривать чай.

Позавтракав, Василий Михайлович малость повеселел, словно в нем заиграл такой же солнечный зайчик, что выплясывал сейчас на стене.

— Ну, я помчался.

— Обедать-то всяко придешь? — спросила Серафима.

— Не знаю...

— Ой уж, Василий! Работка твоя — врагу такую не пожелаешь. Скорей бы отсюда...

Серафима умела тронуть душу хоть кого, и Белоусов, кутаясь в полушубок, поспешил уйти. Сколько можно твердить об одном! Ведь уж решено, что они через год покинут Сорочье Поле. Причин уезжать отсюда у Белоусова не было ни одной, у Серафимы же их десяток: то дочку замуж пора выдавать, то ремонтировать зубы... Но крепче всего напирала супруга на то, что Василий Михайлович весь извелся, что председательство его доконает. Поддаваясь жене, Белоусов стал с затаенной то-

ской задумываться о прошлом, находя в нем много такого, отчего устает и старится человек. В своей мужицкой жизни Василий Михайлович только и делал, что не по своей воле приезжал в отстающий колхоз и из последних сил тянул его из прорыва. Трижды он добивался цели. Теперь ему пятьдесят два с половиной года. На голове среди желтых, когда-то густых волос появилась заметная плешь. Породисто-крупное, с длинным носом лицо стало каким-то поношенным, вялым. И все чаще являлась мысль, что со всеми делами, какие сейчас он ведет, лучше мог бы справиться другой.

Василий Михайлович уже два раза говорил об этом с начальством.

— Что, друг председатель, — спросил его секретарь райкома партии Холмогоров, — дезертировать хочешь?

— Нет, — ответил Белоусов, — могу и дальше работать, только хозяйству от этого пользы будет немного.

— Объясни.

— Дать хлеб, молоко, мясо — это еще могу. Но молочный комплекс, дорогу с гравийным покрытием, мелиорацию сорных низин — едва ли вытяну. Тут нужна свежая голова.

— И где же она? — спросил секретарь. — Ты о замене своей подумал?

О замене как раз Василий Михайлович и не думал. Лишь каким-то чутьем определял, что, пожалуй, лучше его может повести дела в колхозе зоотехник Олег Николаевич Хромов, настойчивый, строгий, из тех, кто умеет воздействовать на людей. Сказал о нем председателю райисполкома Герману Гурьевичу Дуброву, приезжавшему в колхоз на отчетно-выборное собрание. А тот наотрез:

— Нет, нет! Хромов молод. Ему еще двадцать четыре. Вот годика через два...

— Это что? До нового отчетного ждать?

— Вот-вот, до отчетного. А уж там ты можешь на все четыре... Кстати, куда ты намерен?

— Хочу купить у вас в городе дом, — открылся с готовностью Белоусов, — там, видно, до пенсии и останусь.

Дубров задорно рассмеялся. Он всегда так смеялся, когда кому-нибудь что-нибудь обещал:

— Да я тебя к себе в аппарат заберу! Что? Откажешься? Только попробуй!



...До отчетного оставалось меньше года. Поторапливаемый женой, Белоусов еще зимой купил на окраине города дом, и теперь оставалось самому не сорваться и не слечь да уберечь зоотехника Хромова от расстройств, потому что Олег Николаевич был человеком вспыльчивым, мог рассердиться и сгоряча написать заявление на расчет.

Шел Василий Михайлович вдоль деревни и грустил. К реке спускалась шеренга домов, подставляя под потоки лучей высокие окна. Снег лоснился, как сало на сковородке, и смотреть на него было больно. На крыше, припав животом к сумегу, отдыхал измученный дальней дорогой грач. Неплохое все же место Сорочье Поле.

Белоусов привычно свернул на ферму. Зоотехник был уже тут. Окруженный доярками, кого-то распекал. Был Олег Николаевич в кожаных сапогах, фуфайке и кепке. Возле него всегда возникала какая-то толчея, и кто-то должен был при этом внимать каждому его слову, кто-то преданно улыбаться, а кто-то каяться и краснеть.

— Опять, что ли, с минусами идем? — вмешался Василий Михайлович.

— Опять, — подтвердил зоотехник недовольным и жестким тоном, словно в минусах этих был виноват лишь один председатель.

— Сегодня Спасского посылаю, — сообщил Белоусов. — Волокушу комбикормов притащит..

— Кто-то даст? — улыбнулся неверяще зоотехник.

Белоусов почуял в этой улыбке обиду и злость ободенного человека, который спит и видит себя во главе колхоза.

— Даст «Красное знамя».

— За просто так? — усомнился Хромов.

Белоусов взглянул на него с видом человека, который знает, что будет трудно, но с трудностями справиться все-таки можно.

— Сочтемся уж как-нибудь.

Зоотехник холодно усмехнулся.

— Один хозяин тоже вон счелся, дак потом всю жизнь долги отдавал.

Это было уже приглашение к спору, к необязательному, пустому, и Белоусов нахмурил лоб.

— Одной меркой меряешь всех. Так, Олег Николаевич, не пойдет.

Хромов что-то ему ответил, но председатель уже не

слушал, он шагал по тропе и под скрип раскисшего снега расстроенно думал, что зоотехник, пожалуй, из тех слишком рано уставших от жизни людей, которые все подвергают сомнению и уже ни во что, кроме зарплаты, не верят. И опять в груди у него заболело. Отдать колхоз на управу тому, кто превосходно знает работу, но кто не вложит в нее свою жизнь? Не станет ли это его ошибкой, которую после уже не поправишь?

У крыльца конторы поуркивал «козлик». Борька Углов, деревенский пижон в городской легкой шубке и кепке с помпоном, сидел за рулем, готовый поехать куда угодно, только дай председатель ему сигнал.

— Жди! — сказал ему Белоусов и взошел на крыльцо.

Сидеть в конторе Василию Михайловичу не хотелось, потому что замучает телефон и к вечеру обязательно заболит голова. Он решил проехаться по бригадам, но не дошел и до двери, как в кабинет, задыхаясь, влетел бригадир Баронов.

— Михайлыч! Машина нужна! Скорей!

Передовую доярку Евстолию Гудкову схватил приступ аппендицита, когда она сливала в бидон молоко.

— Синенькое и красненькое вижу! — закричала она и грузно, будто мешок пшеницы, осела к порогу, опрокинув ногой ведро.

Бригадир Василий Баронов, перепрыгнув лужу, пулей выскочил из аппаратной, за какую-то четверть часа слетал в деревню за Борькой Угловым. Борька, ломак, каких поискать, заупирался: я, мол, личный шофер председателя, и без его указаний — никуда. Пришлось бежать к Белоусову за разрешением.

...Борька нажал ногой на педаль. Провожая взглядом пробирающуюся за жерами машину, Баронов гадал: а кто же будет доить Евстолино стадо?

Под вечер, когда огороды и крыши зарозовели от света зари, бригадир пошел по домам. Сперва уговаривал Пушу, кроткую, чистенькую старушку, когда-то работавшую дояркой.

— И рада бы, Василий Иваныч, — говорила она, протянув ему ладони с кривыми и толстыми пальцами, — да, вишь, руки-ти как рогатки. Тридцать лет ходила за стаей — тамо и надсадила. До сих пор боркунчики в них сидят, косточки мои точат...

«О, черт! — про себя ругнулся бригадир, погружая ладонь в ворох волос под шапкой. — Хоть сам в доярки иди».

Заглянул Баронов на всякий случай и к чернобровой Ларисе, вспомнив, что та тоже когда-то была дояркой, но, окончив вечернюю школу, стала заведовать клубом. Василий Иванович полагал, что в такой серьезный момент Лариса должна бы согласиться, тем более, что дел в клубе вроде не так уж много и не такие уж они неотложные.

Застав Ларису за стиркой белья, бригадир осторожно спросил:

— Лариса Петровна?

— Я самая, — сказала Лариса, и было видно, что ей неудобно за ворох белья на полу, за намыленные руки, за клеенчатый фартук и за лицо, на котором и брови не так черны и строги, как обычно, и губы бледны, и ресницы короче, чем надо.

Баронов сказал о цели прихода. Лариса, вытерев руки о фартук, заговорила так страстно, так всполошенно, как если бы ей приходилось спасать свою честь:

— Хотите, чтоб все надо мной смеялись? Завклубом — и вдруг в доярки. Да это же глупо! Это же неэтично! И кому такое в голову только пришло? Кому, Василий Иванович? Всяко не вам. Вы-то ведь грамотный человек.

— Да это так, — промямлил Василий Иванович, не зная, как поскорее отсюда уйти, потому что завклубом имела обыкновенные разговаривать бесконечно.

— Вы человек культурный, — продолжала Лариса, — и тоже должны понять, что я перегружена клубной работой. Сегодня вот выходной, так дома стираюсь, а в другие-то дни разрываюсь на сто частей. Надо концерт подготовить. Надо лозунги напечатать. И стенгазету, кажется, надо. Я сама в помощниках нуждаюсь. Сама хотела у вас человека просить...

Василий Иванович отступил на шаг к порогу:

— Потом об этом, потом...

Разгневанная Лариса полезла в печь за горячей водой, и Баронов вышел. «Не баба, а радио, — думал он, — любого заговорит...»

Зашел бригадир еще в один дом, где жила крикливая рыжая Пелагея с кучей детей. Пелагея качала в зыбке трехмесячного сынка, который ревел до синевы на щеч-

как. Сняв петлю с ноги, Пелагея надела ее на валенок сидевшей рядом дочки и махнула рукой на реву.

— Каб не этот гудок... Ишь, завелся. А то бы чего? Я готова! С завтрава дня, гышь, доить-то?

— С завтрава.

— А чего... Можно, пожалуй. Приду. Отдохну хоть маленько от этого аду!

— Это точно? — спросил бригадир.

— Приду, коли этот пащенок утихнет. Грыжа, что ли, грызет?..

«Не придет», — понял Баронов, ибо не первый раз слышал от Пелагеи подобные обещания, ни одно из которых она еще не выполнила. Да и куда ей от такой семьи...

Уже начинало темнеть, и на клубном крыльце заморгал электрический свет. Утихала капель, летевшая весь день с подстрехов и карнизов. Пахло талой водой.

В колхозной конторе, куда пришел Баронов, был только Ларисин муж — зоотехник Олег Николаевич Хромов. Полнолицый, с маленьким подбородком, в залоснившемся пиджаке, на котором сиял институтский значок, он сидел за столом и имел очень занятой вид. Взглянув, как рука зоотехника с авторучкой ходит по форменному листу, Василий Иванович робко кашлянул:

— Кхе! Гудкову, вот, в город отправил. Кхе!

— Хорошо, хорошо, — ответил баском зоотехник.

— Хорошо, да не больно. Надо замену искать.

— Я не против, не против...

— А где? Где искать-то? — спросил бригадир. — Обошел всю деревню, а толку...

— К председателю обращайся.

— Нету его.

— Нет — так будет.

— Когда еще будет? Говорят, уехал.

Олег Николаевич с теми, кто был слишком назойлив и беспоянтлив, умел разговаривать жестко:

— Видишь или не видишь, что и я при деле? — сказал он, взглянув на Баронова с раздражением. — Завтра будут звонить из района, а у меня сводка еще не готова! Собирай вот с вас сведения, будто сами не знаете сроков отчетности.

Из конторы Баронов направился в сторону дома с шатровой крышей, где жил сорокапятилетний бобыль

Паша Латкин, про которого говорили занятно: «Богу не угодил, а людей удивил».

Открыл Василий Иванович дверь и сквозь облако дыма едва разобрал компанию мужиков, сидевших кто за столом, кто на лавках, кто на приступках печи. Все в расстегнутых телогрейках, в сапогах, под которыми на полу темнели подтеки. Сидевшие за столом резались в карты, другие толковали о новых ценах на водку, о сенокосных участках, о штрафах, пенсиях и авансах.

Едва бригадир примостился на табуретке, как услышал тоненький голосок, звучавший где-то под потолком:

— Василь Иваныч! Ты ли это? Кто тебя эдак разволновал? Нельзя ли мне за тебя заступиться?

Баронов шапку сронил, подымая лицо к полатам, на которых лежал Паша Латкин.

— Дела неважные, — сказал бригадир, вздыхая так глубоко, что грудь его поднялась и на ней расстегнулась фуфайка. — Захворала Евстоля. Ищу вот замену.

— Сколь коров-то доить?

— Двадцать.

— Даивал и поболее, — соврал для чего-то Паша.

— Умеешь, что ли? — спросил бригадир с сомнением и надеждой.

— С детства обучен.

Бригадир поднял шапку, погладил слежалый, с пролысками мех и просительным голосом предложил:

— Тогда, может, договоримся? На пару деньков? А, Паша?

Мужики засмеялись, загыкали, понимая, что Паша рядится ради потехи. Но Латкин, затронутый за живое, быстро забожился:

— Выручу, вот те хрест! — и с достоинством прошелся по кухне, маленький и сухой, в хлопчатобумажной вязаной кофте, с загорело-морщинистым лицом.

Кто-то усомнился:

— Силешки, Паша, не хватит!

Хозяин так повернулся на месте, так сверкнул глазами в сторону сомневающегося, что мужики попритихли, уставясь на Пашу с нетерпеливым вниманием, с каким глядят на опытных шутников, привыкших озадачивать всех и дурачить.

— А мы спытаем сичас! — улыбнулся Латкин и, за-

катав рукава хлопчатобумажной кофты, начал сгибать руки, шупать мускулатуру.

— Силешка-то во! Мотрите! Али у кого еще есть такая? Могу и не эдак, точена мышь. Эй, Вовка! — крикнул и, повернувшись к дощатому голбцу, стащил оттуда лежавшего с книгой юного постояльца.

— А ну пособи! — приказал ему Паша.

И не успела компания глазом моргнуть, как Латкин встал на руки, упираясь пальцами ног в шерстяных носках в желтый дверной косяк. Так и стоял вверх ногами. Кто-то не вытерпел и спросил:

— Али удобно?

— Удобно! — ответил хозяин с натугой.

— А дальше чего?

— Концерт по заявкам.

— Спой песенку, Паша!

И Паша, наливаясь кровью, запел любимую с детства:

Чижик, чижик, где ты был?

— На болоте воду пил.

Выпил рюмку, выпил две —

Зашумело в голове...

Закончив петь, встал с помощью Вовки на ноги и неверной походкой приблизился к стулу. И было ему приятно сидеть посреди избы и слушать мужицкий хохот, такой дружный и громовой, что дрожали рамные переплеты, а лампочка над столом шевелила алой спиралькой. Но сквозь галдеж до Паши донесся вопрос:

— Обряджать-то пойдешь?

— А для чё я силу показывал? — откликнулся Латкин, и его лицо отразило решимость.

## 2

Потому Латкин и согласился пойти на ферму, что стало жаль ему бригадира, который уж слишком был добр, мягок и не умел настоять на своем. Ферма Пашу ничуть не пугала. Было здесь сухо, тепло, да и не так наломаешь кости, благо есть доильные аппараты, автопоилки и транспортер. Освоить дойку — хитрости много не надо. Знай лишь кланяться перед коровой, надевай стаканчики на соски да похаживай руки в брюки. Так и начал свою работу. Наклонялся да распрямлялся. За-

кончил дойку раньше всех. Пришел в аппаратную, закурил и увлекся чтением «Сельской жизни».

Но тут дверь шаркнула по полу, и в аппаратную ворвалась рыжеволосая Анна, старшая дочь матери-героини Пелагеи. Встала напротив Паши руки в бока и, розовея от злости:

— Чё коров-то не доишь?

— А я уже! — улынулся Паша, перегибая «Сельскую жизнь» и кладя ее на колено. — Сначала одну, потом — остальных!

— Чем доил-то?

— Аппаратами, а чего?

— А ручками? Додаивал?

— Ручками... Хе-е... — Латкин положил ладони поверх газеты, посмотрел на них с любопытством. — Они у меня, по правде сказать, этому не обучены.

— А почто согласился? — возмутилась Анна. — Так-то и без тебя бы обошлись, ну-ко!

Делать нечего. Паша поднялся, взял пустое ведро. С грехом пополам, но все-таки подоил всех коров. Правда, при этом был поднахлестан хвостами, умазан навозом и с непривычки утомлен.

В аппаратной, куда он приплелся с неполным ведром молока, сидели все пять доярок. Завидя Пашу, они переглянулись и начали бойкий допрос. Первой сунулась Анна.

— Эдак мало? — сказала с усмешкой. — Поди-ко, пролил, христовый?

Отпираться Паша не стал:

— Пролил.

— Сколь раз пролил-то? — хихикнула молодая Маруся.

Паша тоже хихикнул:

— Кажись, более одного.

— А ты бы поаккуратней! — подсказала сурово Агния, любившая давать советы. — Ты бы старался, как добрые люди.

— Верно, точена мышь, — согласился с ней Паша и, усевшись на табуретку против сестер Натальи и Ольги, хлопнул их по широким коленям. — А вы чё устались на меня, как архангелы на господа бога? Давай-ко-те подскажите, как надо работать, чтоб выйти в передовыс.

«Архангелы» улыбнулись, отчего их пышные щеки поплыли вверх, прикрывая глаза.

— Не смей, зимогорушко! Чего мы, родимой, знаем? Тёмно да рассвело. Ты уж лучше пытай у старшей доярки.

— Нече пытать! — отрезала Анна и решительно поднялась. — Пора и домой, а то завтрак остынет.

— И я так считаю! — Паша встал с табуретки и направился было к дверям, но Анна схватила его за хлястик халата:

— Ты вычистил у коров?

— Не...

— Дак возьми и почисти. Успеешь домой. У тебя не семь робенков по лавкам.

У Паши тут же испортилось настроениe. Пришлось взять скребок и пройти с ним, как с плугом, по всем двадцати унавоженным стойлам.

...Полдня мужик промаялся на дворе. На обеденной дойке Анна его отругала при всех:

— По кой лешой приперло тебя сюда! Дои, буде, по ладу! А не то!..

Паша попробовал оборониться:

— Не ори на меня, а то растеряюсь, и дело пойдет хуже.

— Ничё! — успокоила Анна. — Пригрозка еще никому не мешала.

К вечеру Латкин совсем приуныл и стал поглядывать на коров, как на самых вредных существ. Поглядывать и с досадою вспоминать бригадира, который, хоть и не боек, а заставил-таки его заниматься бабьей работой. Наверное, он сбежал бы с фермы, плюнув на всех коров, но на двор заглянул Белоусов. К Паше он подошел с таким выражением лица, словно хотел его с чем-то поздравить.

— Доим, говоришь? — сказал председатель, опираясь рукой о заборку.

Латкин взглянул на него выжидающе, желая угадать, с какой-то целью он сюда заявился. И понял: сейчас станет уговаривать поработать еще денек-другой. «Нет уж!» — решенно подумал Паша и пробубнил:

— Первый день...

— Знаю, знаю, — Василий Михайлович улыбнулся. — Мне бригадир все рассказал. Молодчина! Выручил в трудный час.



Латкину стало неловко. Хвалят вроде бы как за дело. А он от дела лыжи уже наострил.

— Надо кому-то и выручать, — сказал, опускаясь перед коровой с почти пустым ведром молока.

— Вот-вот! — подхватил Белоусов. — На сознательных держится наша жизнь. Жаль вот только, что их у нас маловато.

— Да уж не лишка. — Паша похлопал по вымени пару раз, помял его, дернул за каждый сосок и, покосившись на длинные председательские ноги в потертых кирзовых сапогах, скромно признался: — А я ведь, Михалыч, тоже себя сознательным не считаю. Работаю как могу и хотел бы лучше, да нету толку.

— Ишь, чего захотел! — пожурил Белоусов. — В первый день да чтоб толк? Не спеши. Все придет в свое время — и успех, и мастерство. Через годик, а то и раньше перейдем на комплексный двор. Там работать куда веселей. Чистота, автоматика, выходные... Скоро кое-кого начнем посылать учиться на мастеров высокого класса. И тебя пошлем, если будешь стараться. Так что, Паша, не унывай!

Председатель дружески улыбнулся, взмахнул прощально рукой и пошел со двора.

Латкин вдруг испугался, что Белоусов не так понял его. Он вскочил со скамейки и резким голосом закричал:

— Михалыч! Ты уж прости, но на ферму я не ходок!

Такого Василий Михайлович не ожидал. Баронов ему сказал, что Латкин — опытный животновод и готов постоянно работать на ферме.

— Как так? — строго спросил Белоусов и смутился, почувствовав, что спросил как-то по-милицейски.

— Не люблю я этого, не привыкну.

Белоусов вздохнул, точно хотел укорить: «Эх, Паша, Паша!..» Однако не укорил.

Шел Василий Михайлович в серых сумерках по деревне и покачивал головой. «Перехватил бригадир. Желаемое выдал за факт. Ну да ладно. Бывает проруха». На Пашу Василий Михайлович не сердился. «Хуже было бы, — думал он, — если б Латкин работал из-под палки. Это уже не то. Принудительный труд еще никого в счастливые люди не выводил. Счастье, когда человек своим делом занимается. Угадать бы свое-то дело. Я вот, к примеру, каким занимаюсь? Если своим, то почему собираюсь отсюда уехать? Ведь там, в районе, не будет

такой работы. И людей не будет таких. Привыкну ли там я?..»

На дороге перед конторой на сто голосов гомонил сорочий базар. Белобокие птицы галдели, как злые торговки, вот-вот готовые подраться, виляли хвостами и, сея в воздухе пух, взлетали на крыши и огорожи. И чего они взбеленились? Казалось, что сороки кого-то передразнивают. «Уж не моих ли колхозников?» — усмехнулся невесело Белоусов и подумал о том, что завтра, пока дорогу не развезло, необходимо послать в Сельхозтехнику трактор. И доярку вот где-то надо найти. А где? Что подсказать Баронову? Не больно он сам-то изворотлив...

Размышляя о бригадире, Белоусов не столько досадовал, сколько жалел его. И вообще жалел он каждого человека, кто хотел бы, но не умел хорошо делать свое дело. И сердился на всякого, кто, зная дело, исполнял его кое-как. «Вот и жена у меня такая, — нахмурился Белоусов. — Всю-то жизнь ищет чего повыгодней да полегче. Была телятницей — тяжело. Стала дояркой — тоже надсадно. В счетоводы пошла — хлопотно. Теперь — лаборанткой на маслозаводе. Тепло, чисто, начальник спокойный. Легче работу в деревне сдва ли найдешь. Так она еще в городе что-то приглядела. И падчерица в нее. Еще нет девятнадцати, а уже наработалась и завклубом, и почтальонкой.

Подходя к своему пятистенку, Василий Михайлович ощутил огромное утомление. Опять он выложился настолько, что в голове, как сигналы из дальней страны, раздавались телефонные звонки, чьи-то вздохи, брань.

— Чуть-то живой! — встретила Ссрафима, едва он ступил за порог, и тотчас же на пару с дочкой принялись доставать из печи чугуны, кастрюли и плошки, резать пшеничные пироги.

Белоусов ужинал спокойно, было ему уютно, в груди улеглась сладкая слабость. В такие минуты был председатель податливо-добрым, и Ссрафима любила с ним побеседовать о делах. Делах, разумеется, личных или домашних, от которых, как ей казалось, зависела вся их семейная жизнь. Вот и сейчас, спустив на шею платок, она уселась напротив него, сказала:

— Наладилась завтра в город, денечка на три, а то и четыре. И Светлана со мной. Как один-то ты тут? Ничего?

Василий Михайлович удивился:

— Но у тебя же не отпуск?

— А я за свой счет.

— В городе-то чего? — спросил он.

— Дом купили, дак надо его обиходить.

Белоусов взглянул на румяное, полное, без усталых морщинок лицо жены.

— Четыре дня, говоришь, свободных?

— Могу и боле взять, коли надо.

— Так вот, Серафима, слушай. В городе надо зайти в райком. Поговорить там насчет нашего переезда. Сумеешь?

Белоусов заведомо знал, что жена всполошится, замашет руками, откажется наотрез. Так и случилось.

— Ой, Василей! Ты бы уж лучше сам!

— Могу и сам. Тогда в город поедешь не ты, а я. Согласна?

Серафима расстроилась, завздыхала.

— Дак выходит чего — зря и с завода отпросилась?

— Как раз и не зря. Про Евстолию-то знаешь?

— Знаю. В больницу ее увезли...

— Вот-вот. Ее увезли, а коровы остались. Кому их доить?

— Ты что, Василей? — Серафима заносчиво подняла голову, отчего платок развязался на подбородке, и она, поймав его за концы, машинально сделала узел. — Или доярку во мне увидел?

— Выручи, Серафима! Некому, кроме тебя!

Серафиме было как-то неловко и странно видеть в глазах, во всем облике мужа, мнявшего негнушимися пальцами папироску, беспомощность и какую-то отчаянную просьбу. И душа ее вроде бы приобмякла, оттаяла. Но вдруг в одну секунду все изменилось, и Серафима, краснея от возмущения, выпалила:

— Ты куда меня посылаешь? На ферму? Да я забыла ее! И слава те богу! Не желаю и вспоминать!

— Тогда я пойду доить Евстолино стадо.

Она поняла, что мужик не шутит, закрыла лицо руками, и слезы бессильной бабьей обиды крупно брызнули между пальцев.

— Не жизнь, а истома!

Белоусов кивнул головой и прислушался к шуму чугунных вьюшек. Шум был спокойный, мирный.

Дорогу уже заливало, и пробраться в райцентр можно было только на тракторе. Тракторист Веня Спасский, парень славный, но трусоватый, уперся:

— Не поеду один! Машину загроблю. Да и чувствую себя худо...

Пришлось в помощь ему выделять человека. Узнав, что поедет с ним Паша Латкин, Веня обрадовался: с Пашей не пропадешь ни в городе, ни в дороге.

Латкин надел фуфайку и шапку, снял с вешалки рюкзачок.

— А мешок-от на кой? — любопытствовал Веня.

— Для провианта, — ответил Паша, пихая в рюкзак буханку черного хлеба и пару бутылок из-под вина.

— А склянки?

— Корова-то есть у тебя?

— Ну.

— Молочишка нальем. В дороге все пригодится.

Веня вспомнил про свой замечательный аппетит и про то, что денег в кармане всего два рубля, и загорелся желанием взять с собою еды, по меньшей мере, на четверых.

— Я сала еще прихвачу, — возбужденно сказал он, — вареного мяса. Мати вон рогулек вчера испекла — и их. Да и луку, поди-ко, можно...

Сбегав домой, Веня вернулся оттуда с туго набитым рюкзаком. Залез в кабину и дернул весело за рычаг. Волокуши, как плот, поплыли по жидкому снегу, шлифуя за трактором рубчатый след.

Против конторы трактор остановил Василий Михайлович Белоусов. Паша открыл дверцу.

— Я с вами! — пыхтел Белоусов, забираясь в кабину.

До города двадцать верст. Пока добирались, Спасский раза четыре прикладывался к еде.

— Чего, похудеть боишься? — спросил Белоусов.

— Силу коплю.

Спасский хотел сказать, что он подымает амбарные гири, готовясь стать чемпионом района, но Паша опередил:

— Жениться парень надумал. А без силешки этта нельзя. Без силешки в первую же ночь с коечки полетишь...

— Не ты ли невесту нашел? — обиженно буркнул Веня.

— А что? — улыбнулся Василий Михайлович, но тут же остыл, вспомнив, что их деревушка невестами не богата. Его падчерица Светлана, с которой никто в Сорочьем Поле еще не гулял из-за ее неприступно-гордого нрава, да доярка Маруся. Вспомнил Василий Михайлович, что в каждый праздник из-за Маруси случаются ссоры и драки, в которых Веня обычно не участвует, и наемкнул:

— Маруська чем бы тебе не пара?

Спасский издал невнятный звук, лицо его умилилось.

— Только за эту Маруську, — продолжал серьезным голосом Белоусов, — надо повоевать. Тут, верно ты говоришь, нужна и силешка.

Веня сидел, не смея пошевелиться. Слова председателя ложились в самое сердце. «А чё, — прикидывал парень в уме, — почему бы не попытать счастья? С ней, пожалуй, никто и не ходит. Разве Борька Углов. А что мне Борька? Несужто этому охломону я уступлю?..»

В город приехали в полдень. Было солнечно и тепло. По дорогам бурлили ручьи. Пахло осиновыми дровами. У деревянного дома с шиферной крышей Белоусов вылез, одернул полы полупальто, шляпу поправил и строго-настрого наказал:

— Вы порасторопней. Как получите — сразу сюда. Сегодня надо успеть обратно.

Трактор двинулся в сторону базы. Спасский сидел взволнованный и сомлевающий. В голове созрел увлекательный план. Как только вернутся они в деревню, он приоденется получше, выпьет для храбрости сто пятьдесят — и немедленно в клуб. Увидит Марусю и пригласит на танец, а потом напросится провожать, подхватит ее под ручку, и пойдет, пойдет у них разговор...

База районного отделения Сельхозтехники располагалась на склоне реки. Вокруг навесы, будки, сарай и плывущий меж ними по рельсам высокий погрузочный кран. Подогнав трактор поближе к конторе, Спасский выпрыгнул из кабины, достал из кармана вшестеро согнутый документ и уверенным шагом поднялся на крыльцо.

В конторе сидел толстый мужчина в пиджаке с помятыми лацканами. Его широкие белые пальцы рылись в

конторских скрепках, составляя из них цепочку. Спасский сказал:

— Мне бы кладовщика.

Толстяк опустил цепочку и с любопытством поднял глаза.

— Чего у тебя?

— Да вот, — Спасский подал доверенность.

— «Культиватор, два плуга», — прочитал кладовщик.

Потом взял со стола пачку «Примы» и, когда тракторист закурил, посоветовал: — Приезжай лучше завтра!

Веня выронил сигарету, наклонился за ней, сунул в рот горячим концом, передернулся и сказал:

— Во гадство!.. А почему?

Кладовщик с удовольствием объяснил:

— Потому что сегодня выдать не можем.

— Как это?

— Завбазой нет.

— А завтра чего? Он будет с утра? — спросил Спасский со слабой надеждой.

— Может, с утра, а может, с обеда. Все зависит от обстоятельств.

— Каких?

— Да в основном всевозможных.

У Вени даже голос осел.

— Дак когда? Когда приезжать-то лучше?

Кладовщик опять улыбнулся, причем так приятно, так симпатично, будто был очень рад, что отказывал человеку:

— Послезавтра! Если, конечно, он будет на месте.

Обескураженный, вышел Веня за дверь. «Ему добро, — ревниво подумал про Пашу, который на груди тесин ел картофельные рогульки, запивая молоком, — с него взятки гладки. С него никто ничего не спросит. А с меня? Чего председателю я скажу... Ну гадство!..»

Паша его окликнул:

— Вениаминко! Али кто расстроил?

Спасский пробормотал:

— Начальника нет. Велят приезжать послезавтра.

Паша есть перестал, посмотрел на окно деревянной конторы, нахмурился и, сказав: «Попытаю», пошел по мокрой тропе.

— Как насчет нашего дельца? — спросил, закрывая дверь за собой. — Сочиним его али нет?

На круглом белом, как фарфоровый чайник, лице кладовщика отразилось довольство:

— Ты кто? Бригадир?

— Он самый, — слукавил Паша.

Кладовщик правой рукой навивал на левую цепочку из скрепок. Навив, протянул Паше «Приму». Но тот достал из кармана «Шипку». И спички свои достал. Кладовщик улыбнулся.

— Я ведь, кажется, отказал твоему трактористу.

— А может, зря отказал? — улыбнулся и Паша.

— Зава сегодня нет.

— Зато есть заместитель.

Заместитель похлопал ладонями по столу. Мягко этак похлопал, думая, словно что-то взвешивая в уме. Взвесил не в пользу Паши:

— Вы бы лучше сюда послезавтра...

— Можно, конечно, и послезавтра. Но у нас к той поре все прокиснет, — ответил Паша и шлепнул по правой штанине, за которой угадывалась бутылка.

— Хотите меня подпойть? В рабочее время?

Паша подумал: «Ишь, как трудно к тебе подобрать-ся!» А вслух намекнул:

— Можно и после работы.

— Я не о том...

— А я о том, что у нас не вино...

— А что же? — спросил с ухмылкой кладовщик. И Паша внутренне улыбнулся: «Вот и попался ко мне на крючок».

— У нас белое молочко. Три пол-литры в кабине да этта одна. — Паша погладил рукой по карману.

Кладовщик помял зачем-то лацканы пиджака, потянулся, проговорил задумчиво:

— Культиватор, два плуга... — И вдруг в глазах у него мелькнуло нечто похожее на испуг. Он посерьезнел: — Нет, нет, мужики, не могу. Приезжайте лучше с утра...

Паша понял, что проиграл. Перед ним был не опытный плут, за кого он принял вначале кладовщика, а работник, который болеет за дело и, наверное, рад бы помочь, да на это нет у него полномочий.

Раздался звонок. Кладовщик поднял телефонную трубку, и вдруг по его лицу словно бы зарево побежало.

— Да, да, — сказал он взволнованным голосом в трубку, — Епифанов, я самый. Из «Маяка»? Из «Маяка»

товарищи здесь. Технику? Нет еще. Не получили... После завтра, нет, завтра получают. Сегодня никак. Нет Пядышева. Я. Я замещаю. Да в общем-то ничего. Ничего не имсю. Так, так. Обеспечить? Прямо сейчас? И доложить?

Кладовщик мгновенно преобразился, стал услужливым, расторопным и едва не под ручку вывел Латкина на крыльцо, откуда скомандовал в сторону крана:

— Селиванов! Эй! Подъезжай к культиваторам! Да живее!

Раз, два — и погрузочный крюк уже подцепил культиватор. За ним — тракторный плуг. Потом — и второй. Волокуши крякнули от поклажи, а Веня Спасский, сияя как именинник, махнул пятерней, приглашая Пашу в кабину.

Кладовщик стоял у груженных саней. На лице — просительная улыбка.

— А где у вас молочко? А, бригадир?

— Сичас! — радостно крикнул Паша и побежал за рюкзаком. Вытащил из него одну за другой поллитровки, поставил на снег.

— Ты что, шутки шутить?! Да я вас сейчас разгрузу. Эй, Селиванов! — крикнул кладовщик, махая перчаткой в сторону крана. Но Паша его перебил:

— Ты, гражданин Епифанов, просил-то чего? Разве не молока? Вот оно! Забирай все четыре! Не бойся! Утреннее, еще не закисло! И голова с похмелья не заболит.

#### 4

Белоусов стоял на бровке канавы, смущенным взором разглядывая калитку, мостки, необжитый дом. Дом был с фронтоном, четыре окна занавешены тюлем, шифер на крыше мерцал, и по нему от холмика снега сбегал ручеек.

Сняв замок, Белоусов прошел по сеням, дернул пристывшую дверь. В доме было холодно и пустынно, в углах висела паутина. Белоусов раздвинул все занавески, долго ходил по скрипевшему полу и ощущал, как душу его наполняло что-то давно забытое, напоминающее, что он, Василий Михайлович Белоусов, родился все-таки не в деревне. Действительно, детство свое и юность провел он в таком же маленьком городке и жил



в нем, пока не закончил учебу. С тех пор вся жизнь у него идет по-деревенски: квартирует по пятистенкам, держит стайку овец, корову, по субботам моется в бане, изредка выбирается в клуб и только в дни праздников и собраний надевает новый костюм. От всего городского остались только воспоминания. Они-то сейчас Белоусова и смутили. Перед рассеянным взором его явились домики с окнами на реку, прогулки на лодке, треугольные дальних костров... И вот на закате мужицкого века все это снова стало возможным.

— Однако пора, — вслух сказал Белоусов, вспомнив, что надо зайти в райком, чтобы услышать «добро» на свой переезд из колхоза в город.

Шел Белоусов по деревянным мосткам и как бы видел себя. Видел глазами встречных прохожих здешним, своим, навсегда городским человеком, у которого есть спокойная служба, собственный дом и свободное от работы время, когда он волен засесть за хорошую книгу, выбраться на рыбалку или просто погулять. Размечтавшись, он едва не прошел мимо белого здания с чисто выметенным крыльцом.

Всякий раз, заходя в райком партии, Василий Михайлович чувствовал себя как-то неловко. И сейчас он немного приробел. Дежурный в черном костюме, бегущие вверх меж широких перил мраморные ступени, белый с люстрами потолок — все здесь было внушительным и солидным. И мелькавшие из дверей в двери чисто выбритые мужчины тоже казались какими-то значительными...

— Сам «Маяк» к нам пожаловал! — назвал Холмогоров колхоз, которым руководил Белоусов. — Просить чего?хлопотать?

Улыбка секретаря, приветливый жест, веселый приятельский голос успокоили Белоусова.

— Я, Юрий Степанович, решил немного разбогатеть, — заговорил он. — Приехал за культиватором и плугами. Да не знаю, сумеем ли получить. На базе вечно какие-нибудь задержки. А нам вертаться надо сегодня. Иначе дорога не пустит.

— Ну, это мы живо! — сказал Холмогоров и, энергично сняв телефонную трубку, набрал нужный номер. — Кто? Епифанов? Товарищи из «Маяка» у тебя? Понятно. Опять волокиту разводишь? Немедленно обеспечить! Лично мне доложить!

Секретарь положил трубку и улыбнулся улыбкою человека, который привык выручать людей.

— Ну, а как твое личное настроение? Не передумал с колхозом-то расставаться?

Василий Михайлович, опуская глаза, виновато промолвил:

— Устал, Юрий Степанович.

— А замену себе подобрал?

Белоусов назвал зоотехника Хромова.

— Ну что ж, не буду вставать тебе поперек дороги. А работать ко мне пойдешь? А, друг Белоусов? В общий отдел?

— Вот до отчетного доживем, — ответил уклончиво Белоусов и уже из дверей, окинув преданным взглядом хозяина кабинета, добавил: — А в общем-то, Юрий Степанович, с вами работать — честь для меня большая, и надо до этого дорасти. Сумею ли я?

— Сумеешь, — ответил уверенно Холмогоров.

## 5

Посреди деревни, где лет сорок тому назад стояли массивные пятистенки с коньками на крышах и крыльцами на два взъема, где долгое время цвела лебеда, в прошлом году хорошо поработал бульдозер, вырыв ножом котлован. Сейчас в этом месте дремал под солнцем налитый вровень с берегами пруд. Пастух Паша Латкин в сером заношенном пиджаке, надетом на вязаный свитер, ходил по берсгу с барабанкой, рассыпая на несколько верст деревянную дробь. Из полых ворот скотного двора валом валили коровы.

Земля дышала сырым ознобом, но всюду, где льнул к ней припек, кустилась трава, к которой мыча торопилась скотина. Возле пруда, где стоял никому не нужный забор, коровы ступали грудно и тесно. За стадом шли доярки. И зоотехник Хромов среди них.

— По такому ходу недолго и до беды! — ворчал он. — Вы, бабы, коров не очень-то погоняйте! А то кувырнется которая в пруд — кто вам будет ее доставать?

Но бабам важно было с налету, с бою прогнать коров мимо мутной воды и грязи. Скотина редела, толкалась на месте.

— Я кому говорю?! — крикнул Хромов.

На голос его повернулся бык с широко раставлен-

ными рогами, загородив и без того узкий прогон, и белая легонькая коровенка задрбила копытами по откосу, заскользила и опрокинулась в воду.

Зоотехник сорвал с головы широкую кепку, сжал ее в кулаке и тоном человека, который заранее знает, что, где и когда случится, зычно закричал:

— А? Что? Я ль не предупреждал? Чья корова?

Евстоля Гудкова в коричневых лыжных штанах и халате, застегнутом на булавку, скользя ногами по глине, подбежала к воде:

— Майя! Маечка! Ить потонешь! Ну-ко сюда! Ну-ко давай! К бережку! Эко ты, недотепа! Куда? Куда же ты, Майя-а-а?

— Твоя? — спросил утвердительно Хромов.

— Моя, — отмахнулась Гудкова. — Чего тебе?

— Того, что надо было глядеть!

Евстоля подобрала валявшуюся в ногах веревку, сделала петлю, метнула ее на рога, но промахнулась. Ее круглое, как мытая брюквинка, лицо покраснело от обиды.

— Ты, Олег Миколаич, не по адресу обратился! Доярка где за коровой дозорит? На ферме! А на воле пущай дозорит за ней пастух.

Не терпел зоотехник подсказок, но в этой он уловил здравый смысл и потому потребовал с раздражением:

— Пастух! Где пастух?

Латкин, чуя неладное, сам прибежал на крики. Черными, остренькими глазами ястребино обвел белевшую на воде рогатую морду, оторопелые лица доярок и зоотехника с кепкой в руке.

Зоотехник топнул ногой.

— У хорошего пастуха коровы небось не тонут. А у тебя?

Паша растерянно замигал, уловив злое предупреждение.

— А у меня кто утонул? Эта, что ль? Дак вроде еще живая.

Зоотехник стал красен. Ему показалось, что Латкин смеется над ним.

— Ты мне придурка не строй! Утонет корова — все лето будешь работать бесплатно!

Пастух оскорбленно заозирался, словно ища того, кто мог бы за него заступиться. Но доярки точно воды в рот набрали, а подошедший Баронов мямлил свои тол-

стые пальцы и расстроенно бормотал: «Ох ты, нелегкая, ох ты, беда!..» — Паша пожалел самого себя. Но еще более пожалел он корову, которая вдруг утробно и жалобно прокричала. Пора было что-то делать...

Зоотехник, доярки и бригадир смотрели, как Латкин снимал литые длинные сапоги, брюки и вязаный свитер. Остался в маечке и кальсонах. Подумал — и маечку снял, выхватил у Евстолии конец веревки и, разбежавшись, отчаянно бросился в пруд. Бешено колотя руками, он кое-как подобрался к морде коровы и, трясаясь от продравшего до костей холода, накинул петлю на рог.

За веревку тянули доярки и бригадир, зоотехник стоял в стороне. Корова с грехом пополам выбралась на откос, а Паша отстал, протянул зоотехнику руку.

— Пособи!

Не торопясь, с недовольной гримасой Хромов присел, поймал сырую ладонь Паши, ойкнул и, едва не подмяв пастуха, рухнул в пруд.

Напугаться он не успел. Зато успел возмутиться. И был он в эту минуту так несуразен и так смешон, что доярки стали зажимать рты, чтобы не захохотать во весь голос. А Паша, успевший подняться на бережок, удивленно спросил:

— И как это вышло, не понимаю? Наверно, ты, Миколаич, приоскользнулся?

Хромов выбрался из пруда, посмотрел на Пашу не прощающим взглядом и, ничего не сказав, направился к дому.

И Паша, надев одежонку, затрусил было в деревню, однако Баронов остановил:

— Ты чего это? А кто коров-то будет пасти?

Латкину было холодно, зубы стучали так, что он еле промолвил:

— Кто-нибудь, но не я. Али не видишь — весь околел?

Баронов взмолился:

— Паша! Будь другом!

Но Паша слушать его не стал.

Бригадир заскочил в контору, нашел председателя и сказал:

— Михайлыч! Коров-выгнали в прогон, а некому и пасти!

— А где пастух?

— Вон! — бригадир показал на окно, за которым Ва-

силий Михайлович разглядел Латкина. Председатель поспешил на улицу.

— Это куда?

Латкин съежился.

— Греться!

Председатель поднял руку и рыжеватыми длинными пальцами взворошил волосы на затылке.

— Пошли! — сказал. Он взял Пашу под локоть и повел его к своему пятистенку. — Лучше я сам тебя обогрею! А ты, бригадир, — обернулся он к Баронову, — пока за коровами последи!

В доме у председателя не было никого, и хозяин распорядился скоро. Принес трусы и брюки. Латкин бы и надел их, да трусы оказались настолько велики, что в них мог бы поместиться еще один человек. Белоусов принес другие. Паше они подошли. Правда, смутили его резинки: не одна, как у обычных трусов, а три. Поглядев на хозяина с подозрением, Латкин спросил:

— Бабы?

— Ну и что! Под брюками кто-то видит.

Брюки тоже оказались огромными, но Василий Михайлович подал обрывок шпагата.

— Подвжись. Под пиджаком и не знать...

Облачился Паша в сухую одежду, выпил остаток в бутылке и, закусив, поспешил на выгон.

Белоусов глядел на узкую спину тщедушного пастуха и думал: «Пошел человек на работу... А мог бы и не пойти. Мог бы даже с расстройства напиться и пришлось бы тогда его наказывать, хотя после этого он бы остался таким, каким и был, только обиделся бы и натворил еще что-нибудь. А сейчас все ладно». Белоусов считал, что в Сорочьем Поле худых людей нет. Есть лишь уставшие. Кто-то устал от самой работы, кто-то от ссор и скандалов с женой, кто-то от дерзкой надежды жить независимее и богаче, кто-то от мысли, что он работает хорошо, а его почему-то не замечают... Уставшим надо помогать, полагал Белоусов.

В кабинет Василий Михайлович возвратился довольным. Он верил, что дальше будет лучше: и работа пойдет спокойно, и люди станут друг к другу добрей.

В урочищах темной, как деготь, реки Песью Деньги — чернолесье, ивняк да мелкие полянки. По этим-то луговинкам и водит Паша коров. Это с утра, когда скотина быстра на ногу и голодна. А к вечеру, когда поднаестся и станет ленива, приведет ее на Игнатьевский выгон, где место открыто на несколько верст и где растет в изобилии белая полевица.

После обеда к Паше обычно сбегаются ребяташки. Заслышат дуду, которой он заменил не совсем удобную барабанку, и спешат. Прибегут, окружают галдящей стайкой, и кто-нибудь обязательно скажет:

— Вот и мы, дя Паша! Ждал?

— А как же, точена мышь! — ответит пастух. — Вон семейка-то у меня. Все к деревьяцам норовит. А наги-нать-то их рук не хватает.

Пойдет пастух впереди по сквозным зеленым прогалам. И ребяташки за ним. Рады облазить все осинки. Скотина довольна. Хрустит молодой листвой.

Чтобы не растерять стадо, Латкин время от времени достает из-за длинного голенища дуду. Дует в нее, сочиняя нехитрую песенку-забавушку. Скачет песенка с ветки на ветку, раздается по рощам и кустам, извещая стадо о сборе. Пареньки, умаявшись на деревьях, тоже спешат на залиvistый зов. Русоволосые, с голубыми глазами, в простой и легонькой одежонке, они бегут по желтым от хвойных иголок тропинкам, как беспечные, бойкие ветерки, которым дана безмятежная воля. А Паша возле ворчащего, как старичок, ручейка запалит костер, скинет с ног тяжелые сапоги, прикурит от уголька и, вытащив из огня накаленный докрасна провод, начнет прожигать в батожке дыру.

Тепло и покойно вокруг. В прохладе теней лежит присмирившее стадо. Сквозь навесь листвы дрожит синева, в которой летают желтенькие овсянки. Никуда бы, кажется, не ушел отсюда — все сидел и сидел бы, внимая звукам и запахам луговины.

Сегодня, как и вчера, у костра ватажка ребят. Каждому хочется знать, для кого же из них дядя Паля готовит дуду. Сидят на корточках возле огня, пекут картошку и смотрят на узловатые руки, в которых мелькают то огненный провод, то нож, то искрасна-бурая заготовка.

Чует Паша ребячьи взгляды. Чует и то, как кто-то стоит за ближней ольхой, выжидаяще долго стоит и смирным и ласковым взглядом осторожно следит за ним. Смахнув с живота ольховую стружку, пастух буровит глазами лес.

— Ну-ко, Васька! — кричит бригадирову сыну. — Загони Рыжуху назад!

Толстопятый, веснушчатый Васька в кепке с надломленным козырьком кидается было в лес, но Паша ему вдогонку:

— Да вицу, вицу сломай! А то Мартику недолго тебя и на рожки! На рожках-то не бывал?

— Не, — признается Васька.

— Это поправимо! Быков-то всяко ведь не боиссе?

Васька запнулся на ровном месте, встал, как столб на меже, ковыряет сандалиной травку.

— Не боюсь небодучих, — говорит, обернувшись к костру, — а этот воно какой...

— А ты видел его? — Паша встает, шурша по траве, подходит к кусту и подымает оттуда крохотного теленка. — Вот он наш Мартик! Не грозен?

Ребятишки, хихикая, смотрят, как Васька, отбросив ненужную вицу, храбро бежит в березняк и выгоняет оттуда корову.

Стало прохладно. Заныли тоскливые комары. Лютики возле ручья зашевелили легкими лепестками, собирая их в крошечные желтые кулачки. Паша, взглянув на часы, велит ребятишкам тушить костер. Дуда почти готова. Прожжена в сердцевине дыра, нарезаны альтовые насечки.

— Кому?

— Мне!!! — разносится по опушке.

Паша задумался, проследил, как мимо него летел синий жук, но столкнулся с травинкой и, словно с обрыва, спикировал и зарылся в коровью коврижку. Пастух объяснил:

— Загану вам загадку! Кто отгадает — того и будет! Летит по-птичьи, говорит по-бычьи, на землю падет — по колено войдет?

Никто и подумать еще не успел, а бригадиров сын уже выпалил:

— Жу-ук!

Латкин встал с березовой плашки и, подав бригадирову сыну дуду, спросил:

— Знал, поди-ко, загадку-то, а?

Загорелое, в конопущках, с задорным носом Васькино лицо засияло гордостью.

— Не! Я зоркий! Я видел, как он пролетел и упал. Точь-в-точь как в загадке...

— Ладно, точенамышь, — остановил его Латкин. — Подымай теперь нашу семейку.

Но дуда не слушается Васьки. Паренек дует так, что щекам больно, а вместо звуков — урканье да шипенье. Возвращая Паше дуду, он заявляет:

— Она недоделана — дырка тонка.

— Неужто тонка?

— Тонка!

— А может, Васильюшко, тонка-то не дырка, а что? — сверкает Паша глазами, переводя их с Васьки на других сорванцов.

— Кишка!!! — раздается на всю луговину.

Васька краснеет, хочет как-то поправить свою оплошность, но о нем уже позабыли. Облепив пастуха, ребята веселой стайкой идут Игнатьевским выгоном и слушают, слушают, как дядя Паля на новой дудке выводит мотив неслыханной песни.

— Дядя Паля! — кричат ему вперевой. — Ты чего такое забавненькое свистел?

— «Чижика», — объясняет пастух, — песенка есть такая. Спеть вам, что ли?

— Спой! Спой!

От поскотины до деревни минут тридцать ходьбы. Пока шли, разучили ребята всю песню, и так понравилась она им, что пели ее целый вечер.

Чижик, чирик, где ты был?

— Да на болоте воду пил.

Да выпил рюмку, выпил две —

Да зашумело в голове.

Стали чирика лозить

Да стали в клетку садить.

Чижик в клетку не хотел

Да встрепенулся, улетел,

Да развеселую запел.

...Если бы Латкин знал, какие последствия вызовет песня, то он бы ее и не начал. Но разве мог он подумать, что «Чижика» будет слушать директор школы Колошеницын, человек хотя и скромный, но строгий, кого крестьяне Сорочьего Поля немножко боялись и уважали, —



слушать, сидя за книгой возле распахнутого окна, и возмущенно покачивать головой: «Да разве так можно? А если об этом узнают в районе? Образцовая школа. С учебой все так поставлено, с дисциплиной...»

Наутро Колошеницын принял срочные меры. Всех, кто пел, одного за другим вызвал к себе в кабинет и строго-настрого предупредил:

— Чтобы это было в последний раз!

Узнав, кто научил ребят этой песне, Колошеницын явился в контору сказать Белоусову, чтобы тот хорошенько пробрал пастуха. Председателю было не до проборок. Вот уже целый месяц среди множества прочих дел он ломал свою голову над вопросом, как бы сколотить бригаду для постройки комплексного двора. Строили этот двор в прошлом году заезжие молдаване, да вышла задержка с довозкой шифера и стекла. Строители были готовы и подождать, но с условием, чтобы колхоз оплатил им простой по среднесдельной. Василий Михайлович отказался и этим лишил стройку рабочих рук.

Слушая жалобу на пастуха, Белоусов глядел на директора школы тупо и отвлеченно. Колошеницын сидел перед ним в ненаошенном, будто только что снятом с плечиков сером костюме, немного полный, немного румяный, с полотняной кепкой в руке, и наставительным голосом убеждал:

— Вы уж ему внушите, что не каждую песню можно на улицу выносить. Там про рюмочки всякие... И это детворе!

Белоусов любил извлекать из беседы какую-нибудь да пользу и теперь, не видя ее, слушал директора с легкой досадой. У него срывается стройка, надо срочно искать людей, а тут сиди и лови ушами всякую мелочь, а потом принимай меры, воспитывай. Чтоб не очень затягивать разговор, Василий Михайлович пообещал:

— Ладно, ладно, с пустухом я сегодня же разберусь.

Белоусов увидел, с каким достоинством, не спеша, поднялся Колошеницын, как натянул на голову кепку, держа ее за белый коротенький козырек. И тут Василий Михайлович спохватился, в голове мелькнуло соображение, и он взглянул на директора с интересом:

— Вы бы, Андрей Андреевич, тоже могли мне помочь!

Колошеницын растерянно улыбнулся.

— Я? Со всем удовольствием! Только чем?

— У вас ведь мастером по труду Корюкаев?

— Да.

— Так он же умеет крыть крыши, и окна стеклить, и столярить!

— И что?

— Уговорите его поработать у нас на строительстве фермы. Вместе с ребятами старших классов. А?

Колошеницын повеселел. Он был патриотом своей восьмилетки и очень гордился, что школа его считается образцовой в дисциплине и в учебе. А теперь может стать образцовой и в труде!

— А что? Это, пожалуй, идея! — сказал он с вдохновением. — И уговаривать даже не буду, а настоя! Корюкаев с группой ребят возводит в колхозе молочный комплекс! Это ж для школы большущая честь! Это же так сейчас современно! Ну, Василий Михайлович, спасибо вам за идею! Только не забудьте про пастуха.

Про пастуха Василий Михайлович не забыл. В этот же вечер отправился к Паше. Зайдя в Пашин дом, постарался придать лицу скорбное выражение.

— Садися, Василий Михайлович, в ногах правды нет! — встретил его хозяин.

— Ничего. Я постою.

Паша сочувственно посмотрел на мокрую шляпу, блестящий плащ и лужицу под ногами.

— Дождит?

— Дождит, — ответил Василий Михайлович, хотя мог бы не отвечать, потому что Латкин сидел у раскрытых створок окна, в которое врывались косые подстрешные всплески.

Лицо у Паши было сырым: только что с пастбища возвратился. Его брезентовый плащ сушился на голбце. Кивнув головой на стол с двумя пол-литровыми банками молока, буханкой хлеба и палкой ливерной колбасы, Латкин сказал:

— Поужинаем, может, вместе?

Василий Михайлович отказался:

— Нет, нет. Я, собственно, на два слова. Думаю, мы по-хорошему договоримся.

— Об чем?

— О том, чтобы не было больше того, что случилось вчера.

Паша провел ладонью по мокрым волосам.

— Вчера, кажись, ничего не случилось.

— Это для нас с тобой не случилось, но для директора школы, учителей... Зачем ты, Паша, поешь при ребятах такие песни?

— Я не знаю. — Паша вдруг почувствовал необходимость немедленно оправдаться. — Песня вроде как песня, веселая даже, ни одного худого словечка.

Белоусов качнул головой, и с полей капроновой шляпы посыпался дождь.

— И все же, Паша, возьми себя в руки. Не впервые я слышу жалобы на тебя.

— Не даю гарантию. И завтра могут прийти робатешки. Али мне с ними как бука?

— В крайность-то не впадай. Я ведь только о песне просил. Не надо, чтоб пели ее ребята.

Уходил Белоусов от пастуха виновато, грустно. Дома у него — никого. Серафима, взяв отпуск, уехала с дочкой в город. Там и живут. Светлана даже устроилась на работу.

Василий Михайлович закурил. Показалось ему, что купленный в городе дом может нарушить всю семейную жизнь.

Обстоятельства принуждали его сделать выбор: уехать в город или остаться. Уехать, стало быть, бросить тех, кто верит в него. Остаться — усложнить отношения с Серафимой и, может быть, дать ей повод порвать с ним. Такое было бы невыносимо. На склоне лет оказаться одиноким... Это ж трагедия, беда! И такой покинутостью повеяло вдруг в комнате, что Василий Михайлович круто задумался о себе. Задумался, как об оставленном всеми маленьком человеке.

Он выключил свет и вгляделся в окно, которое стало черным, лишь слепо мелькали сердитые всплески. Волнение охватило его, когда в пелене дождя почудился ему силуэт живого лица покойной Натальи, первой своей жены. А секунду спустя увидел и сына. Но только вытянул руку, как силуэты отодвинулись от него, ушли в ночную глубину и стали совершенно неразличимыми. «Скорей бы утро», — думал Василий Михайлович, укладываясь в постель, и жалел, что не с кем сейчас обмолвиться словом.

Лежал Белоусов под стеганым одеялом, слушал всплески дождя и старался понять, чем же его покори-

ла вторая жена? Вероятно, тем, что была краснощекой, пышной, как отборный пшеничный суслон, говорила мягко и нежно, словно укладывала в постель, и еще умела хорошо готовить. И хотя женился Василий Михайлович три года тому назад, ему все почему-то казалось, что это было недавно, на днях, и он не может никак привыкнуть ни к Серафиме, ни к дочке ее, ни к тому, что обе они аппетитно румяны, любят кино, карты и конфеты и каждое лето мечтают поехать в Москву. «Надо будет их отпустить, — подумал Василий Михайлович, засыпая, — пусть поглазеют...»

## 7

Сегодня, как и вчера, не бегут ребятишки на голос дуды, и Паше без них чуть-чуть грустновато. Да еще допимает забота о Майке, той самой белой корове, которая искупалась в пруду и стала тоскливой. Уж чего только не пробовал Паша, чтобы избавить корову от мук. Но ни настой березовой чаги, ни растирание водкой не помогали. Не зная, что делать дальше, Паша обратился к Хромову.

— Надо корову лечить. Простуженая. Кашляет, как чахоточный человек.

— Надо лечить, — согласился с ним зоотехник.

...В тот же вечер Паша сбегал к ветеринару, который осмотрел корову и озабоченно наказал:

— Беречь от холодной росы, от дождя...

Но дождик случился. И в этот день, и в другой, а на третий выпал град. Высыпал так обильно, что Игнатьевский выгон весь побелел, и скрип стоял под копытами у коров, и отовсюду веяло холодом и ненастьем.

Зато после парило, и луговина, как после бани, была свежей, чистой, помолодевшей. А после обеда к обмытой дождями земле привалил тяжелый удушливый зной. Коровы совсем утомились.

Особенно худо чувствовала себя Майка. Пастух измучился с ней, подымая с земли то куском пирога, то вицей, то громкой бранью. Корова и рада бы покориться, да ноги слушали плохо, в мутных глазах колебался смертный туман.

Под утро, когда доярки пришли на дойку, Майка лежала с бессильно опущенной головой. Зоотехник приказал прирезать ее. Но Евстоля не подпустила к коро-

ве пришедшего с ножом конюха Тимофея, умевшего как никто резать скотину, а Хромову хмуро сказала:

— Для чё резать-то приказал? Али уж не оживет?

Через час, когда корова совсем опустила голову на пол и бока ее приопали, Олег Николаевич отыскал глазами Евстолю, а потом подошедшего пастуха и сказал:

— А ведь кому-то придется и отвечать.

В ворота фермы желтой рекой вливалось раннее солнце. Хромов шел на него, загораживаясь ладонью. Шел и слышал, как за спиной раздавался ропот доярок. И голос конюха Тимофея слышал, который, кажется, защищался и начинал кого-то бесстрашно ругать. «Уж не меня ли?» — подумал Хромов и цыкнул слюной, попав на вросшее в землю тележное колесо.

Шел седьмой час, но дверь в контору была открыта. Председатель сидел за столом. Сообщив о смерти коровы, зоотехник тоже уселся.

— От простуды, выходит, она? — сказал рассеянно Белоусов.

— Оттого, что пастух водкой ее напоил!

Председатель поставил локоть на стол и навалился щекой на ладонь.

— Невероятно!

— Невероятно, но факт. От этого и подохла.

«На шальное ум есть, — подумал Василий Михайлович о Латкине, — а на дельное, видимо, не хватает...»

— Что будем делать? — спросил зоотехник.

Белоусов вздохнул. Вот он, вопрос всех вопросов, который приходится слышать ему каждый день: что будем делать? Он понимал: ему дана власть и надо ею распорядиться так, чтобы колхоз не остался в убытке, человек — в беде. А тут приходилось делать выбор: ила Паша, или колхоз... Белоусов пробормотал...

— Штрафовать?

Хромов откинулся к спинке стула.

— Слишком ты мягок, Василий Михайлович. А не лучше ли полную стоимость? Какова цена корове?

— Нет, так нельзя, — сказал председатель тоном уставшего человека, — так будет слишком жестоко.

Хромов встал, выражая всем своим видом: «Напрасно споришь со мной, председатель, тебе я не уступлю». На лбу Белоусова, образуя крест, пересеклись две продольные и две поперечные морщины. Он понимал, что

обижать Хромова нельзя, он может вспыхнуть и написать заявление на расчет.

— Значит, настаиваешь, — сказал уступаяще Белоусов, — чтоб полную стоимость из зарплаты?

— Полную.

«Может быть, он и прав, — думал Василий Михайлович, после того как зоотехник с видом человека, одержавшего в споре верх, ушел. — А если не прав? Вот ведь какая задача... Каждый-то день что-нибудь... А ведь не солнышко я в конце-то концов. Всех не осветишь, кого-нибудь да оставишь в тени...»

Чем дальше Василий Михайлович размышлял, тем сильнее портилось настроение. Он знал многих руководителей, которые считали, что власть заключается прежде всего в умении наводить надлежащий порядок. Для него же власть была чем-то вроде обязательства, взятого перед людьми, сделать для них жизнь такой, к какой они сами стремятся.

— Латкин! Латкин! — сказал вслух Белоусов. — Что же с тобой предпринять? Полтыщи рубликов из зарплаты...

Председатель курил папиросу за папиросой, в голове его, угоревшей от дыма, тонко звенело, и никакое дело не шло на ум. «Надо бы на ферму», — понял он. Уж очень хотелось, чтобы слух о том, что Паша спаивал водкой корову, не подтвердился.

Спросил чистивших двор доярок, а те как одна:

— Поил!

— Жаль, — сказал Белоусов, остановясь против конюха Тимофея, сдиравшего длинным ножом шкуру с подохшей коровы. — Теперь худенько ему придется.

— Это кому? — спросила Евстоля, поставив скребок к заборке. — Паше?

— Ему. Придется наказывать рубельком.

— Василий Михалыч, виноват-то не Паша, а зоотехник! С него и высчитывай!

Доярки кричали наперебой, и понять их было почти невозможно.

— Ладно, — сказал он, — потом разберемся, потом...

Председатель ушел. Доярок это сначала смутило, потом удивило и заставило думать о нем с досадой и неприязнью. Загорелся сыр-бор.

— Ему теперь чё? Ему бы Хромова не забидеты!

— Преемничек, как же!

— Вот оно ноне-то: наши плачут, а ваши пляшут!  
— Али за Пашу не постоим?!  
— Верно, девки! Пастух рад на работе убиться, а его же и штрафовать?!

— А давайте! Опишем всю правду!  
— Надо! Кто грамотней-то у нас?  
— Маруська! Та, гляда, восемь классов кончила?  
— Было дело! Писать-то куда?  
— В райком партии, девки! Самому Холмогорову! Уж он шороху наведет!

— Ты, Тимоха, когда в район-то поедешь?  
— Сегодня после обеда.  
— Ну вот, письмо бысролетиком долетит! Ладно, Тимоха?

— Мне что...

Каково же было смущение Белоусова, когда на другое утро он услышал в телефонной трубке голос первого секретаря:

— Ты что это, друг Белоусов, людей своих обижаешь?

— Как обижаю?

— Я, друг Белоусов, от твоих доярок петицию получил. Пишут, что хочешь оштрафовать пастуха за то, что тот спасал жизнь корове.

— Но корова подохла, — сказал Белоусов неуверенно.

— А пастух тут при чем? Вот зоотехника наказать — это дело! Слышишь?

— Слышу, — сказал Василий Михайлович и осторожно, точно трубка могла раздавить телефон, положил ее в гнездо.

День продолжался с такой же, как и вчера, хозяйственной канителью, звонками из города, хлопаньем двери, в которую заходили то счетовод, то разобиженный Веня Спасский, ожидавший больше недели обещанных запчастей к трактору, то угрюмый Баронов с просьбой снять его с бригадиров.

Сидел Василий Михайлович за столом, уставший-преуставший и, едва запевали петли двери, понуро гадал: «Кого еще несет?»

В выходные дни и в теплые летние вечера Белоусову скучно в своих хоромах. Жена уволилась с маслозавода, и теперь не поймешь, где чаще она живет, то ли в городе, то ли в деревне. Белоусов попробовал как-то ее пристыдить, так она сказала ему, что может совсем от него уехать. Василий Михайлович затужил, выкурил три папиросы и понял, что дело его худое.

Вскоре его захватила идея. Едва ли не каждое воскресенье стал он бродить с лопатой по склонам ручьев и берегу Песей Дензги, разыскивая карьер, откуда бы можно было возить на дорогу гравий. «Самим взять и изладить проселок! Нечего ждать», — решил он. Но для начала надо было найти богатый карьер.

От Вытегры через Вологду на Великий Устюг, умытая землей ливнями и дождями, прошли грозовые тучи. Запахло зеленым и влажным. Попер в рост колосковый пырей. Зацвела по канавам татарская лебеда. Белоусов сбросил брезентовый плащ и ходил налегке — в пиджаке без подкладки и старых полуботинках, какие когда-то носил его сын. Делал в разных местах прикопки. Пока не везло. Но это его не очень и угнетало. Он ходил, отклоняя руками ветки, пропитывался насквозь зеленым духом листвы, грудь дышала свободно, и было ему так хорошо, что он ничего не помнил, растворяясь в просторе летней природы, и как бы заново жил. Жил в переливах ручья под горкой, в сороке с крохотным сорочонком, бойко скакавшими меж лопухов, в чаще деревьев за картофельным полем. Порою он с замиранием сердца смотрел и слушал вокруг себя. Коровы на взгорке, шелест теплого ветерка, жужжанье шмеля над кустиком голубики... Как бы ему хотелось, чтоб было все это и завтра, и послезавтра, не старело, не умирало, не уходило никуда и жило бы здесь постоянно. Но время летело, и Белоусов в каждое новое воскресенье видел в природе резкую перемену. Давно ли гомонили хоры прилетных птиц, подымалась трава, одевались кусты и деревья свежей листвой!.. И вот уже в прохладных вечерах слышны шаги отходящего лета, в зеленые волосы леса вплетается легкая позолота, крестьяне спешат завершить сенокос, луговые стрижи готовятся к дальнему перелету.

На отходе погожего дня любил он пройтись по лес-



ным прогалинам. От белых цветов седмичника, от солнца, продравшегося сквозь хвою, от беспечного посвиста мухоловок было так уютно, и на сердце ложилась сладкая грусть. И почему-то думалось о былом, о тех днях, когда он жил душа в душу с покойной своей Натальей и растил с нею маленького сына. Жил и не думал о будущем, и было все ладно, все хорошо, любая пища, одежда устраивала его, и работать хотелось много и ненасытно. Теперь он часто ловил себя на этом хорошем и грустном чувстве, чувстве зависти к себе прежнему, каким он больше уже никогда не будет.

Оставляло его это чувство после того, как он возвращался в деревню. Возвращался обычно в тот час, когда навстречу коровам и овцам выходили доярки, старухи и ребятишки. Кто с ломтиком хлеба, кто с виццей, кто с ласковым словом. В вечерующем воздухе раздавалось:

— Ванюшка? Ты где, неварóвый? Воно Узданка! Поди-ко скорее застань!

— Муранушка-то моя! Охти мне, вся-то искусана! Кто тебя эдак?..

— Михайло! Генку мово не видел?

— Он на пруду карасиков ловит!

— Воно-ка что! Велела коровку загнать, а он...

Не скоро Сорочье Поле уgomонится от перезвона колокольцев, от окриков, переключек, от скрипа калиток и отводков, бряканья ведер и сытого радостного мычания. А когда все замолкнет, уйдет под крыши, в подворья и за ворота, на деревню опустится волгая тишина с запахом клевера, дыма и медуницы.

Сегодня Василий Михайлович предоволен. В часе ходьбы от Сорочьего Поля на сухой вересовой гриве меж Песьей Деньгой и Доровицей он нашел-таки карьер. По примерным его подсчетам гравия здесь получалось так много, что можно будет засыпать им «глинки», самый тяжелый участок дороги, длиной в километр, где несколько раз на неделе застревают грузовики. Спешил председатель домой, думая о колхозе: «Вот дорогу изладим, вот выстроим двор, тут-то мы силешку и наберем...»

Подходя к своему пятистенку, Белоусов увидел замок, и сердце его томительно сжалось: «Опять уехала».

Оставаться дома было тошно, тем более в клубе се-

годня концерт, и Белоусов, на скорую руку перекусив, заторопился на волю.

Концерт шел вовсю, и зал, зеленеющий с боков от сдвинутых штор, был неподвижно сосредоточен. Белоусов в поисках места прошел, нагнувшись, в первый ряд, где сидели директор школы с женой, зоотехник и Паша Латкин.

На сцене стояла группа мальчишек с красными звездами на груди, в белых гольфах и белых рубашках, аккуратных, чистых мальчишек. Под звуки баяна они пели «Юных кавалеристов». Белоусов слушал с трогательным вниманием. И когда ребята закончили петь, вместе со всеми захлопал.

Тяжелый бархатный занавес неторопливо поплыл, скрывая сцену от зала. Колхозники ждали. Минуту. Две. Но никто из артистов к ним не спешил. Внезапно со сцены послышался шепот, очень нервный и раздраженный, словно кто-то кого-то ругал и никак не мог наругаться. Наконец простучали шаги. Занавес колыхнулся — и к зрителям вышла Лариса Петровна с высокой прической и белым платочком в руках.

— По непредвиденным обстоятельствам, — сказала она, — в концерте случилась заминка. Так что прошу, дорогие товарищи, минуточку потерпеть! — И только Лариса Петровна хотела юркнуть назад, как кто-то с задних рядов недовольно спросил:

— Где седни конферасье?

— Нету его, — сказала Лариса Петровна, — вернее, есть, но он неожиданно заболел.

— Это Борька-то заболел? — гаркнул все тот же настойчивый голос. — Да когда он успел? Час назад я видел его в полном здраве!

— А я в здраве и есть! — откликнулся Борька и, распахнув закачавшийся бархат, прорвался сквозь чьи-то руки на кромку эстрады.

Борька был красен. И красен, естественно, от вина, которого выпил перед концертом для храбрости. Лариса Петровна взглянула на зрителей с жалкой улыбкой и поспешила скрыться. А Борька, вспомнив, зачем он тут, сверкнул металлическим зубом и песенным голосом затянул:

— Я куплеты вам спою... — И вдруг испуганно заморгал и рот приоткрыл, потому что забыл продолжение.

— Чё затих? — спросил сочувственно Латкин, но спросил слишком громко, и его услышал весь зал.

Борька, имевший привычку злиться по пустякам, глянул на Пашу с остервенением.

— Ты, что ли, меня заменишь?

— Я, не я, а все ж... — слегка стушевался Паша.

— Нет, ты! — улыбнулся Борька кривой улыбкой. — Давай! Приглашаю сюда! Давай!

Паша взглянул на длинные Борькины ноги в лакированных полуботинках, на его голубой эстрадный костюм, специально купленный для концертов, на скуластое заносчивое лицо, на котором сияло злорадство, и понял, что с парнем схлестнулся он зря.

— Долго ждать, Павел Иванович? — потребовал Борька. — Ежели ты не бахвал, так изволь! Во сюда! Покажи, на что способен!

Паша вспотел, встал и неверной походкой направился к сцене. «Куда я вылез? Куда?» — думал он, подходя к куплетисту, который стоял, будто двухкрыжая тумба на берегу, и руки скрестил на груди, выражая всем своим видом презрение к Паше. Понимая, что дальше молчать нелепо, Латкин сказал:

— И чего бы такое? Чего?

— Анекдот травани, — посоветовал Борька.

Паша приободрился.

— Анекдот в общественном месте нельзя, — сказал он, почувствовав в себе ту особо приятную легкость, какая снимает с души напряжение и неловкость.

— Тогда сценку из нашей жизни, — бросил усмешливо Борька, уверенный в том, что Паша эстрадных сборников не читает и, значит, предстанет сейчас перед залом в глупейшем виде.

— Сценку? А что? Это мы можем. Только знаешь чего? — Латкин ткнул пальцем в плоский живот Борьки. — Не путайся под ногами. — Ткнул и внимательно посмотрел, как пяťся, куплетист исчез за бархатом.

Паша, оставшись один, изумил всех своим дерзким проворством, с каким он отвесил низкий поклон.

— Авось и не оплошаем!

— Прекратите! — шепнула стоявшая где-то в невидимом месте Лариса Петровна.

Но Паша входил в игровой азарт, словно вселился в него какой-то веселый бесик, с которым стало ему легко и беззаботно.

Белоусов почувствовал, как лицо его глупо заулыбалось, тогда как надо было держаться солидно. Он задел зоотехника за рукав. «Во кого надо завклубом-то выдвигать!» Хромов презрительно промолчал, показывая этим, что он с председателем не согласен. Между тем Латкин радостно объявил:

— Возвращение Ларисы Петровны на ферму! — и, присев, начал двигать щепотками пальцев то вверх, то вниз, изображая ручную дойку. Поднявшись, внимательно поглядел на ладони и, испугавшись, что те замарались, стал торопливо их вытирать.

В зале послышался сдавленный смех — так обычно смеются в местах, где надо вести себя сдержанно и прилично. А Латкин, чуя поддержку, совсем осмелел и завывагивал, словно артист, который всю жизнь играл на сцене.

— Бригадир Василий Баронов ищет днем с фонарем... кого? — тонко воскликнул он.

— Доярку! — откликнулся зал, да так дружно, так громогласно, что закачались шторы на окнах, а бригадир, сидевший в заднем ряду, опустил смущенно глаза и стал зачем-то разглядывать руки.

Зал смеялся уже открыто, тут и там блестели глаза и чей-то шмелиный голос настойчиво умолял:

— Давай, Паша! Потешь! Пожалуйста, что-нибудь! Посмешней!

Но Паша одновременно с этим шмелиным баском слышал и злой шепоток, шелестевший сквозь занавес, точно ветка шиповника по рубaxe:

— Перестаньте паясничать! Уйдите со сцены! Или будьте серьезными наконец!

И Паша немедленно посерьезнел. Постоял, подождал, пока смех не затихнет, и бросил с вызовом в зал:

— Люблю говорить закомурами! Называйте слово — складу загадку!

По рядам прокатился радостный гул. Кто-то крикнул:

— Луковица!

Латкин думал не больше секунды.

— Сидит Любка в семи юбках, кто ее раздевает, тот слезы проливает.

Доволен зал занятным началом. Снова кричат:

— Кольё в огороде!

Паша будто скорлупку сплюнул:

— Два братца одним пояском подпоясались!

Заявки посыпались одна за другой:

— Репа!

— В землю крошка, из земли лепешка.

— Блоха!

— Черненько, маленько, а мужика шевелит.

Совсем колхозникам стало вольготно. Каждому слово охота назвать. Сколько слов — столько загадок.

Белоусов был в отличнейшем настроении. Он ткнул зоотехника в бок. «Во у кого завклубу-то нашему поучиться!» — И спохватился, вспомнив, что Хромов Ларисе Петровне приходится мужем и может, стало быть, рассердиться.

Зоотехник действительно рассердился, и не только на Белоусова, не только на Пашу, но и на тех, кто сейчас задавал вопросы, выкрикивал с мест, сиял глазами и улыбался. И потому он резко поднялся, щелкнув сиденьем так, что самому стало от этого неприятно.

— Мне кажется, — начал он, — пришли мы сюда посмотреть нормальный концерт, а не какие-то кривлянья! — При этих словах зоотехник побагровел и добавил более веско: — За срыв концерта еще нигде никому не прощали. И я считаю...

— Не надо меня считать! — перебил его Паша. — И страшать меня тоже не надо! Коли спросите, почему, то отвсчу: весел-человеку нече бояться. За весел-человека весь свет стоит!

В зале поднялся смех, шум и топот. Люди вскакивали с сидений, размахивали руками, и каждый спешил что-то громко сказать, хотя никто никого не слушал. «Почище, чем у сорок», — усмехнулся Белоусов. Он был рад, что пришел на концерт, и теперь, выходя на крыльцо, с досадой подумал о том, что слишком рано закончился вечер и надо опять возвращаться домой.

В сумерках улицы смутно виднелись длинные избы, напоминая плывущие по ночной реке молчаливые баржи. Деревья были черны, и каждый лист чутко прислушивался к шагам, глухо шуршавшим в мягких муравах. Над Сорочьим Полем смыкалась ночь, ведя за собой стаи звезд, половинку луны и влажные запахи ближнего луга. Белоусов вдыхал их и чувствовал, как его начинает что-то опять беспокоить. Нечто подобное он испытывал вчера, и третьего дня, и на прошлой неделе. В затайках души он ощущал кого-то уютного, тихого, кто, казалось, в нем жил с давних пор, не желая с ним расста-

ваться. «Отец или дедко сказывается во мне!» — подумал Василий Михайлович и сильно-сильно заволновался, словно что-то хотел понять. «А может, прадедко? — пробовал он разобраться. — Неужто оттуда, из нежилого, где давно никого не осталось? Отец... Дедко... Прадедко... Ровно они никогда и не помирали, а живут себе и живут, и не будет им смерти, покуда наш род не уйдет в земельку. А с чего уйти-то он должен? Ведь и я отросточек оставил. Худ ли мой сын Алексей! Правда, он в городе. Уехал... А в общем-то парня судить за что? Не за что вовсе. Лишь бы он оставался живой да нашу фамилию продолжал. Ведь и в нем когда-нибудь скажется кровь отцова...»

## 9

Пахнет плодами земли: картошкой в полях, рябиной на ветках, пахнет грибами и рыхлыми копами хлебной соломы. Куда ни посмотришь — всюду золотистый цвет уходящего по лесным косогорам погожего бабьего лета. Солнце греет ласково и уютно. Чисты и торжественны дали. Громче всех в эти дни мальчишеский голос. Радые ребята бруснике в корытах, принесенным из лесу грибам, обозам машин с намолоченным хлебом и, конечно, прохладным осенним листьям, что летят и летят с ослабевших веток берез.

Плодоносное время года. Только успели к нему привыкнуть, только успели его полюбить, как дунули ветры с дождем и горизонт покрылся туманной завесой. Последний раз на дальней опушке мелькнуло желтыми сапогами бабье лето и ушло, убежало от нас, уводя за собой говорливые полчища птиц. Курлыканье над рекой, солома в полях, отставший от стада теленок — все окрест охвачено строгим сиротским прощаньем.

Порою сквозь шелест дождя прорвется свисточек дуды. В нем так много июньского солнца, так много беспечного удалства, что начинаешь верить в явление нового лета. Свисточек струится над темно-свинцовыми водами Песью Деньги, играет на проводах государственной ЛЭП, влетает в проулки Сорочьего Поля, и тот, кто слышит его, ощущает в сердце короткую тихую грусть, какая бывает, когда с тобой расстается самый близкий тебе человек.

Сегодня дождь перестал, запахло подмерзлой травой.

Несколько мелких снежинок вяло кружилось, суля метельную непогоду. Был вечер, хотя и ранний, да сумеречный, с какой-то грустной, чуткой тишиной, когда для потемок еще не открыты двери, но вот-вот откроют их, и все погрузится в долгий осенний мрак.

Василий Михайлович возвращался с карьера, где Венья Спасский на новом «С-100» крушил деревья и пни, вырывая их из земли и сдвигая к дороге. День прошел, и было что-то прощальное в этом дне. Может быть, потому, что завтра начнется уже зима, а за спиной останется осень, еще одна осень твоей убывающей капля по капле жизни. Белоусов ежился, плащ на нем отвердел и поскрипывал, как береста. Под сапогами звенела стылая грязь. Вечер казался ему каким-то пустым и огромным, будто покинутый дом, в котором некому ночевать.

В такой же предзимний вечер, с таким же запахом мерзлых отав ступал Белоусов по этому же проселку, провожая в последний путь телегу с гробом своей Натальи. Смерть жены скорее его удивила, чем напугала, и заставила посмотреть на нее неестественно тихое, в голубых полутенях лицо с каким-то внимательным, ужасающим любопытством. Его жена шагнула за ту невидимую, скорбно-таинственную черту, которая разделяет былъ и небыль. Она ушла в неживое. И было в этом что-то законченно-важное, непонятное для него. Наталья болела около года и все это время мучилась тем, что не способна больше к работе. В последние дни на ее лице отражался испуг, как если бы очень она боялась не возвратить кому-то страшно тяжелый долг. И вот лица ее коснулось успокоение, точно знала она: для ей прощен и никто о нем уже не напомнит.

Удивление это жило в Белоусове до того момента, пока на вожжах не был опущен гроб. И как только расслышал он шорох глины, сухо посыпавшейся в могилу, им овладела мысль: «А ведь так получится и со мной! Все дороги ведут на погост. Обидно. Не успеешь на свет появиться, как уступай свое место другим».

С погоста Василий Михайлович шел один. После того как поставили крест, закидав его основание холмиком глины, он почуял в себе большое бродяжье горе и, не зная как с ним совладать, двинулся в деревню скольным путем, лишь бы только уйти от вздыхавших старух, от одетых в черное баб, от подвыпившего соседа и вообще от людей.

Он шел по темному полю и видел вверху, в прояснившемся небе, алые, будто цветы белокрыльника, звезды. Ему показалось, что звезды прицеливались к земле, чтобы выхватить из жизни тех заведомо обреченных, чья судьба уже решена, и противиться ей не имеет смысла. «Чья теперь очередь?» — думал он и до боли в глазах всматривался вперед, замечая в скошенном поле, голых кустах над межей, пролетавшей с криком вороне то, что было созвучно его душе. В душе же своей он как бы слышал передвижение, словно что-то живое, привычное покидало его, а на смену являлось холодное, светлое и святое. Что же это такое? Промозглый ветер хлестал его по лицу, а ему от этого было не зябко. Он шел вдоль реки и слушал тоскующий ветер, который метался в кустах ивняка и скулил, скулил, словно наслаждаясь своим завыванием.

Неожиданно он услышал:

— Ул-ли... Ул-ли...

Он вздрогнул, и ему представилось, что это душа Натальи, сиротская душа, которая манит его к себе. Он резко прибавил шаг, потом побежал, не отрывая глаз от звездного неба, и вдруг над стынуще-темной рекой разглядел две плывущие тени.

— Ул-ли... Ул-ли...

«Да это же совы!» — понял он. И такая тоска, такая печаль, такой холод его охватили, что он застонал, заскрипел зубами и как древний старик, с трудом переставляя ноги, поплелся в Сорочье Поле.

...И сейчас он также плелся к родному порогу, за которым его ожидали остывшая печь, тишина и глухие потемки.

Но Белоусов ошибся. В доме его горел электрический свет, а на лавке, облокотившись о стол, сидел бригадир.

Когда Белоусов открыл широкую дверь, Баронов не шелохнулся. Казалось, что он что-то давно и беспомощно вспоминает, но вспомнить никак не может. Задала задачу ему Маруська. Ушла со двора, навсегда ушла. Председатель ее отпустил вообще из колхоза. А надо бы не отпускать. Могла бы замуж-то выйти и дома. Вон сколько парней за ней увивалось. Хоть Борьку Углова взять, хоть Веню Спасского. Всех оставила с носом, уехала в город, потому что дали жениху квартиру. И сегодня у них там играется свадьба.



Вновь, как весной, исходил Василий Иванович всю деревню, потратив на это почти целый день. Уговаривал дочь доярки Гудковой, белолицую полненькую Галинку, поступавшую летом в пединститут, но вскоре со слезами на глазах вернувшуюся обратно.

— А к экзаменам кто за меня готовится будет? — защищалась Галинка.

Баронов напомнил:

— Но ведь ты их сдавала?

— Ну дак и что! Нынче с первого разу попробуй-ко поступи.

Попытался Василий Иванович призвать на помощь Евстолию. Но та посмотрела на бригадира с недоумением.

— Ее — в доярки? Руки-то изводить? Нет уж, Василей! Хватит с нашей семейки на эту работу одной меня! Поищи-ко в другом местечке!

С кем только Баронов не вел разговор! И с румяной, как девушка, пенсионеркой Гладковой, и с долговязой солдаткой Симой, и с почтальонкой, и даже с техничкой конторы.

Перед избой матери-героини Баронов долго топтался, но все же зашел. Еще из сеней слышал топот маленьких ног, визг, плач и хохот.

Пелагея с рыжей взлохмаченной головой сидела на лавке, качала ногой орущего в зыбке сына и резала хлеб. Двое парнишек с воинственным криком скакали верхом на палках. Двое других, чуть постарше, разбирали клещами будильник, желая вернуть ему жизнь. Девочки — кто умывал из кринки тряпичную куклу, кто играл в продавца и покупателя, кто готовил уроки. На вошедшего бригадира никто и внимания не обратил. Лишь, когда он чихнул, Пелагея встрепенулась:

— Тихо, гудки!

— Я опять сватать тебя в доярки! — сказал Баронов без всякой надежды.

Пелагея поймала скакавшего возле стола восьмилетнего сына, посадила рядом, надела ему на ботинок качальную петлю.

— Качай, батюшко! Нече те с батогом носиться! — и, встретясь с безрадостным взглядом прищельца, спросила:

— Когда идти-то?

— Да хоть бы завтра, с утра.

— А чего! И пойду! Отдохну хоть от этих... Ишь, орут, ровно ножами пытаются... Вот только бы няньку найти, пошла бы с милой душой...

Постоял, почесал бригадир затылок под шапкой, сдвигая ее на лоб, а когда Пелагея снова уселась за зыбку, сказал:

— А ежели няньку найду? Пойдешь?

Пелагея перекрестилась:

— Господи! Я да чтоб омманула?!

Но няньку в Сорочьем Поле так же трудно было найти, как и доярку. Сунулся было Баронов к двум более-менее добрым старушкам, так сразу и понял, что не по адресу.

Не зная, что делать, куда пойти, зашел в председательский дом.

— Доярку ищу вот, — промолвил на всякий случай.

Председатель насторожился.

— Уж не мою ли Симку?

— А где она? В городе?

— В городе.

— Жаль, — сказал Василий Иванович.

В неуверенном голосе бригадира, приморенном его лице и руках, нервно сжимавших шапку, Белоусов вдруг почувствовал смятение, бессилие и заботу. И в душе у него как бы схлестнулись друг с другом жалость к хорошему мужику и досада на него, так как пришел он причинять неприятность. Белоусов сидел, упорно уставляя в огонь, плясавший на золотисто-рыжих поленьях.

— Ладно, — сказал так, будто ему все на свете осточертело, — найду я тебе доярку.

И в этот же вечер пошел к зоотехнику и сказал:

— Нету на ферме доярки. Ты знаешь об этом?

Олег Николаевич улыбнулся насмешливо и любезно:

— Знаю, но ты ее, кажется, отпустил. Не отпустил бы, и не было бы проблемы.

Белоусов вздохнул, и сердце его дрогнуло от мысли, что зря, пожалуй, сюда и пришел.

— Я не могу лишать девушку личного счастья.

— А я тут при чем? — опять улыбнулся Хромов, переглянувшись при этом с женой, сидевшей перед телевизором на диване.

— Будь человеком, — сказал уходя Белоусов. Сказал в надежде на то, что Хромов проявит мужской ха-

рактер и настоит на том, чтоб Лариса Петровна вышла утром на скотный двор.

Однако утром вышла на двор не Лариса Петровна, а дочка Евстолии Гудковой — белолицая, полненькая Галинка.

## 10

Василий Михайлович был подавлен. Промозглые дни то с дождем, то с крошевом снега донимали его. В доме мертвящая скука. Она безглазо глядела отовсюду. И мел ли хозяин пол, готовил ли ужин, ставил ли самовар — за всяким делом он с нетерпением ожидал, не скрипнет ли дверь, не застонут ли половицы, не войдет ли в дом живая душа. И, не дождавшись, садился на лавку и тускло смотрел сквозь стекло на проулок с березами и домами, подмороженной грязью в колеях и тощими кольями прясел, сиротливо и сонно бредущими за деревню. Глядя на эту картину, он угрюмел от мысли, что жизнь его стала какой-то двойной, словно в нем поселились два человека. Один — открытый и добродушный, другой — замкнутый и понурый. И жили они, казалось, посменно: открытый — в дневные часы, при народе, понурый — в вечерние и ночные, когда рядом не было никого. И просились на язык слова: «Не могу я тут боле. Поеду...»

«Может, к Паше зайти...» — вдруг подумалось ему...

Далеко разнеслась слава о доме холостяка и весельчака Паши Латкина. К нему ведут всех. На одну ночевку обычно приходят сильно уставшие шоферы, трактористы дальних колхозов, командированные, туристы. Подступят к Паше с вопросом, можно ли ночевать. А тому когда и чего было жаль? «Ночлег с собою не носят, — скажет в ответ, — давайте располагайтесь». — И покажет на выбор: полати, лавку-продольницу, русскую печь, кованый сундук, однолежую койку.

Зимой же и ранней весной гостями Паши бывают одноподруженцы. Что ни вечер, то целый табун мужиков. Больготно им тут. Можно в карты сыграть. Можно затеять душеспасительный разговор. Хозяину чем лютнее, тем веселее. Сидит на лавке возле окна или лежит на полатах, курчавый и остроплечий, и слушает с ласковым любопытством, о чем толкует народ, а то и сам

нырнет в разговор да так затейливо, так лукаво, что мужики как один заухмыляются и станут ждать веселой минуты. И эта минута случится. И тогда по обеим комнатам дома покатится мощный мужицкий смех, от которого будут постанывать стекла, а поздний прохожий станет озираться с тревогой по сторонам, не понимая, откуда такие звуки и можно ли их не бояться.

Находят у Паши приют и постоянные квартиранты, которых определяет к нему на постой сельсовет или контора колхоза. За два последние года кто только здесь не жил! То семейство цыган, решивших начать трудовую жизнь почему-то с Сорочьего Поля, то прибывшие с юга строители скотных дворов, то бригада мелиораторов из райцентра, то какой-нибудь практикант...

Сейчас у Паши квартирует будущий бухгалтер Шура Мунин. Днем и тот и другой на работе. Шура в конторе среди накладных, нарядов и табелей, а Паша на разнodelье: сегодня силос подвозит к ферме, завтра корчует пни на карьере, послезавтра едет в лес.

Вечерами оба дома. Шура или лежит на голбце, или глазет в телевизор. А Паша старается по хозяйству.

Старинные, с медной гирей часы стучат и стучат, отбивая за часом час, за сутками сутки. Событий в Сорочьем Поле пока никаких. Но скоро, кажется, будут. В субботу в два часа дня в большом зале клуба начнется отчетно-выборное собрание.

Собрание только что началось, но казалось, что идет оно целый день и не кончится долго-долго. Наверное, такое ощущение вызвал у сидевших в зале отчетный доклад. Белоусов имел подавленный вид, голос его звучал вяло. Он и сам понимал, что выглядит слишком уж худо. Читая, он как бы видел себя из зала. Видел стоящего за трибуной носатого скучного человека, который всех утомил и еще собирается утомлять, потому что прочитана лишь половина доклада. Иногда на лицо его набегала смутная дума. Ведь это последний его доклад. Отчитает его — и от всех председательских дел станет навсегда свободен. И все в колхозе будет делаться без него: и разработка карьера, откуда вот-вот повезут для дороги гравий, и монтаж оборудования на ферме, да многое и другое, к чему Белоусов не будет уже иметь никакого отношения.

Закончив читать, Василий Михайлович вдруг покраснел и сказал, обращаясь к колхозникам не по бумажке:

— А теперь, дорогие товарищи, большая к вам просьба. Войдите в мое положение. Тридцать лет хожу в председателях. Поустал. Надо дать перед пенсией и отдышку.

Сказал и просительно улыбнулся, глядя в заколыхавшийся зал, откуда слышался бурный шепот, а потом и отдельные голоса:

— А чё? Кажись, заслужил! С богом!

— Пушай в городу поживет, не все в деревушке!

Сжимая под мышкой листы доклада, Белоусов прошел в пустующий первый ряд, где одиноко и гордо сидел Олег Николаевич Хромов. Зоотехник пожал ему руку, сказав: «Знатно выступил, всех задел за живое». Белоусов ему не поверил. «Задел тебя за живое не мрой доклад, а просьбица после доклада», — подумал Василий Михайлович и посмотрел на длинный, покрытый зеленой материей стол, за которым сидели приехавший из райцентра плечистый бритоголовый Дубров, писавшая протокол Лариса Петровна и выбираемый каждый раз председателем общих собраний горластый бухгалтер Горшков.

— Слово для второго доклада имеет заместитель председателя ревизионной комиссии Федор Федорович Седакин, — объявил Горшков.

Зал проводил глазами угловато-широкого ревизора, который достал из футляра очки, надел их и вдруг стремительно, без передышки заговорил, и с тесненьких губ его полетели фамилии, цифры, названия дебетов, кредитов и балансов. Отговорив, Седакин захлопнул скоросшиватель, спрятал в футляр очки и с видом по меньшей мере работника райисполкома солидно и важно вернулся в зал. Тотчас же его сменил одетый в синий китель и синие галифе секретарь парткома Иван Тимофеевич Бутаков, человек, известный всему району способностью уговаривать школьников оставаться работать дома. И сейчас говорил он об этом, призывая сорокопольцев держать тесную связь с выпускным классом школы. Затем вышел к трибуне Василий Баронов. За ним — тракторист Веня Спасский.

Белоусов сидел с напряженно бьющимся сердцем, ощущая себя среди громких речей каким-то временным человеком, кого дела и заботы колхоза теперь касаются

все меньше и меньше. Заглядывая мысленно вперед, он гадал, где отныне ему работать. В райкоме партии? Райисполкоме? И вдруг Белоусов похолодел, расслышав то, что никак не думал услышать. Он вскинул глаза на трибуну, за которой стоял председатель райисполкома и обвиняющим тоном говорил:

— Работать ли Хромову в вашем колхозе — это еще вопрос. Погубить корову в начале пастбищного сезона — это, товарищи, никуда не годится! Это, я бы сказал, халатность, а может, и произвол! А отношения с животноводами! А если товарищ Хромов и дальше так будет к своим обязанностям относиться?

Вопрос повис в воздухе, как угроза, к которой меньше всего были готовы председатель и зоотехник. Хромов сидел, вспотевший и красный. Не лучше выглядел и Белоусов: мочально-желтые волосы в беспорядке, кожу на лбу рассекли морщины недоумения. «Как же так? Как же?» — думал потерянно председатель и с досадою вспоминал, что все повторяется: так же было и на прошлом отчетном. Белоусов перепугался: «Но ведь так не должно!» Он вскинул руку и неожиданно для себя:

— Не Хромов тут виноватый, а я!

Дубров улыбнулся. Улыбнулся, как человек, умеющий в спорах держаться естественно и спокойно.

— Тебе, Белоусов, нечего волноваться. Береги свои нервы. Они еще пригодятся.

По залу прошел глухой и негромкий ропот, а с заднего ряда, хлопнув ладонями о колени, поднялся пастух и голосом тонким, пронзительным, словно пропущенным сквозь свисток, крикнул:

— Это моя недоглядка! Руководство тут ни при чем!

Круглая голова Дуброва наклонилась к плечу, и всем стало ясно, что он Латкина осуждает за то, что тот не вовремя сунулся в разговор. Однако Дубров улыбнулся и громко спросил.

— А точно, что ты виноват?

— Точно! — откликнулся Паша.

— А штраф с тебя удержали?

— Не...

— Так вот за это кое-кому и придется ответить!

И опять по залу пронесся ропот, только более сильный и пересыпанный вздохами и смешками.

Если бы Хромов мог каким-нибудь образом оскорбить Дуброва, заранее зная, что это сойдет ему с рук,

то он бы крикнул сейчас что-нибудь обидное, злое. Но делать этого было нельзя, и он молчал, злясь на Дуброва за то, что его унижают при всех.

Самое беспокойное началось, когда председатель собрания беловолосый грузный Горшков поставил вопрос: кому стоять во главе колхоза? Из глубины зала кто-то испуганно предложил:

— Хромову...

Голос замолк, и возникла угрюмая тишина. С минуты, наверное, длилось безмолвное ожидание. И вот осторожно и медленно родился гул. Потом он разросся, окреп, осмелел, и в шуме явственно зазвучало:

— Мужик деловой! Как будто не зашибает!

— А что корова пропала — это ли диво?

— Грамотный, слава богу! А с грамотным всяко не пропадем!

Голоса еще продолжали звучать тут и там, когда рядом с Горшковым поднялся плечистый Дубров и, опираясь кончиками пальцев о стол, лицом и грудью подался вперед.

— Белоусов, выходит, не нравится вам?

— Нравится! — громко рвануло из зала.

— Худо, значит, работал?

— Добро!

— Добро работал, а председателем не хотите!

— Хотим!

Дубров уселся с улыбкой усталого человека, который выиграл трудный спор. И тут же поднялся Горшков.

— Кто за то, — зычно выкрикнул в зал, — чтобы во главе колхоза остался Василий Михайлович Белоусов?

По залу от поднятых рук пошел ветерок, а на стене колыхнулись кривые тени. Но не успели тени сойти, как чей-то голос тонко воскликнул:

— Не эдак надо! Не эдак!

Бухгалтер Горшков растерялся, взглянул сначала на зал, потом на Дуброва — тот побледнел, но освоенная за много лет привычка быть ко всему и всегда готовым помогла ему взять себя в руки и требующе спросить:

— Что? Что такое?

— Надо было сперва за Хромова голосовать!

— А какая тут разница? Никакой!

— Не скажи! Мы хотели Михалыча отпустить из колхоза! А теперь получается что? Омманули его?

— Но собрание проголосовало за старого председателя! Это о чем-нибудь говорит?

— Говорит об том, что были мы растерявшимися!

Дубров скептически улыбнулся, а бухгалтер Горшков прокричал:

— Это что за выходка, Латкин? Немедленно прекрати! Кто позволил тебе срывать собрание и безобразить?

Паша, дергая головой и плечами, рвался что-то сказать, но его отговорили.

— Будет те, зимогор! Чево добьессе? Пятнадцать суток! Али охота?

Горшков на одном длинном выдохе проговорил:

— А сейчас, товарищи, начнем выбирать членов правления!

Собрание продолжалось, а Василий Михайлович душой был где-то вдали, в стороне и думал о том, что семья у него, кажется, развалилась. Если он не уедет в город, а сейчас уже точно, что не уедет, то жена к нему может и не вернуться. «Будем друг другу письма писать», — слабо усмехнулся он и услышал, как Горшков объявил:

— На этом собрание разрешите считать закрытым!

...Шарканье валенок и галош, скрип деревянных сидений, говор слились в рокошующий гул, который вместе с толпой рванулся к выходу.

Дуброву было неловко смотреть в глаза человеку, которого он вынужденно подвел. Но что ему оставалось делать, если сам Холмогоров пожелал, чтобы Белоусов по-прежнему возглавлял колхоз «Маяк». Разговор об этом у них состоялся вчера. Холмогоров сказал:

— Хромова в «Маяке» не любят.

— Но Белоусов сделал прицел на город.

— Знаю, что сделал.

— Дак как теперь? — удивился Дубров.

— Поторопились...

— Значит, Хромову председателем не бывать?

— Конечно, конечно. И зоотехником-то, не знаю...

— Ну и дела. Как теперь с Белоусовым быть? Ведь это так его огорошит, так его огорчит.

Холмогоров согласно кивнул головой:

— Знаю. Хороший он человек. Очень хороший! И здесь бы у нас пригодился. Но отпустить его из кол-



хоза сейчас невозможно. Никак! Понимаешь? Ты уж ему объясни, должен понять.

...Белоусов пытался понять. Он сидел в обезлюдевшем зале, поставив локти на стол, а ладонями подпирая лицо, постаревшее от морщин и фиолетовых мешков под глазами. Дубров, блестя гладко выбритой головой, ходил взад-вперед по скрипевшему полу и убеждал:

— Обижаешься, Белоусов? А зря. Пойми меня правильно. Я иначе не мог. Хромов не тот человек.

— Как же он будет теперь? — спросил Белоусов, почувствовав к зоотехнику жалость.

— Здесь ему оставаться нельзя, — ответил Дубров. — Переведем в другое хозяйство.

— Председателем?

— Что ты? Не больше, чем зоотехником.

— Пусть бы сам он решал. Все же семья у него.

Сказав, Белоусов понурился, вспомнил свою Серафиму, которая в эти дни в городе готовится к новоселью, ведь он завтра должен быть там, чтоб сесть во главе застолья и поднять первый тост за счастливую жизнь под крышей нового дома. Председатель провел пальцами по лицу так сильно, что на щеках остались белые полосы.

— А мне, значит, тут оставаться. До пенсии или... до гроба?

— Зачем так трагично? — сказал Дубров, подбирая слова, чтобы поднять Белоусову настроение. — В конце концов ты должен понять: колхоз без хорошего председателя, что стадо без пастуха. Главное духом не падай. Сколько тебе годов?

Белоусов молчал, потеряв желание поддерживать разговор, который теперь для него не имел значения.

— Пятьдесят три! — продолжал Дубров. — Самый зрелый возраст мужчины. А что устал, так это дело поправимое. Мы тебя на курорт, на Черное море отправим. Ну? Что скажешь? Соглашайся!

Белоусов поднялся со стула, пробормотал: «Я пойду» — и, пожав Дуброву ладонь, прошел в раздевалку.

На улице было морозно. Иней лежал на перилах, на проводах. Светили звезды, луна, окна — и снег в палисадах казался голубоватым. Вверху, на белых ветках берез, темнели сороки. Было их много. Белоусов замахнулся на них шапкой, но птицы не шелохнулись. Они

сидели задумчиво и безмолвно и, казалось, сочувствовали ему. Подуло морозным ветром. Белоусов сунул руки в карманы и зашагал. Фигура его, с низко опущенной головой и вздыбленным воротником полушубка, выражала отчаяние человека, которому надо что-то решить, а что именно, он и не знает.

## 11

Подле дома с шатровой крышей Белоусов остановился. Окна были освещены, и из форточки темным снопом выплывал папиросный дым. Василий Михайлович разглядел мужичьи широкие спины, давно не стриженные загривки, плечи, бороды, бритые рты. И Пашу он разглядел. Хозяин был в меховой безрукавке, надетой на синюю кофту, в вязаных толстых носках и серых опорках, едва прикрывавших стопы ног. И тут Василий Михайлович смутился, так как Латкин подошел вплотную к окну и посмотрел на него, видимо, узнавая. Белоусов успел сделать несколько быстрых шагов, но крылечная дверь растворилась, и в ней показался хозяин. Спустившись с крыльца, он пробежал по мерзлым мосткам.

— Михалыч? Может, зайдешь?

— Нет, нет, — отказался Василий Михайлович, — я ведь случаем.

— Худо тебе, Михалыч. Давай-ко зайди...

— Нет, нет, — повторил Белоусов.

Еще минуту назад он был в том безвольном, сломенном состоянии, когда хочется чьих-то уговоров, сочувственных вздохов и утешений. Но вот настала другая минута, и он с холодной ясностью понял: его успокоит, утешит и укрепит лишь только работа. Да, да, та самая, которой он отдал всю свою жизнь и с которой хотел сегодня расстаться.

Луна заходила за лес, смещая в сторону тени деревни. По сугробам от Песьей Деньги колыхались волокна снегов. Белоусов видел привычно знакомые, старенькие, родные, как обломки его души, посадки Сорочьего Поля, от которых поздно было уже уезжать, поздно было с ними прощаться.

Никого не звал Паша к себе, а столько народу набилось, что негде было сидеть. Кто-то умудрился устро-

иться на полу, кое-кто на приступках печи, а Борька Углов, любивший везде и во всем удобство, залез на полати, где почивал практикант. Пахло валенками, дымом и потом. Для пришедших сюда мужиков собрание будто и не кончалось. Говорили, кашляли, охали и ругались, и трудно было что-нибудь разобрать. Но тут резкий голос хозяина прорезал галдеж:

— Кончай балагурить! Мне завтра рано вставать!

— Высписсё! — ответили мужики.

— Да и парню вон, — махнул Паша рукой на полати, откуда галочьим темным крылом свисали волосы практиканта, — отдыхать не даете!

— Пушай привыкает! Не инженер!

Паша расстроенно проворчал:

— Надо было не этта, а там говорить, тогда бы другое и получилось.

— А другого-то нам ни к чему! — отозвался с полатей Углов. — Нам окромя Белоусова никого не надо!

Говор еще не утих, а Паша подкинул новую тему для перепалки:

— Забавно нам, мужики! А Михалычу каково? Здорово мы его! Сперва в городок отпустили, а после хват за ручки да и назад! Председательствуй снова!

— В сам деле, робята! Ведь дом у него в городе!

— Да и работу сулили полегче!

— Обидели мы мужика! Во как!

— От такой обиды очухаешься не вдруг!

— Тихо, робята! Е-е! Паша заговорил!

— Счастье, робята, не разглядишь. Оно потому и счастье, что дышится от него! А ежели ты дышишь — стало быть и живешь! Чего еще лучше!

Латкин, спрашивая, заметил, что мужики приятно возбуждены, довольны беседой и что если бы дома не ждали их жены, то остались бы здесь сидеть до утра.

## 12

На одной неделе помимо премии получил Паша Латкин и годовые остатки. Скопилось за двести рублей. Стал думать, как бы лучше деньгами распорядиться. Купить телевизор — так старый еще не изломан. Печку переложить — опять же эта еще не худая. Так ничего толком Паша и не решил. Положил деньги на верхнюю полку посудного поставца. Положил и как забыл.

И, быть может, долго о них бы не вспомнил, если бы однажды, встав утром с кровати, не почувствовал слабость в коленках и жар в голове. Стало ясно, что заболел. «Вылечусь ли? — подумал. — А ежели нет? Ведь может такое: слягу и боле не встану...»

В этот же день, взяв с собой постояльца, купил два ящика водки и на вопрос продавщицы: «Неуж кто приехал?» — загадочно улыбнулся:

— Приедут.

Постоялец его Шура Муни́н, хотя и считал себя юношей дошлым, но тоже не мог ничего понять.

— Куда так много?

— На поминки, — ответил Латкин.

— На чьи?

— На мои.

Постоялец, пожав плечами, заозирался, точно не был уверен, что это сказал ему Паша. Но в доме, кроме хозяина, не было никого.

— Но ты ведь еще живой...

— Седни жив, завтра нет.

Сказал это Латкин полусерьезно-полушутя, ибо питал хоть и слабую, но надежду, что ничего опасного нет и боль через часик-другой поутихнет, а там и совсем, быть может, пройдет.

...Собрались мужики. В доме — дым коромыслом. Одни гости сменялись другими. Кто-то что-то доказывал, кто-то всхлипывал, кто-то смеялся, а Борька Углов, качаясь на табуретке, перепел все эстрадные песни и теперь принялся за арни из оперетт. Голоса провожалыщиков, звон стаканов, Борькина песня — все это Паша хотя и слышал, но в сознание не пропускал. Он сидел взъерошенный, молчаливый, остановясь каменеющим взором на чьей-то руке, лежавшей, будто большое полено, на середине стола. Паша был оглушен, но скорей не водкой, а вопросом: «Долго ли еще проживу?» В голове шевелилась страшная мысль: «Может, недолго. Зачем и жить, ежели все уже было? Чего впереди мне светит?» Паша тяжело вздохнул. Его охватило раздражение, захотелось смахнуть со стола все, выгнать немедленно всех...

В полночь, когда опустела изба и Латкин остался среди волокон синего чада, на него накатила такая тяжелая, глухонемая тишина, что он испугался и крикнул:

— Шурка?

Постоялец не отзывался. Паша прислушался к тишине. Она казалась какой-то чужой, будто ее притащили сюда из самых глухих закоулков и приказали следить за хозяином дома. Паша выскочил на рундук и, услышав трели гармошки, повернулся к пятистенку, стоявшему через дорогу, где всю продолжалось веселье. Ах, как приветно забилося сердце! Куда подевались уныние и тоска?

Латкин спешил на голос гармошки, обалдело-счастливый, сияющий, словно выбежавший из сна. Неожиданно он споткнулся. А ветер, дунувший от реки, донес завывающий голос:

— О-у-ууу!

Латкин стал, будто его укололи, и смущение охватило душу. Он узнал голос зоотехника и смекнул, что Хромов попал в ту самую полыню, которая всегда остается до лета. Он заругался:

— Какого дьявола там его носит! — и направился было к высокому пятистенку скликнуть на помощь народ, но одумался, сообразив: «Люди-то навеселе, полезут вслепую спасать, и вдруг еще кто захлебнется».

— То-о-ону-ууу! — вновь донеслось от реки, и такая мольба послышалась в этом крике, что Паша продрог и, свернув с дворовой тропы, побежал по сугробному косоугору. И пока торопился, влезая на изгородь, спускаясь к реке, запинаясь за хвойные вешки, сердце его наполняла большая тревога. Он очень боялся, что Хромов не выдержит и утонет.

Остановился Латкин шагах в пятнадцати от полыни. И жуткая оторопь охватила его. Зоотехник слабо барахтался и пыхтел, не в силах выкатиться на льдину. Голос его был слабый и жалкий.

— Помоги...

В ноги метнуло снежной крупой, и Паша, точно подтолкнутый, сделал опасный шаг. «Надо бы доску с собой прихватить», — запоздало подумал он.

— Потерпи! Э-э!

Паша пополз, и чем ближе он придвигался к тонущему, тем яснее видел его лицо с трясущимся подбородком и искривленным от холода ртом. Снег около полыни был весь в следах пальцев. Держался Хромов, видимо, долго. Протягивая руки вперед, Паша вдруг ощутил в себе неуверенность, и тут же в мозгу его за-

барахталась мысль: «А ежели не вытащу?..» Мысль эта его напугала, и он, прижимаясь лицом к шершавому льду, поглядел на черную полыню, как на смерть, и схватился за стые пальцы тонущего.

Спина его напряглась, и Хромов, освобожденно вздыхая, завывал было наверх. Но тут послышался хруст — ломалась окрайка льда, — и Паша соскользнул, проваливаясь лицом и руками в яростный холод. Вынырнув, он ослепленно взглянул и увидел, что Хромов держится в битой шуге.

— Давай! — скомандовал Паша. — Цепляйся руками, а я за ноги подыму!

Выбирая из полыни его ноги, Паша почувствовал их свинцовую тяжесть, потому и толкнул зоотехника что было сил. Толкнул, теряя всякую осторожность, и быстро-быстро вцепился в лед, который негромко хрупнул, и тонкий кусочек его остался в трясущихся Пашиных пальцах.

— Не! Не! — крикнул Паша, с предсмертной ясностью постигая, что случилось жестокое, глупое и не нужное никому. Он снова попробовал крикнуть, но ноги его потащило ко дну, а в открывшийся рот полилась вода. Сердце толкнулось и стало мучительно разрываться. «А Хромов-то жив!» — мелькнуло в мозгу, и лицо его залеснуло водой, сквозь которую Паша увидел такое родное и близкое небо, а на нем единственную звезду, каким-то чудом прорвавшуюся сквозь тучи.

### 13

Хромов бежал в угор, как недобитый зверь, спотыкаясь, падая и хватая пальцами намерзши снега. Он не верил, что Латкина больше нет. Он верил в свое несчастье, в то, что ему так жестоко не повезло и что все теперь будут показывать на него и осуждающе говорить: «Это он. Это из-за него».

Он выскочил на дорогу и повернул направо, в сторону дома, но чувство вины и желание как-то ее загладить остановили его, и он, звеня обледенелой одеждой, пустился на звуки гармошки, летевшие в ночь с предсательского крыльца. Прорвавшись сквозь чьи-то руки в теплую кухню, он увидел гуляющих мужиков, среди которых был и Василий Михайлович Белоусов.

— Человек утонул, а вы!.. — прохрипел зоотехник.

— Кто утонул? — спросил Белоусов.

— Латкин. В полынье. Я тоже туда провалился, да выбрался кое-как.

Белоусов дрогнул — и бледная желтизна проступила на его лице, и стало ему нестерпимо больно за Пашу.

— Переодеться бы мне — замерз, — сказал умоляюще зоотехник.

И всем почему-то стало противно. Все посмотрели в лицо Белоусова так, словно только один он знал, чем надо на это ответить.

И не успел Белоусов еще ничего сказать, лишь вскинул брови и сделал шаг к двери, как мужики в едином порыве двинулись следом.

Но, когда приблизились к полынье, пропихнули к ней несколько досок и, пробравшись по ним к окраинке льда, увидели черное зеркало тихой воды, то суеверно переглянулись. И, отползая назад, уже знали, что Пашу не вытащить.

...Утром, чуть свет, вся деревня высыпала на берег и сквозь хлопья летящего снега смотрела на полынью, дышавшую холодом и тревогой. И Белоусов стоял, прислушиваясь к себе, и верил, что в эту минуту с ним разговаривает его душа. Не беда, говорила ему душа, что уехала Серафима. Не беда, что в его доме снова пусто и одиноко. Не беда, что придет к нему зоотехник и подаст заявление на расчет. Беда, что не стало в Сорочьем Поле хорошего человека. Беда, когда он, Белоусов, отстранится от этих людей, уедет от них, неуверенно попрощавшись.

1975 г.

## ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ

Женился Венька на Алевтине в один из дней отпускного загула. Он смутно помнил, как расписался с ней, сыграл свадьбу и перебрался из барака в стандартный брусчатый дом, где мастер леса Василий Петрович Антонов объявил его принародно хозяином новой семьи, квартиры и жизни.

Очнувшись уже мужиком, Шилов с тяжелой досадой сообразил, что он позволил себя одурачить. Ведь он жениться не собирался. «Ер-кородер. Совратили меня! И кто-о?» Он лежал на широкой кровати и упорно смотрел в потолок. Так упорно, что вскоре выросли перед ним знакомые лица. И самым веселым среди них, самым пьяным и самым нахальным было лицо Чечулина Шурки. «Не-е, Шурка мастак пошутить, но не эдак». Венька, крепко сдавив руками колени, вспомнил Виссариона, тонконового, косенького завхоза с круглыми, калачиком, усами. Вот кто пихнул его в эту пьянь. Алевтина сестра завхоза, вот и надумал найти для нее подходящего мужа. И ведь все рассчитал, все учел завхоз: и то, что у Веньки вид здорового доброхота, которому время пришло ложиться в постель на пару с женой; и то, что он в Еловце самый удачливый вальщик, всегда при почете и при деньгах; и что иногда выпивает, а выпив, бывает уступчив как никто.

«Все из-за этой водяры! — досадовал Шилов. — Виссарион захомутал меня, ровно лошадь. Что ни утро, то с новым подкатом. Сегодня к нему — обмывать телевизор. Завтра — к евонну другу на именины. А там — в деревню, где у него, что ни дом, то свояк или брат, и у каждого надо погреться. До того догрелся, аж до сих пор не пойму, как очутился на собственной свадьбе. И жену-то нормально не разглядел...»

Шилов взглянул на часы — пятнадцать седьмого. В это время, кабы не отпуск, он был бы уже на ногах, спешил к автобусу, чтобы поспеть в лес. В просвете занавесок виднелось стекло, а за ним — бьющий в окно манной крупкой ноябрьский снег.

С кухни донесся грохот посуды. Венька поморщился.

— Алевтина!



Раздвинув ситцевый полог, вошла молодая с белым, как чайное блюдце, лицом.

— Чего, чудушко, — оклемался?

Голос ее был настолько обыденным и знакомым, что Шилову показалось — он с ней живет много лет. Венька с яростью вспомнил завхоза и раздраженно спросил:

— Где Виська?

— Дома, поди-ко.

Венька привстал на локоть:

— Это чего? У на-ас?

— Что ты, чудушко, у себя.

— Поди приведи!

— Выпить с ним хочешь?

— Морду набить!

Молодая заволновалась. Взгляд ее перескочил с кровати на полог, потом опять на кровать.

— Полно-ко, Веня. Не дело это. Перебирайсе-ко лучше за стол. Головушка, верно, болит? Так мы живенько ее оправим. — Она подошла к постели и оплела его бычью шею тоненькими руками. — Выпьешь стакешек-другой — мигом и полегчает.

Шилов откинул ногой одеяло, встал, потянулся к одежде:

— Кой день заливаешь мою утробу?

Полагая, что муж балагурит, Алевтина стала сгибать на руке палец за пальцем:

— Началась свадьба в субботу. Сегодни пятница. Стал быть, шестой...

Венька прошел на кухню, где от натопленной печки шибало банной жарой. Умывшись, спросил:

— Отпуск не кончился у меня?

— Еще три денечка отдыхай.

Шилов тряхнул головой, и волосы черной копной опустились на лоб.

— Хватит! Наотдыхался! Заснул холостым — проснулся семейным. С чего бы это? — Продолговатые, с желтой искрой глаза его секунду смотрели на Алевтину, потом поглядели на вешалку у дверей.

Алевтина и слова сказать не успела, а Венька уже надел фуфайку и шапку, схватил однорядки и вышел во двор.

На улице было темно. Редкие лампочки на столбах неровно освещали поселок. Дома, прикрытые сне-

гом, были похожи на грустных старух, запахнувших-ся в полушалки. Венька шел торопливо. Услышав сигнал автобуса за конторой, застегнул фуфайку и побежал.

Он забрался в автобус одним из последних и, хотя свободных мест не было, сел не глядя, меж чьих-то колен, принуждая подвинуться и стесниться. Он вообще никогда не заботился об удобствах, а получалось так, что всюду их находил. И сейчас, провалившись в сиденье, как в подушку, он учуял запах оттаявших валенок и галош, увидел знакомые, в ватных подшлемниках лица, и стало ему по-приятельски хорошо, как человеку, который после большой отлучки попал к стародавним своим друзьям. И уже кто-то спрашивал у него: «Каково ночевал с молодой?», кто-то хлопал весело по плечу, кто-то протягивал закурить, кто-то, эхнув на весь автобус, метал ему на колено одну за другой шесть атласных потрепанных карт.

Бежать автобусу тридцать пять километров. Дорога накатана, без ухабов. По сторонам — редины, выруб-ки, сосняки. Снег то падал, то унимался. Венька взды-хал. На душе его было беспокойно. Он привык, чтобы в жизни было все просто. А тут получалась какая-то кутерьма. Словно жизнь затолкала его в глухой буреломник. Мысли были тяжелыми и барахтались неуклюже, возвращая его назад, в те бредовые дни, от которых сейчас он хотел уехать. В голове звучали частушки, выкрики, песни и тосты — будто в ней до сих пор куролесила свадьба. Тасуя карты, Шилов мысленно похвалил себя за отъезд из поселка. «Отдохну хоть от этой водяры. И от жены отдохну...» Венька вздрогнул, карты посыпались из рук. Подбирая их, он попытался сообразить: «От жены? Это как нас понять? Долго ли с нею жил? Всего несколько дней. Но ведь несколько лет предстоит. А быть может, десяти-летий? Как потом-то мне отдыхать?»

Раздавая карты, Шилов резко вздохнул, и проглянуло в лице его что-то злое. «Кабы жениться-то по любви, — неуверенно помечтал, — тут бы взлетел я сердечком, будто птичка. У любви есть крылья, в песнях поют. А у нас с Алевтиной? Хы! Тоже крылья... Где взлетел, тут и сел...»

На задних сиденьях автобуса кто-то громко захохотал. Шилов прислушался: Шурка Чечулин обсказы-

вал, как ездил на днях в райбольницу выдергивать заболевший зуб.

— Сижу в кресле, как сват министру! — разливался Шурка на весь автобус. — Докторша выстала надомной: «А ну, молодой человек, шире ротик». Я рот открыл. Она — стук штипцами меня по здоровому зубу: «Этот болит?» Я рассмеялся: «Не угадала!» Стук тогда по больному. «Этот! Этот!» — киваю ей. А докторша вроде бы как не слышит. Опять стукнула по больному. Я как раненый: «О-ой!» Ну, а ей, видно, этова мало. Снова стук да постук. Никакова терпенья не стало. Лажу крикнуть: «Бабоньки, больно!» А выходит «ба-ба» да «бо-бо», как у зайца во время свадьбы. Докторше это не полюбю. Верно, думает, я притворяюсь. Качнула головой и говорит: «Ничего подобного, зуб здоровый». Я на дыбки: «Не может и быть!» «Нет, — спорует докторша. — Может!» «Едри твою сорок восемь! — ору по-лесному. — Зубы ведь мои, и я лучше, поди-ко, знаю, которой болит, а которой нет!» Она губки крашенные поджала: «Ты, молодой человек, симулируешь. Прошу выйти из кабинета». У меня аж волосики поднялись. Думаю: коли зуба не выдерну — справки не получу. А без справки — дело худое. Без справки я в прогульщики попаду. А это чистый разор. Прощевай тогда прогрессивка. И премиальные прощевай. «Дергайте!» — говорю. Докторша губки разжала. «Который?» — спрашивает меня. А мне уж все равно. «Который-нибудь», — отвечаю. Ну, она штипчики в рот, поднажилилась и рванула. Был зуб, да нету его. Как пробка из бутылки выскочил.

Лесорубы ухмылялись, кто-то хлопнул ладонями по коленям, а Венька Шилов, имевший привычку везде и все узнавать до края, обернулся к Чечулину и спросил:

— Какой рванула-то? Всяко больной?

— Не, здоровый.

— Хы! — подивился Венька. — А как же больной?

— Больной цельнехонек до сих пор.

— Неужто по новой поедешь в больницу?

Чечулин вздохнул:

— Придется.

Кто-то подал ехидный совет:

— Лучше, Шурка, не ездь, а то останессе без зубов.

Но Шурка нашелся:

— Я к новой докторше запишусь.

— Да там всего-то одна.

— Ну и что! — расхрабрился Чечулин. — Она староватая. Скоро на пенсию отойдет. Можно, буде, и подождать...

Слушать Чечулина можно три дня и три ночи без перерыва. Подкидывай только ему вопросы. А он найдет, что сказать. Правда, не понять, где он по правде обскажет, где соврет. Да это и не важно. Важно, что Шурка не даст заскучать. А это всегда ценилось у лесорубов.

Чечулин умолк неожиданно, будто вышел, и в автобусе стало тихо. Лесорубы задумались кто о чем. И Венька задумался вместе со всеми. «Как жить дальше?» — мучался он вопросом. Он перестал играть в карты, пихнул их соседу и скучно уставился в окно, проныкая взглядом куда-то за елки, словно там, за грядой холодных лесов, мог открыться ему ответ. Венька снял с головы шапку, погладил лысеющий мех и вдруг ощутил в груди у себя что-то острое, тонкое, похожее на иголку — встало напротив сердца, готовое уколоть. «Дело ясное, — думал он, охваченный мрачной решимостью, — только надо не сплеховать. Обстрепать чин чинарем. А для этого что заделать? Во-первых, семейный скандал. Во-вторых, развод с Алевтиной. В третьих, прощальную вечерину...» Идея Шилову задалась. Он хотел обмыслить ее подробно, но взвизгнули тормоза, автобус остановился, и лесорубы двинулись к выходу.

Встречал их низкорослый мастер Антонов, пожилой человек с металлическими зубами. Он приехал пораньше на лесовозе и теперь стоял у костра, прикрывая от жара перчатками-крагами свой выдававшийся под полушубком живот. Мастер был по-мальчишечьи голосист и любил покомандовать. С ним считались, принимая его замечания, окрики и придирки.

— Сучкорубов нема? — обратился Антонов к приехавшим.

— Нема, — отвечали ему.

— Замечательно! — улыбался Антонов. — Сегодня с кронами повезем! Самодуров, готов?

— Готов! — кивал головой черный, как жук, тракторист в брезентовой куртке, которому предстояло грузить на площадке хлысты.

— Ты, Сажин, пошли двоих волока готовить! — го-

ворил мастер полнолицему бригадиру, тащившему охапку стальных чокеров.

Сажин встряхивал чокерами:

— Сделаем! — И шел дальше — несокрушимо внушительный и широкий, за толстые плечи, прямую походку и гулкий голос прозванный Генералом.

— Ну, а ты, Чечулин, лишние деньги, видать, получаешь?

Чечулин, мужик занозистый и ершистый, кого-кого, а себя уж в обиду не даст. Повернулся к костру:

— В моих карманах чирикают воробьи! — И провел рукавицами по штанинам. — А в чем дело, Василий Петрович?

— Пеньки высокие оставляешь!

— Дак ведь снегом засыплет!

На лице у Антонова строгое выражение, голос жесткий и недовольный, каким и должен у мастера быть, когда настала минута кого-нибудь пропесочить:

— Штрафану разок — иную песенку запоешь! — закричал, но так не зло, не придиричиво закричал, что Чечулин заулыбался:

— Василий Петрович! Стону и рыдаю! Так мне, уха-рику, видно, и надо!

Антонов махнул на Чечулина кожаной крагой и тут же забыл о нем, увидев прикорнувшего на полозьях столовой мосласто-крупного мужика с уныло опущенной головой.

— Не Шилов ли объявился?

Венька поднялся, как по костям, прошел по осиновым сучьям до костра.

— Ведь ты же в отпуску?

— А! Надоело!

— Вышел на работу? Мило дело! — похвалил Василий Петрович, и его тонкое, мелкое, как у подростка, лицо собрало возле глаз хитрые складки. Антонов выше всего ценил в человеке способность к какому-нибудь мастерству. В Веньку Шилова, этого злого и сильного мужика, он был влюблен: видел в нем вальщика от природы. Был конец ноября, план висел под угрозой, и такие орлы, как Венька, могли не только участок, а весь лесопункт, даже весь леспромхоз вытащить из прорыва.

Антонов похлопал Шилова по плечу:

— Лес валить будешь?

— Мне все равно.

Антонов засуетился. Побежал на коротеньких ножках к будке-обогревалке, вынес оттуда валочный шлем, подал его мужику и кивнул на шагнувшего по ольховой речине Шурку:

— Бензопила вон у этого баламута. Возьмешь! Ну его к бесу! Весь лес перепортит. Пускай за помощника у тебя.

— Можно и эдак, — Венька надел на шапку новенький шлем, но тот не налез, и он взял его в руку.

Мороз был слабый, градусов под пятнадцать, и после душной езды дышалось жадно, в полную грудь. Показалась луна, высветляя каток грузового троса, хвойный подрост, семечную сосну и следы на снегу, разбежавшиеся по вырубке к пасекам. По створам пасек белели затески — здесь побывал вездесущий Антонов, наметив для вальщиков коридоры, в которых сегодня и завтра будут падать деревья. Венька, соскучившись по работе, шел быстрым шагом. Послышался сиплый кашель и резкий шелчок, с каким Чечулин завел свою «Дружбу», сразу всадив ее в ствол осины.

Венька видел эту осину, стройную, влобхвата с зеленовато-серой корой и суками, занявшими всю опушку. Он шел на нее с внимательно-зоркими, как у стрелка, глазами, которые знают норы деревьев, когда те падают под пилой. «Ходить в лесу — видеть смерть на носу», — вспомнил старую приговорку и помахал Чечулину шлемом, чтобы тот не валил осину куда попало. Но Шурка, видимо, прозевал, не успел направить пихало, и осина, звеня суками, повернулась вокруг сердцевины и пошла крениться на Веньку.

— Важно едем! Остерегись!

Шилов с усмешкой рискованного лесоруба не сделал в сторону ни шаг. Осина упала почти в полуметре, вздув перемешанный с листьями снег. Венька сплюнул:

— Волок-то там! — и махнул рукавицей в сторону выскорня-пня, громоздившегося над снегом.

Подрастроился Шурка, почуяв в плевке, взмахе руки и голосе Веньки пренебрежение им, как занюханым лесорубом. Переставив бачок, взглянул выжидающе и упорно:

— Без помощника каково?

— Бери гидроклин.

— Возни с ним.

— Тогда вообще откажись...

Обиделся Шурка.

— Едри твою сорок восемь! Лишка-то тоже не заносись! — запальчиво крикнул. — И ты бы не всякую повалил!

— Как понимать? — Венька бросил к ногам Чечулина шлем, показал на ближние елки. — Может, эту не повалю? Или эту?

Шурка подобрал шлем, напялил его на подшлемник.

— Повалишь, да не на волок. Вона! — кивнул на кондовую в желтых подтеках ель, которую без гидроклина он ни за что бы не взялся валить.

Венька поднял пилу, покачал на весу, проверяя, сколько в ней бензина, завел и двумя подрезами начал в стволе выпиливать клин. Выпилил, выбил его и, зайдя с другой стороны, направил шину к верхней границе подреза.

Чечулин смотрел выжидающе круглыми, как у щуки, глазами на Венькины руки, казалось, слившиеся с рукоятью пилы. «Без меня все одно не спихнешь», — подумал и с улыбочкой поднял пихало, решив упереть вилашками в ствол.

Венька вздурил:

— Поло-о-ожь! — И, дослав пилу до конца, быстро вынул.

Дерево чуть пошатнулось, чиркнуло комлем по пню, оставив на нем лубовую залыску и, будто с порога, сошло на приснеженный дерн. Постояло одну секунду, вздохнуло ливнем хвои и упало, как падают все пораженные смертью деревья, хлестнув макушкой по выскорню-пню.

— Теперь поспевай! — Венька шагнул к бородавчатой, в сизых грибах по стволу березе, в два касания подпилит и, не глядя, как будет падать она, с включенной пилой перешел к соседней сосне.

Он ходил от ствола к стволу, присогнув плечи, ходил и видел перед собой полотно пилы и ее сердито жужжащую цепь. Утопляя шину в древесную мякоть, Венька с каким-то лихим удовольствием ощущал, как дрожь пилы сообщалась ему. «Эх, зарежу!» — шептал про себя. И непонятно было ему, к кому и зачем обращал он это «зарежу», но почему-то от этого делалось легче, кровь по жилам ходила скорей и хотелось работать без остановки.

Трещали деревья, падая с пней на волок. И было в их треске что-то живое, стонущее, как бы прощавшееся с землей, на которой они поднимались. Два человеческих века шумели они своими ветвями и вот лежали теперь между пней, ожидая, когда чокеровщик Серега Манылов, юркий, как ящерка, мужичок обовьет их тросами-удавками, и они под сварливый скрежет лебедки поползут на тракторный щит.

К обеду вальщики утомились, на банно-розовых лицах выступил пот. Уселись на пни, подстелив под себя рукавицы. Чечулин потрогал дыру на фуфайке.

— Что? Стяжком провертел? — улыбнулся Шилов.

Чечулин не принял его улыбки. Он был подавлен и огорчен. Шурка привык работать с людьми способностей самых средних, среди которых он хоть мало-мальски, но выделялся. Теперь же он видел в себе неприметного лесоруба, без кого можно запросто обойтись. Если б его сегодня и не было на делянке, то ничего бы, пожалуй, не изменилось. Шилов бы выдал столько кубов, сколько и с ним. Это-то Шурку и угнетало. «Погоди, — успокаивал он себя, — я еще покажу!» Что он хотел показать, было ему неизвестно, однако чувствовал: надо сделать такое, чего не делал еще никто.

Они сходили в столовую — в длинный, вагонного типа дом на полозьях. За все это время Чечулин слова не проронил. И сейчас с дымящейся папиросой он сидел на березовом пне молчаливо-замкнутый и угрюмый и осторожно, будто горячее яйцо, перекачивал мысль: «Надо сопли ему утереть. Пусть не считает, что лучше его и работника нет...»

Стоял подбеленный снежком зимний день, никуда, казалось бы, не спеша, а меж тем с солнцем, повисшим над бурой сосной, незаметно и медленно угасая. Пахло мерзлой корой осины, которую отодрало со щепой от ствола.

Чечулин поднялся, кряжистый и белобрысый, с заносчивым блеском в круглых глазах.

— Ты хоть деревья валить и мастер, а пила-та моя! — И наклонился за «Дружбой».

— О чем говорить! — Шилов сплюнул окурок и в распахнутой телогрейке, под которой краснела голая грудь, не боявшаяся морозов, прошел к долговязой сушилке, ссек ее, окорнал и, набив на конец стальные ви-



лашки, прикинул на глаз: «Метров семь. Да с такой долгомериной можно сдвинуть любую падину».

Мало кто ныне в северных леспромхозах валит деревья с помощью валочной вилки. И Шилов редко ее применял. Чаше использовал гидроклин, а то и одной пилой управлялся, по наклону ствола и напору ветра определяя, куда надо валить дерево. А у Чечулина все по-другому, ибо был он вальщиком слишком беспечным, терял и цепи, и гидроклин, потому подсобнику у него работать приходилось по старинке.

Затарахтела пила, рассевая по снегу опилки. Чечулин корчился и пыхтел, норовя работать проворно — чтоб пила жужжала бесперебойно, чтоб пропил был точен и прям, и чтоб Венька скорее задохся и, вывалив мокрый язык, изморно молил бы о перекуре, а он бы пуще того припускал, пока не услышал бы за спиной: «Не могу. Устал как собака».

Но Венька был из породы двужилых, кого усталость берет потом, когда наступит конец работе. Он шел по сорному мелкоснежку, успевая вскинуть валочный шест, поднажать на его тупие, направив дерево так, чтоб оно не подмяло подрост и упало ловко для чокаровки. Он видел, как суетился Чечулин, норовя показать себя вальщиком номер один. Зря, конечно, он так. Сломается скоро. Работал бы как умеет. Нет. Надо проворнее всех. Не понимает того, что для этого, кроме рвения, нужен еще и природный азарт. Не перенял его у родителей вместе с кровью — не будешь и вальщиком номер один.

Чечулин свалил полтора десятка деревьев, не очень и толстых, а весь перепрел. С раскрасневшимся лбом уселся на комель, руки его дрожали.

— Слабость какая-то. Почему?

Венька сочувственно улыбнулся:

— Работаешь подневольно.

Чечулин обвел мутновато-замученным взглядом глухую стену бесконечного леса, каждым стволом своим, каждой веткой напоминавшего о работе, к которой он уже охладел. Работать ему окончательно надоело. Скорей бы домой. Был бы Шилов сговорчивым человеком, разожгли бы сейчас костерок и безраздумчиво сидели бы возле него. Можно бы даже без костерка, прямо так, как сейчас, припухать, согреваясь от папироски. Лишь бы не двигаться, не ходить, не подныривать под

деревья. Но с Венькой лишка не рассидишься. Того и гляди заорет, как глухой на глухого, а то и за шиворот схватит и так направит тебя под елку, что не успеешь и возразить. Чтобы этого не случилось, Чечулин намеренно начал спор.

— Работяга ишачит, чтоб заработать! — объявил он голосом заводилы, который внезапно что-то открыл и хочет этим с тобой поделиться. — Ты ведь тоже работаешь из-за денег?

Венька повел озадаченно головой: «Что он, с цепи сорвался?» и неуверенно возразил:

— Вроде не думаю о деньгах.

— Вень! Да ты говоришь, как рубли отпускаешь!

— Как это я говорю?

— Скупой! Видать, оставляешь в подкладке! Бойшься лишнее передать! — Чечулин лез на рожон, задирая Шилова, как парнишку. Но Венька видел это и сам, потому и свел разговор к другому:

— Ты, Шурка, обманываешь себя. Обижайся — не обижайся, но ты не своим занимаешься делом.

Шурку задели слова Шилова, однако артачиться он не стал, потому что ссора могла оборвать разговор, дававший ему возможность побалагурить.

— А ты? — Шурка внимательно посмотрел на огромные валенки Веньки, его хорошие черные брюки, распахнутый ватник, голую грудь и худоскулое, с веточкой хвои на лбу лицо, которое что-то таило.

— Я — своим! — убежденно ответил Шилов.

— Откуда ты это знаешь?

— Я лес валю с удовольствием, если хочешь.

— Это чего такое?

— Ну с радостью, коли так. Дошло?

— Самую малость.

— Работаю как гуляю! Ясно?

— Допустим, ясно. А я? Я как работаю? — спросил Чечулин с язвинкой.

Венька ее уловил. И еще уловил он старание Шурки отвлечь, отманить его от работы. Лицо у Шилова занялось, и он разозлился той строгой рабочей злостью, какой ярятся все мужики, когда их нарочно сбивают с дела.

— Ты походя спишь! Оттого и слабость поехала на тебе, как на ленивой кобыле.

— Занятно! — Шурка заулыбался, точно Шилов вы-

смеивал не его, а кого-то другого, над кем он тоже готов сейчас хохотнуть. — Поехала, говоришь, ну а дальше?

— Дальше... вставай! — намереваясь отвесить хорошую оплеуху, Венька сдернул с руки рукавицу. — Расселся, как в кабинете! Я не докторша со штипцами! Пичкаться долго не буду! Ну-у?!

Шурка мешкать не стал. Вскочил за секунду до оплеухи и потянулся к пиле.

— Ку-уда? — остановил его Шилов и показал на топор и пихало. — Вон твой струмент!

Снова пила заурчала в руках у Веньки, заходила, будто живая, подгрызая стволы. Где-то в прогале пасеки грохотал башмаками трелевочный трактор, поскрипывал трос, и кричал, на секунду вынырнув из сучков, Серега Манылов:

— Стой, Генерал! Еще эту зачокерую! Сё! Готовенько! Волоки!

На душе у Шилова стало мягче, куда-то девалась недавняя злость, точно работа, лес, вся природа старались ему помочь. В чем помочь? Этого он не знал. Лишь затеплившимся краешком сердца как бы угадывал что-то важное, неизвестное никому, отчего так спокойно становится человеку. «Хочу заделать семейный скандал, — думал он. — А может, не надо? Не все ведь женятся по любви. Иные, стойно меня, тоже суют свою голову наобум, не знают, к кому попадет и кто ее грызти будет. И ничего. Живут не хуже людей. Может, и я обживусь со своей Алевтиной? Даром, что старше меня. К тому ж из себя недурна. Тонявенькая маленько. Да это ведь что... Главное характер. Какой у нее характер? Черт его знает. Сразу ведь не раскусишь...» Тут Венька вспомнил, что не она, а он первый к ней клеился на знакомство, когда обмывал у завхоза телевизор. Там и увидел ее. Показалась она ему симпатичной. Шепнул Виське на ухо: «Кто такая?» А тот будто ждал, что спросят его об этом, в усы-калачики улыбнулся: «Моя младшая сестреница. Перевез на днях из колхоза. Будет теперь работать в поселке...» Уходил в тот вечер Шилов от Виськи с масляными глазами: рядышком с ним, привалившись к его плечу, ступала стройная Алевтина. Прижимаясь к ней в сумеречном проулке, не чаял Венька и не гадал, что через несколько дней он будет ее мужем. «Ер-кородер, — ворчал он

сейчас, проходя с дребезжащей пилой меж деревьев, — зацепила меня под жаберки, как хорошего окунька. Да и я-то уж прост. С открытым зевалом да на приманку. Ну разве так ныне можно?..»

Ругая себя, Шилов слышал глухой ропоток уморенного Шурки, которому не терпелось закончить работу и поспешить к полыхавшему возле дороги костру. Но Венька, сутуля плечи, клонился к изножию елок, валил их одну за другой, накапливая задел на завтра. Солнце проваливалось сквозь лес, снег посинел, и по хвойным прогалам украдцей, как воры, пошли скользить сумеречные тени. Вечер вставал неожиданно, будто из-под земли, в одну минуту стушевывая окрестность.

Венька хотел бы свалить еще пару-другую деревьев, но Чечулин, весь выжатый, словно мочалка, уже не роптал, а кричал, протестуя против работы. Убирая пилу под елку, Шилов взглянул через вырубку на костер:

— Автобус вроде не подошел.

Лицо у Чечулина исказилось:

— Подошел! Я слышал! Четыре гудка! А то остаемся ночевать!

Шилов взмахнул рукавицей: «Черт с тобой!» И Шурка, швырнув топор и пихало, ступил на березовый лежень, прыгнув с него на пружинистый хлыст, а потом — на другой, и пошел выскакивать, будто заяц. «Пропадает талант», — приосклабился Шилов и в ту же секунду забыл о Шурке. Сквозь жесткий лапник выбрел на тракторный волок. Пахнуло дымом костра. Запах такой зазывающий, знакомый, но теперь он Веньку не волновал. Вальщик шел по измолотой колее, впервые в жизни не понимая: нужно ему торопиться или не нужно? Сегодня его дожидались дома. Это было для Шилова непривычно. Правда, и раньше его дожидались. Но то была мать. А всем матерям от природы положено ждать своих ненаглядных, где бы те ни находились. Но тут молодая, как с неба свалившаяся, жена, и он не знал, как надобно относиться к ней. «Другие-то как?» — задумался он и увидел автобус, который лихо вынырнул из-под елок, залил белым светом пустырь ольховой редины, мачты с блоками, два прицепа и мельтешивших возле костра мужиков.

Залезали в автобус с бою, стараясь занять места по-лучше. Венька снова, как утром, забрался последним и, не глядя, уселся на чьи-то колени.

Дорога метнулась под белые всполохи фар. Кто-то снял с головы подшлемник, кто-то вынул козду карт. Лампочка в потолке освещала небритые лица; глаза, морщины и выступы скул выдавали нервное нетерпение, с каким мужики норовили попасть в жилое. Все они очень устали, и каждый хотел хорошо отдохнуть, нырнув с головой в благодатный покой родимого дома. «И я вот нырну», — думал Венька, чуя тревогу, с какой душа его примерялась свыкнуться с чем-то необходимым.

От меховых полушубков и потных шапок воняло замученным зверем. За окном угрюмо мерцал посеребривший снег, чернели деревья, и кое-где между ними желтели искорки звезд. И отовсюду дышало холодом и покоем. Шилов ощущал этот холод и этот покой так, словно все то, что виднелось сейчас за окном, переселилось к нему, подобравшись под самое сердце. Мысленно он начинал примиряться с тем, что произошло с ним. «Другие-то как?» — снова подумалось ему, и глаза его обежали затылки, подшлемники и фуфайки.

«Чья брюковинка вон эта? — увидел торчавшую над фуфайкой желтоволосую кругленькую головку. — Сереги Манылова? Точно. Евонна овощь, не отберешь. Жена у него здорова, — улыбнулся Венька, — одинсва ночью Сережку чуть титькой не задавила. А любят друг дружку. Что ж. Ихнее дело. Мое не такое. Мне нужен пример. А Серега для этого не годится...»

Шилов бровями пошевелил, и глаза его поймали Чечулина Шурку, который, играя в карты, чем-то лукавенько умилялся, точь-в-точь бубновый валет, только без усиков и без шляпки. «Тоже ведь был холостым, — с интересом отметил Венька, — пять лет деваху себе выбирал. И выбрал такую, что весь поселок расхохотался. Брови лохматые, ровно усы, а голос — хоть продавай на районном базаре. Но это не главное. Главное другое: его густобровая оказалась с приданым — с парнем двух лет да девулей трех с половиной. Кто бы из нашего брата экую взял? Немного таких отлетов. А Шурка не побоялся. Женился как пошутил. Все думали: ненадолго. Однако четыре года проехано. Кто бы подумал? Живут и не думают расходиться. Да-а, — недовольно поморщился Шилов, — и Шурка мне не пример...»

Тут он увидел перед собой большеплечего бригади-

ра. «Генерал! Вот ведь кого мне надо!» Шилов приободрился. Вася жил с сухопарой Глафирой, у которой, как говорили шутники, при ходьбе громяхают кости.

Бригадир малокомплексной был широк. Он сидел, занимая почти два сиденья. Венька зажегся желанием расспросить: каково живетс я ему с женой? Прикоснулся пальцем к его горячему толстому уху и, когда бригадир обернулся, спросил:

— Слышь, Генерал, если бы кто подвалил к твоей благоверной, ты бы чего с ней содеял?

Сажин был добродушным человеком, любил все смешное, но Венька его удивил диким вопросом, и он осторожно переспросил:

— К моей Глафире?

— Ага, к твоей.

Бригадир стал медленно наливатьс я багрянцем, нашее набухла сизая жила.

— Ты что, серьезно?

— Вполне.

— А для чего тебе это?

Шилов сказал:

— В семейной жизни я новичок. Хочу, чтоб ты опытом поделился.

Сажин смутился, найдя в словах мужика что-то доглупости странное и смешное.

— Я?

— Больше некому, — ответил Шилов да так виновато, так робко ответил, что бригадир невольно повеселел:

— Ха! Веня! Прах тебя замети! Али настелько своя надоела, что позарился на мою?

— Брось хохотать, — сказал Венька. — Я к другому сказал. В тебе ведь, поди-ко, сотня кило?

— Сто два, — уточнил бригадир.

— А в Глафире, наверно, пятьдесят?

— Где-то эдак.

— Сто два повалить на пятьдесят, — осторожно заметил Шилов, — так ведь можно и раздавить.

— А зачем обижать костоватых, коль достаточно полноватых!

Надо думать, Сажин сказал все это шутя, но Венька принял ответ на веру. Положив на плечо бригадира руку, он подался к нему:

— Значит, Глафиру не любишь?

Сажин вздрогнул, взглянул на вальщика с изумлением:

— Ну даешь! И чудило ты, Веня! Любишь... Да ты спроси у меня: это чего такое? И я тебе не отвечу, потому как не знал, не знаю и знать не хочу!

Венька откинулся к спинке сиденья. «Спасибо тебе, Генерал, — мысленно усмехнулся, — теперь и я со своей Алевтиной буду жить так...»

В голову Веньки полезли греховные мысли о будущей жизни, в которой его Алевтина займет самый крохотный уголок, а все остальное в ней место захватит другая. Кто она? Этого он покуда не знал.

Шилов щелкнул пальцами. Жест означал: «Дайте мне папиросу». Ему протянули несколько папирос.

В автобусе было привычно: кто в карты играл, кто дремал, кто слушал разговор Антонова с Шуркой. Мастер, сверкая вставными зубами, пытался узнать, зачем Чечулину нужен отгул.

— Никак в город по пиво поедешь?

— Пиво потом.

— По мясо?

— Да ну его.

— Зубы, может, вставлять?

— Да нет, — поморщился Шурка, — к матери надо на день рожденья.

— И сколечко ей?

— Сорок.

— Доброе дело, неужто все сорок?

— Все как один.

— А тебе?

— Мне двадцать восемь.

Антонов язвительно улыбнулся:

— Мати-то как тебя — в детском возрасте принесла?

Чечулин обиделся:

— По-о-чему?

— А ты отыми от сорока двадцать восемь. Сколечко будет? Ровно двенадцать.

— Ухх! Едри твою сорок восемь. Омолодил! Ей, видно, не сорок, а все пятьдесят.

Все посмотрели на Шурку, как на потешного баламута — вечно чего-нибудь переврет. Но с Шурки как с гуся вода: утер рукавицей лицо и снова готов к разговору.

Въехали на угор, откуда открылся поселок. Пронесли высокие, в сорок рядов штабеля сортиментов, будто древние стены монастыря, неприступно и хмуро стоявшие среди потемок.

Поросшие серым ледком мостки тянулись вдоль главной улицы в оба конца поселка. Венька решил подождать, пока разойдется народ, чтобы побыть одному. Он закурил новую папиросу, оперся плечом о конторский забор. Дома и бараки были освещены, в зареве окон дорога, заборы и пешеходы казались новыми, не такими, к каким привыкли глаза. И темнота казалась иной: словно пугаясь яркого света, она отодвинулась за сарай и терпеливо ждет свой любимый полуночный час, чтобы снова заполнить улицы и подворья.

Шилов направился по мосткам в сторону низких бараков и брусчатых — в два этажа — еловых домов, в одном из которых его поджидала теперь Алевтина. Навстречу, гонимая ветром, катилась снежная стружка. Наташило откуда-то туч, небо стало мутным, лишь на окрайке поселка, где гаражи с мастерскими, оно краснело и голубело.

Звения стеклом, распахнулось окно барака. Гуляла вербованная братва. В окне показался стриженный парень. Увидев Шилова, он закричал:

— Эй, валенок без галоши! Ты мне не нравишься! Понял?

Шилов остановился.

— Ер-кородер, — и сдернул брезентовую рукавицу с руки.

Вербованный вдруг улыбнулся, повернулся к столу, сгреб поллитровку, стакан, ломоть хлеба, перекинул ноги за подоконник и спрыгнул в хрупнувший снег.

— Старик, извиняй! — попросил, подбегая. — Не сразу узнал. Ведь я гулял у тебя на свадьбе. Помнишь?

— Не помню, — нахмурился Шилов.

— В гармошку еще играл!

— Ну и что?

Стриженный вылил водку в стакан.

— Пей, старик!

Пренебрежительным жестом руки Шилов отвел от себя подачку.

— Сам пей.

Стриженный удивился:

— Но я хочу тебя угостить!



Венька спросил:

— Свадьба когда у тебя?

— Не знаю.

— Когда узнаешь — мне сообщи.

— Сообщу, — растерялся парень, — а для чего?

— Ты же меня угостить собирался?

Вербованный хохотнул:

— Старик! Да я женюсь, может, лет через десять!

— Я терпеливый. Могу подождать и десять. Хотя все может содейться и сегодня.

— Чего содейться?

— Свадебка у тебя.

— Заливай! — усмехнулся сезонник. — Где у меня невеста?

— У меня тоже не было, да нашлась, — Венька взял у стриженного стакан и вылил водку. — Больше не пей, а то проснешься утром женатым, будешь локоть кусать, да поздно. — Возвращая стакан, Шилов погладил парня по стриженной голове и, оставив его стоять с ломтем хлеба и стаканом, пошел неторопливой походкой к своей Алевтине. Сезонник крикнул ему вдогонку:

— Не сердись на меня?

— Больно надо, — откликнулся Венька. Он и в самом деле ничуть не сердился, даже напротив, сочувствовал парню. Стриженный был из тех беззаботных ребят, которые ездят по леспромхозам, чтоб заработать побольше денег, — и зарабатывают, конечно, да только проку от этого мало, ибо в один бесшабашный день все до последней копейки снесут в магазин, а наутро с больной головой станут думать: куда бы им тронуться на сезон, чтобы побольше подзаработать?

Венькин взгляд мимолетно коснулся дверей магазина, откуда вышла высокая молодуха в черном жакете. Руки у нее были заняты продуктовой сумкой и ребенком, и дверь молодуха закрыла ногой. Венька узнал в ней разметчицу Зинаиду, красивую рослую разведенку, на которую пялил глаза каждый третий мужик в поселке. «Во бы надо на ком жениться! — подумал Венька. — Да только чего теперь? Опоздал. К тому же вон у нее и довесок. А с довеском брать... Хы... Это уж извините. Мы не таковские. Впрочем! — Венька даже остановился, до того пришлась по нутру эта мысль. — О чем тужу? Зинаидка не без греха. И не я, кажись, первым об этом знаю. Почему бы не подвалить? Безо

всякой женитьбы! Мужчина я — ничего! Носише, правда, здоровый. Но это не главное. Возьму, да и попытаюсь. Пускай мне завидует Генерал...»

Венька был человеком нетерпеливым, на потом не откладывал ничего. Суматошно, будто его толкали, обогнал разведенку.

— Здорово, Зин! Далеко ли ходишь?

Зинаида крутнула плечом: мол, чего тебе надобно от меня? Венька же увидел в этом другое и тотчас же решил: «Заигрывает со мной».

— В магазин? — улыбнулся Венька.

Молодуха съязвила:

— В лавку!

«Точно, заигрывает», — утвердился Венька в своей мысли. — И решительно наклонился к ее сумке:

— Давай подмогну!

— Своей подмогай, — ответила Зинаида.

Не ожидавший отпора Венька слегка опешил, но секунду спустя смекнул: «Цену себе набивает». И замедлил шаг, чтоб идти вровень с молодухой.

— Своей-то, может быть, не хочу.

Зинаида склонила лицо над ребенком, гукнувшим что-то сквозь одеяло, приоткрыв гладкую шею, словно дразня Веньку.

— Горлышко не застудишь? — ляпнул Шилов с нелепой улыбкой упорного пристава.

Она насмешливо глянула на Веньку, и он понял, что ничего тут, пожалуй, не выйдет... Но отступить было поздно, и он прибавил:

— А то давай верхнюю пуговку застегну.

Зинаида резко свернула с мостков:

— Не комар, а тоненько вьешься! — И пошла по седым волоконцам поземки в свой придавленный плоской крышей семейный барак, где была ее маленькая квартирка.

Венька вспыхнул, как опаленный морозом. С гнетущей досадой он вспомнил, что ему никогда не везло на женщин. Не любили они его. Как не любят, видимо, и теперь. «Не скажи-и! — на память пришла Алевтина. — Она-то ведь любит. Чего еще? Чего еще надо семейному человеку?..»

Проходя во двор, весь заваленный чурбаками, Шилов открыл неожиданно для себя, что он не из тех мужиков, которые женам изменяют. «Не получится, — по-

нял он, — как бы я хвостом пи крутил. На это тоже нужен талант».

На низкое, без перил и крыши крыльцо Шилов ступил, озираясь. На веревке, что протянулась от дома к забору, морозились заколелые майки, трусы и рубахи. Все это было его, и Венька смущенно смотрел на белье. Раньше с этим бельем было столько хлопот: стирал втихаря, чтобы никто его не увидел, зимой — в бане, летом — на речке. Да часто, выстирав, тут же на тело и надевал, терпеливо снося холодок, пока белье на нем подсыхало. И вот заботы с бельем не стало.

Отворял Венька дверь неуверенно, как квартирант у ворчливых хозяев. Вошел и несмело остановился. Веничек у порога, свежевывитканый половик, стол под яркой клеенкой, запах молочного и мясного — во всем ощущалась старательность и забота чистоплотной женской руки.

Продробили шажки, и из комнаты в кухню, раздвинув ситцевый полог, вбежала жена. Сколько радости было в ее лице, сиявшем веснушками и улыбкой! Она протянула руки, хотела его обнять. Но он отстранился. Дрогнула Алевтина, однако скрепя сердце сказала:

— Ну-ко цельнехонек день не евши! Эдак недолго и похудеть!

Она приняла у него фуфайку, повесила на гвоздок и, налив в умывальник воды, закружилась, будто веселая пчелка, уставляя стол варевом, жаревом и вином.

— Поправлять головушку будешь? Нет? Ну и ладно. Ешь-ко давай!

Шилов сидел за столом, и было ему беззаботно и просто, как при покоенке маме, которая тоже любила его угощать. Аппетит у Веньки был на троих. Ел и время от времени взглядывал на жену. Была она в белом платье, на груди поблескивал медальончик. «Нарядилась для меня! — отметил не без удовольствия. — Поправиться хочет... Валяй!» Иногда он ловил ее взгляд и читал в нем не только радость, но и мольбу: «Ну что ты такой понурый? Будь хоть чуточку веселей!» Хмурился Венька. «Как бы не так! Заполучила меня лукавым манером — я же и веселись...»

Поужинав, Венька привалился к стене, закурил. Весь его вид говорил: «Давненько эдак не угощался!»

Убрав со стола, Алевтина уселась напротив со спи-

цами и вязаньем. И опять он вглядывался в нее зеленовато-стальными глазами, упорно желая понять, что за женщина перед ним, насколько добра и сможет ли он с ней прожить целый век.

— Спать! — Венька поднялся, тяжелый и разморенный, прошел за ситцевый полог, где пахло выглаженным бельем и стояла кровать с приоткинутым одеялом.

Утром Шилов проснулся с хорошим чувством покоя, как если бы в нем надолго, на многие годы вперед, установилась степенность довольного жизнью семейного мужика, которому выпало жить с надежной женой. Голова была свежей, освободившейся от забот о сухой рабочей одежде, от вопроса, чего бы поесть, и насчет всего остального, что волновало его прежде. Все заботы о нем приняла на себя жена.

Шилов не ведал, как много может вынести сердце, если оно полюбило в той запоздалой поре, когда надежды на замужество почти не остается. Алевтине было тридцать два года. В этом возрасте редко справляют свадьбы, однако ей повезло. Но сколько тревог и страхов испытала она, переезжая из деревни в поселок к незнакомым людям. Особенно трудно ей было на шпалорезке. Старшим здесь был Касторий Рожков, падкий до денег мужик. Он и бригаду себе подобрал такую, чтоб все работали в поте лица. На подкате бревен и выгребке ямы стояли три украинца, прибывшие в северный леспромхоз, чтоб отсюда в конце сезона отправить в свой южный колхоз нагруженный лесом вагон. В Алевтине все четверо углядели помеху: будет мешать зарабатывать деньги, — и потому ее встретили с холодком.

Рожков, прочитав записку Виссариона, принесенную Алевтиной, надел защитные очки и взглянул на нее:

— Рабочая кадр?! Тэ-эк! И кажется, женского рода?

Алевтина обиделась:

— Неуж нисколечко не заметно?

— Заметно, — ответил Рожков, — однако мы просили мужского рода.

— Я ведь не знала. Мне так сказали.

— Кто сказал? Виссарион? Тэ-эк! — По впалым щекам Рожкова мелькнула тень чуть приметной усмеш-

ки. — По-родственному, выходит? По благу? Ну ладно. Будем глядеть...

По тому, как Рожков посмотрел куда-то мимо нее, как резко и зло закурил папиросу, как подошел к опущенной снежком тележке и что-то буркнул подкатчикам бревен, Алевтина поняла: ей придется нелегко.

Включая рубильник, пильщик махнул рукавицей вдоль стылых рельсов, приказав Алевтине снимать с тележки тесины, а горбыль откидывать прочь.

Работа была простой, но требовала сноровки, а ее надо еще нажить. Алевтина, склонившись к каткам, бегала вдоль ограды, за которой порывисто хлопал длинный ремень. Тесины боркали под рукой, неохотно и тяжело уносясь по каткам до подштабельных слег, на которые их полагалось уложить. Но на это времени не хватало. От косых рычагов, где стоял, мерцая очками, Рожков, надвигалась тележка. Попробуй ее не встретить, не прими тесину в тот самый миг, когда колеса рванутся назад, — пильщик тут же распетушится и прокричит тебе несколько слов, от которых по коже твоей пробегут ледяные мурашки.

Алевтина старалась. Мужики, пропустив сквозь пилу полтора-два десятка еловых бревен, садились курить, она же отшвыривала горбыль, очищала от мусора рельсы и неслась со всех ног подымать на штабель сырые тесины. В платке, опустившемся на глаза, неуклюжем ватнике и огромных спецовочных рукавицах она как бы вся затерялась в одежде, выглядывая из нее в тесный мир забитого бревнами нижнего склада с обреченностью грустной, отставшей от стаи осенней птицы.

— Тэ-эк! — сказал ей однажды Рожков подобревшим голосом. — Махоньки ручки, а эстоль силешки! Где это ты ее накопила?

— На колхозных коровках. Десять лет кланялась перед ними.

Алевтина не чаяла так скоро привыкнуть к работе, приноровиться к характеру мужиков, однако довольно скоро стала во всем успевать и даже выкраивала минутку, чтоб взглянуть в карманное зеркальце.

Как-то к ним заглянул начальник лесопункта Трофимов.

— Почему до сих пор полового тесу не напилили? — недовольно спросил у Рожкова.

Пильщик замаялся, снял защитные очки, что-то хо-

тел объяснить, но разразился сухим продолжительным кашлем. Алевтина, желая ему помочь, готовенько под-сказала:

— Напилили еще вечер. Сорок семь половых. Я считала. А севодни утречком увезли!

Трофимов насторожился:

— Куда увезли?

— Как куда? На строительство! Э-э, Кастоша! — Алевтина дотронулась до Рожкова. — Ты чего? Неужто забыл? Ведь твой Васечка приезжал! — назвала бригадирова сына.

Лицо у Рожкова окаменело.

— Так куда же? — Трофимов взглянул на пильщика с едкой усмешкой. — На строительство клуба, где я только что был, или — личных хором, где не был, но где бываю?

— Личных хором.

— Понятно! — промолвил Трофимов. — Вечерком заглянешь в контору, — и направился споро в поселок.

Поняла Алевтина, какую мину подвела под Рожкова. Она ведь этого не хотела. Откуда ей было знать, что половые тесины Рожков повезет для себя? Она покраснела, точно была в сговоре с бригадиром, с этим пронырливым мужиком, кого по нынешним временам порядочным не назовешь, однако и вором назвать едва ли посмеешь.

На другое утро на шпалорезку вместо Рожкова пришел дядя Юра Оборин, лысенький добрый человек, который со всеми поддерживал хорошие отношения. На Алевтину Оборин поглядывал так, словно она могла его выслать куда-нибудь из поселка. Он даже начал заискивать перед ней, хвалить по делу и не по делу, а безусловно работавшим украинцам ставить ее ежедневно в пример. Алевтине было неловко от сладких похвал, и однажды, не удержавшись, она поймала Оборина за рукав:

— Али я гора какая, что могу на тебя упасть?

— Не гора, — согласился Оборин.

— Тогда с каких-таких мух меня эдак боиссе?

— А вдруг донесешь руководству и на меня?

— Дурак ты, — беззлобно сказала Алевтина.

После разговора дядя Юра стал глядеть на молодку естественней и проще и относиться к ней, как ко

всем. А Алевтине куда спокойнее жить, ежели получаешь столько, сколько заслужишь.

Лишь вечерами она желала себе побольше — побольше внимания от того, без кого ее жизнь надломилась бы, как лучинка. Каждый день она дожидалась с волнением сероватой вечерней поры. И каждый раз возвращаясь после работы домой, гадала: куда бы сначала слетать? В магазин? Столовую? На колодец? Через час-полтора приедет из лесу муж, и надо встретить его. Встретить так, чтобы он оттаял от холода, сбросил с себя всю усталость и, взяв ее руки в свои, сказал: «Вот мы и вместе». Но до такого надо было еще дожить.

— Вот я и дома! — сказал как-то Шилов, перешагивая порог, чем смутил Алевтину необычайно.

Шилов был покладистым человеком, из тех, кто плывет по течению обстоятельств. Был холостым — хорошо. Женатиком стал — тоже ладно. Каждый раз уезжал в лесосеку сытым, выспавшимся, довольным. А домой возвращался, зная, что все здесь будет, как в самолучшей семье. Быстрые руки жены не давали раздеться, торопливо и радостно обнимали, а он стеснялся, понукивал и ворчал, однако рук не отпихивал, не отстранялся. И всегда к приезду его был готов горячий ужин и даже приемник настроен на концерт. Венька спрашивал себя: и когда Алевтина все успевает? Ведь работает целый день, пусть и рядом, на шпалорезке, но за какой-нибудь час суметь сходить за водой, закупить продуктов, печь истопить, изготовить первое и второе — на это, действительно, нужен был дар прирожденной хозяйки, гораздой стараться за четверых.

Над Венькой стали беззлобно подтрунивать:

— Ты, паре, вроде бы как потолстел?

Шилов покладисто соглашался:

— Может, и потолстел.

— С чего бы это?

— Жена бережет.

— Это же, паре, редкость. Где ты экую отхватил?

— Не я, — улыбался Венька, — она меня отхватила.

Вскоре у Алевтины открылся еще один дар — принимать званных и незванных гостей. Уж как-то само собой повелось, что к молодым стали часто похаживать гости. Алевтина старалась от души: покупала водку, пекла пироги, готовила разносолы.

Был полон привета к гостям и хозяин. Ему нрави-

лось быть среди старых знакомых, открывая в них что-то новое, не такое, к чему он привык, каждый день выполняя с ними одну и ту же работу.

Целый вечер в открытую форточку прорывались гармонные трели, постук стаканов, смех. Кто только у Шиловых не бывал! И осанистый Вася Сажин, умевший поддерживать шутки таким смехом, что кслыхались оконные занавески; и чокеровщик Серега Манылов, баловень всех дней рождений и именин, куда его приглашали как запевалу; и мастер Антонов, любивший поспорить о жизненно важном; и Шурка Чечулин, весь распираемый от вранья; и многодетный Цивеленков, пожилой, с кабинетной бледностью на лице кассир лесопункта, вечно охваченный грустной мыслью — где бы занять до получки; и косоокий кряжистый брат Алевтины Виссарион. К Виссариону Шилов испытывал сложное чувство, не зная толком: то ли ругать его, то ли благодарить.

Виссарион и сам понимал, что Венька к нему относится как-то особо и, мучаясь этим, искал случая объясниться с ним.

Случай такой подвернулся. Справляли Венькины именины. Хозяин сидел, разомлевший и тихий, уткнувшись в плечо Алевтины литым подбородком — верный признак того, что он в золотом настроении, кроток, как голубь, покладист и добр. Виссарион, ни минуты не мешкая, вызвал его в коридор.

— Как жизнь молодая?

— Да так, — буркнул Венька, плохо соображая, к чему клонит Виссарион

— Женкой, небось, доволен?

— Не лишка ли хочешь знать?

— Не лишка, — ответил завхоз.

Венька занервничал:

— Для чего-о?

— Ну как... — подзамялся завхоз. — Все-таки интересно.

— Что интересно?

Виссарион намекнул:

— Кто поженил тебя, знаешь?

— Ты постарался!

— А почему? — спросил завхоз и сам же ответил. — Потому что увидел: пара вы друг другу. А коли пара,



дак нечего жить поодинке. Вот и решил вас столкнуть голова к голове. Правильно это я? Верно?

Заискивающий тон, с каким завхоз говорил эти слова, вид его лица с коротким носиком и усами, закрученными под калачик, вызвали у Шилова раздражение:

— Правильно! Верно! — передразнил он со злостью. — Тебе-то какое дело? — И повернулся, чтобы уйти, но завхоз забежал вперед, встал затылком к дверям и раскинул руки:

— Не, не.

Шилов вскипел:

— Чего еще? Ну-у?

Виссарион попрекнул:

— Большой, а тупо-ой!

Глаза у Веньки сверкнули зеленым.

— Какой?!

— Теперь я родственник твой! — воскликнул завхоз. — И желаю, чтоб ты и дале жил хорошо с Алевтиной! Правильно я?

Шилов пожал плечами.

— Ты что, много выпил?

— Мало, однако могу и много! — Просыпав ботинками дробь, Виссарион дал полкруга около Веньки, попытался его обнять, но тот был на целую голсву выше, и рука лишь скребнула по плечу. — Эх, паре! Хоть ты и злой, а люблю тебя, как братана! Иначе не выбрал бы для сеструхи!

Завхоз не лукавил. Глубокой ночью Шилов проснулся от разговора. Голоса доносились из кухни.

— Как он тебя? Не шибко хоть обижает? — узнал настойчивый голос завхоза.

— Сдурел! — ответила с вызовом Алевтина.

— Сдурел не сдурел, а парень он с норовком. С таким не каждая совладает.

— Полно, Вися, — оспорила Алевтина, — спокойной он. Даже выпьет, когда, голосу не подымет.

— Не часто ли выпивает? — придрался завхоз.

— Да как и все: в аванс, получку да праздник.

— Зачастили к вам гости, гляжу.

— Ходят, дак как?

— Хлебосольно встречаете, вот и ходят.

— Хороших людей как не встретить!

— Они-то часто вас принимают?

— В этом ли дело.

— Вот-вот! Скоро, гляжу, вас совсем разорят. Подсажи хоть ему, чтоб помене тратился на бутылки.

— Буду я ему настроеннице портить!

— Ну, сестреница! Ремень бы на вас! Стали б поэкономней.

— Жмотиться-то чего? Раз и живем! А денег нам хватит. Не машину и покупаем. Можем дать и тебе, коль попросишь.

— Ну язва! Как у тебя язык повернулся! А впрочем, чего меня лихо взяло? Живите как знаете. Я не указчик. Только тебе бы...

— Что мне? — встревожилась Алевтина.

— Следить за ним в оба! Чтоб никто не займовал у него. Он, знаешь, какой у тебя?

— Какой?

— Простой. А простым можно деньги не отдавать. Верно я? Правильно?

«Значит, деньги трачу не эдак, — задумался Шилов. — А как, интересно, другие? Вон Вася Сажин? Мастер Антонов? Серега?» Поразмыслив над этим, Шилов открыл для себя, что каждый из них делит деньги на две половины: одну оставляет на нынешний день, а вторую сберегает на отпуск с поездкой к далекой родне или на дорожную покупку.

Венька деньги свои никогда не делил, относился к ним просто. Есть они — тратил, нет — наживал, чтобы снова тратить. Зарабатывал Венька по двести, по триста рублей, но жил без всякого шика, даже скромнее, чем большинство. И все оттого, что охотно давал займы или покупал вещи, которые вскоре надоедали, и он без сожаления с ними расставался: кто первым похвалит вещь, тому и дарил.

Не удивительно, что свадьба справлялась на деньги жены, Шилов не внес ни копейки. Оттого его многие дни и точил зуд стыдливого беспокойства. Как-то сказал об этом жене. Алевтина махнула рукой:

— О чем говорить-то удумал? Ой, чудушко! Мои денежки али твои? Разница-то какая? Неуж наша жизнь замешана на деньгах?

— На долгах! — усмехнулся Венька.

— Во! Во! — подхватила жена, не замечая усмешки. — Севодни мы одолжим бедолажке. Завтре он нам с тобой одолжит. Жаль, что эдак умеют не все.

Шилов спросил:

— Я-то, по-твоему, как? Умею?

— Венечка! Не тебе об этом пытаться! У тебя душа открытая, ровно поле. А в поле — ни корысти, ни лести. Возьми хоть меня: кабы не ты, жила бы пустоцветом.

И вновь хотел усмехнуться Венька. И губы было ничтожкой растянул, однако усмешка не получилась. Дивно стало ему, что его жена, обычная с виду бабенка, так умно разбирается в людях, словно среди них целый век прожила, накопила старушечий опыт и вот способ — на теперь рассуждать обо всем.

— Вот ты какая...

— Какая?

— Занятная, ер-кородер. Рассказала бы, что ли, как там жила у себя в деревне?

— Да как и все, — ответила на вопрос Алевтина. О прошлом она вспоминала с досадой, как о чем-то однообразном, затянувшемся дольше, чем надо. Ну что она вспомнить могла? Деревушку, замужних подруг да колхозную ферму, где она до сих пор продолжала б доить коров, кабы не брат ее Виссарион.

Перебравшись в поселок, она всю осень жила у брата. Хорошо, что была при деньгах, а то еще неизвестно, как бы ее приняла Евдокия, жена Виссариона, скредная и брюзгливая баба. Виссарион, помня об этом, поспешил устроить сестру на работу. И со свадьбой поспешил.

Теперь Алевтина жила, не завися ни от кого. Жила, имея свой угол, работу и своего разлюбленного Веню, о котором заботилась по-крестьянски истово и серьезно.

Шилов и сам замечал, что он занимает в семье особое положение. «Не слишком ли это? — выпытывал у себя. — Все для меня. А когда для Альки?» Он долго вынашивал мысль: чего бы ему жене такое хорошее сделать, дабы не считать себя перед ней виноватым? «Куплю дорогую шубку! — надумал. — Как у жены начальника лесопункта. Пусть пофорсит, пока молодая. Денег нет — не беда, заработаю на повале...»

Но заработать в этом году было непросто. Зима выдалась многоснежной, и валка шла с грехом пополам. Приходилось работать не столько пилой, сколько лопатой. Чтобы не было сбоя, мастер Антонов стал привозить подсобных рабочих. Но и они едва успевали. Не потому, что много было работы, а потому, что они ее

не любили. Оно и понятно. В подсобники попадали обычно те, кто приезжал в лесопункт на сезон, всякое дело в лесу представлял приблизительно и сумбурно и был заранее убежден, что оно ему будет в тягость.

Глядя, как подсобники экономно, не торопясь, тратят свои силы, оберегая себя от устатку, Шилов нервно покусывал губы: «Следят за здоровьишком. Хы-ы!» Сам же он за здоровьишком не следил. Полагал, что его ему хватит. Хватит на собственный век. А может, еще на чей-то. Потому, не щадя себя, так же жестко спрашивал и с других. Но сезонники были все словно на один характер, одно лицо и одну повадку. Он и ругал их, и оскорблял, а порой, не сдержавшись, тряс пятерней, обещая увесистый подзатыльник, коли не станут работать лучше. Однако ни то, ни другое, ни третье не помогало. Подсобники отбывали смену, как повинность, и менялись у Шилова каждый день.

— Подпилю вам пятки! — пер на них Венька с заведенной пилой, когда сезонники, чуть взопрев, бросали лопаты на снег и садились на них отдохнуть.

— Не жаль, — отвечали они с безразличной улыбкой.

Матюкнувшись, Шилов шел по сугробу, ломая ногами кусты. Добирался до дерева и, оставив пилу, голенищами валенок и лопатой распахивал снег. От мысли, что он выполняет чужое дело, дело людей, которые в это время сидят на лопатах и отдыхают, все в нем кипело. Он возвращался к сидельцам.

— Чего расселись, как в кино?

— В кино-то теплей! — отвечали ему с усмешкой. — А тут холодина и дует со всех сторон.

Шилов яростным жестом руки показывал вдоль повала:

— Шмоляйте отсюда! Ну-у! Да мастеру передайте, что я протурил вас как седунов!

Такой оборот был работникам не по нраву. Отдирая штаны от лопат, они подневольно вставали, вздыхали на всю лесосеку, и вяло, как арестанты, брели к заметенным стволам. Расчищая их, долго и нудно ворчали, кляня Вологодчину вместе с ее сугробами и лесами, в которых только и жить таким древорубам, как Венька Шилов. А вечером, перед отъездом в поселок, каждый из них торопился увидеть Антонова, чтоб заявить:

— Боле к Лютому не пойду!  
— К кому? К кому? — переспрашивал мастер.  
— К вашему вальшику номер один.  
— Что же?  
— Да как на каторге у него. С ним надо работать не человеку.

Сезонников в лесопункте сорок пять человек. Почти все бывали с лопатой у Веньки, хорошо познав его голосину, взрывной характер и яростный взгляд. Побывали и были оскорблены не только взглядом, скриком и угрозой, но и всем его вызывающим видом, каким лесоруб давал им понять, как он открыто и искренне их презирает. В конце концов многие стали ходить к начальнику лесопункта и жаловаться, что Шилов совсем обнаглел — одного обозвал козлом, второго — тунецем, а третьего даже еще и пнул.

Трофимов не вызвал бы Веньку к себе даже за более тяжкий проступок, кабы не жалоба на него с тридцатью подписями. Перечисляя грубости лесоруба, жалобщики предупреждали: если начальник не примет мер, то обо всем станет известно районному прокурору. Трофимов ценил мастеров больших кубометров, но он же считался и с дисциплиной — привык, что и сверху, и снизу к нему относились, как к деловому начальнику лесопункта, который умеет весь коллектив заставить жить и работать так, как этого требует время.

— Понял, мил человек, почему убираю тебя из бригады? — спросил Михаил Фролович, прочитав жалобу Веньке.

Шилов сидел, со скукой разглядывая этажерку, пальто и серую пирожком шапку из каракуля на вешалке за печкой, окно, глядевшее в палисад, и широкую в гладких филенках дверь, в проеме которой виднелся пожарный крашенный щит с огнетушителем, топором, лопатой и ломом. Им владело то чувство покоя, какое бывает у людей в кабинетах, где ведется разговор о чем-то малопонятном и строгом.

— Бумажкам верите, — буркнул он.

— Не только бумажкам, но и тебе! — Трофимов встал, сунув руки в карманы брюк. — Однако уж так ситуация повернулась. Ты уловил момент в их письме, где говорится о фельдшерской справке? Справку выдали работяге за неспособность к ходьбе. А кто неспособность эту устроил?

— Ну я! Ну и что? Заслужил, потому и устроил.

— Я не против. Устраивай. Но чтоб не было этих справок. И жалоб чтоб не было никаких! Не кому-нибудь — мне расхлебывать за вас...

— И куда я теперь? — перебил его Венька, не любивший моральных увещаний.

Трофимов прошелся по кабинету, поднял вверх указательный палец, пронеся его, как свечу:

— Пусть считают, что я тебя наказал! На самом же деле, — тут он хитро взглянул на Веньку, — на самом деле, мил человек, я тебя перекину в бригаду Савкова, на тридцать второй!

Шилов пошевелился:

— Есть же там вальщик!

— Сегодня есть, завтра нет, — усмехнулся Трофимов, — для пользы дела на что не пойдешь...

Обеспокоился Шилов. Что-то лукавое, недозволенно-скользкое уловил он в словах начальника лесопункта. Трофимов ему, как любимчику, приготовил заранее лучшее место, которое занято было другим.

— А того куда вальщика? — тихо спросил.

— К Сажину вместо тебя.

Горло у Веньки перехватило:

— А он... вальщик этот... не против?

— Разумеется, против. Однако все в нашей власти.

Шилов выхватил из кармана пачку «Авроры».

— Ежели так, то в бригаду Савкова я не ездук!

Михаил Фролович опешил, не понимая, что это значит, но на своем настаивать не рискнул, так как почувствовал: вальщик будет упорствовать. И тут ему в голову пришла мысль — использовать злое упрямство Шилова с толком. За зимний сезон на делянках остались большие куски недорубов, и надо их было скорей дорубать, иначе лесничество взгреет порядочным штрафом. Трофимов взглянул на Веньку с сочувствием: глупец, сам выпросил себе наказание.

— Будешь работать на недорубах!

— Ер-кородер, — только и сказал Венька, озадаченный таким поворотом дела.

Возвратился Шилов домой обеспокоенным и угрюмым. Поужинав, тяжело и безвольно упал на кровать. Алевтина следила за ним с виноватой улыбкой жены, которая что-то недосмотрела. Она сидела с вязаньем в руках рядом, на краешке стула, слегка напряженная

от готовности вот-вот сорваться и побежать, чтоб исполнить любое желание мужа. Но Шилов не требовал ничего, лежал и смотрел в потолок, ощущая себя пожилым, помятым жизнью усталым мужиком, которому стало на все и на всех наплевать. И все же он удивленно моргнул, приметив, что Алевтина держит руки со спицами над животом, словно оберегая его от чего-то. Венька кивнул на живот:

— Чего такой круглый?

— От форточки! — засияла веснушками Алевтина. — Близо сидела к ней, дак надуло!

Шилов смутился, не найдя что ответить жене. Волнуясь, он направился на кухню, где торопливо и радостно закурил. Выходит, он будет отцом! Отцом человечка, который подымеется, станет взрослым и повторит чью-то жизнь. «Мою не надо», — нахмурился Шилов. Он считал свою жизнь не только обыденной, но и скучной. Что у него позади? Восемилетняя школа, курсы при леспромхозе, армия, семь лет одной и той же работы. А что впереди? Да то же самое, что и нынче, — работа и дом. Шилов мотнул головой. А разве этого мало? Ведь он так любит свою работу! А Алевтину? Ну, у кого еще такая жена? Ведь бывал же он и безденежен после полочки, и пьян, как мурманский отпускник, а ни разу его не корила и не бранила, не лезла с расспросами в душу, как это делают многие бабы. Алевтина особой души человек. Да, да! И напрасно Венька считал, что жизнь перед ним развернула однообразные скучные дни. Живет он как надо. Чего? Ну чего еще ему не хватает?

Сына.

Ночью Шиллову снился сын — синеглазый и толсто-пятый, которого он, баюкая, нес на руках. «Полдела ему, — думал Венька сквозь сон, — будет жить под отцовским крылом. Без папани худенько. Сам на шкуре своей испытал. Папаня-то мой, как невидимка, аж мать настояще не разглядела, мелькнул в поселке одним деньком, да и был таковой. Может, живой и теперь, а про то, что я у него есть и что скоро внук будет, век свой не знал и век не узнает. Вот сынок мой — другое дело. Всегда уж будет при собственном бате. И я всегда буду при нем...»

Проснулся Венька счастливым человеком: жизнь сегодня ему удалась. И завтра удастся. И после-

завтра. И так продолжится до тех пор, пока с ним рядом его Алевтина.

— В декретный отпуск когда уходишь? — спросил у нее.

— Месяца через три.

— Долго. Да ладно. Ты, стало быть, так, — сказал Венька решительным тоном. — На работу боле ходить не смей. Сынка береги. А денег я заработаю, сколько надо.

Откуда было знать Шилову, что с этого дня до позднего лета он будет остро нуждаться в деньгах. Трофимов назначил его на мелкие хламовые леса, островками торчавшие среди делянок. На недорубы обычно никто не шел, потому что на этом деле, как зубоскалили шутники, можно на хлеб без сахара заработать. И Шилов на них не пошел бы, кабы не Трофимов, так ловко подсучивший ему эту работу.

Пластался Шилов один, орудуя попеременно бензопилой, топором и вагой. С работы и на работу ездил на грузовых, в автобусе не хотел: стыдно встречаться с мужиками. Домой возвращался уставшим. Алевтина твердила ему не раз:

— Этот Трофимов тебя нарочно, Венечка, унижает.

— Мне не вверх и ползти, — отвечал он с горькой ухмылкой, — а ниже рабочего я не буду.

Но когда он принсс смехотворно маленькую получку и сконфуженно подал ее жене, то почувствовал неуверенность за себя, как за хозяина дома, который в ответе за настоящий и будущий день в семье. Алевтина, видя его расстройство, просительно улыбнулась:

— Давай-ко я снова пойду на работку?

Испугался Венька:

— Брось, брось.

— А ежели съехать отсюда? В другой леспромхоз?

Брови у Веньки сомкнулись углом:

— По кой фрукт туда мы поедем?

— Лучше, Венечка, будет! Эко! Да там тебя с лапчками возьмут!

— Может, и с лапчками, не спору. Только я не хочу на вербованных походить. Те тоже ищут, где выгоднее и лучше.

— Но как тогда быть! — растерялась жена.

— Да никак. Будем жить, как жили. Перебьемся. Увидишь: за мной, как за миленьким, прибегут...



...Прибежали за Венькой через полгода. В тот день он работал в пяти километрах от Еловца и домой возвращался пешком. Был август. Пахло кислой корой осины, ботвой картофеля и сурепкой. У реки белели платками девки, собиравшие в кустах малину. На окраине дымно-сквозного неба заходило солнце. Из огородов слышались голоса:

— Как дочь-та твоя?

— Ничево!

— И моя ничево!

— Одевается баско?

— Муха не подскользнется.

— И поет?

— Все уши опела!

— А моя и танцует еще! Чисто коза!

Слушая перекликавшихся меж собой баб, Шилов скептически усмехнулся: «Хы-ы. Воспитали прыгучих коз. Женись на таких — мороки не оберешься. Вот у меня. На тряпки не зарится. Ничего-то ей не надо такого. А может, надо, да только не смеет? Может, хочет одеться покрасивее, да думает: я осержусь? А зря. Не осердился бы. Собираюсь вот купить ей шубу, только когда соберусь?»

Оглянувшись, не видит ли кто, Венька сошел с дороги и стал на колени среди ромашек. Сколько их было везде! Они бежали белыми толпами вдоль дороги, маячили в огородах. Казалось, вся земля была в девственно-белых ромашках. Венька нарвал их большую охапку. Для Алевтины. Никогда ничего еще ей не дарил — так хоть ромашек сегодня подарит.

Он ступил за порог и откинул с руки пиджак, под которым таились цветы. Алевтина уткнулась в ромашки лицом, стала их целовать:

— Маленькие мои! Солнечные! До чего хороши! Прямо не хочется расставаться!

— Это с кем? — шутливо приревновал Венька. — С ромашками или со мной?

— И с ромашками, и с тобой!

Скупая стыдная нежность толкнулась в сердце Веньки. Усаживаясь за стол, он взглянул на большой, обтянутый красным халатом живот Алевтины, охапку цветов в руках и очень живое, худенькое лицо с желтоватыми тенями над губами — и понял, что скоро будет отцом.

Шилов читал газету, когда в открытую дверь вошел кассир лесопункта Цивеленков, человек послушный и безотказный, его Трофимов вечно за кем-нибудь посылал.

Венька накинул пиджак и пошел в контору. Трофимов встретил его любезно, привстав над столом и кивком головы показав на желтые стулья.

— Присядь. Вот только с Линевым договору.

Наискосок от начальника лесопункта сидел Савелий Линеv, постнолицый, сгорбленный, с сединой на висках инвалид в оранжевой безрукавке. Линеv когда-то работал на тракторе, подвозил к дороге хлысты. Но однажды по ходу машины выглянул из кабины, и его притерло к сосне, измяв все ребра и позвоночник. Из больницы Линеv вернулся пенсионером. С тех пор минул год. И теперь, желая подправить здоровье, пришел к начальству с просьбой помочь устроиться в санаторий.

— Где документы? Где медицинская справка? — спрашивал Трофимов.

— Вот-ко, во, — Линеv приподнялся и, жалобно улыбаясь, положил на стол бумажный клочок.

Трофимов взял клочок в руки:

— Это, мил человек, чего?

— Справка, — ответил Линеv.

— Так она прошлогодняя. Где ты был раньше?

— Как где? Дома. Лежкой лежал. Цельной год. Знатко было об этом всем.

Трофимов вернул инвалиду справку:

— Старая. Не годится.

— Чего тогда делать?

— Ехать за новой.

Пенсионер замигал:

— За справкой?

— За справкой.

— А после?

— А после зайдешь в рабочком леспромхоза. Уж так и быть, я Баборову позвоню.

Постнолицый Линеv, сугорбя больную спину, поднялся, как старичок, и поплелся к дверям — озадаченный и смущенный. При виде его беззащитного седенького виска и безвольно опущенной правой руки, в которой была зажата справка, Веньке сделалось стыдно.

Трофимов вздернул плечами. Так сильно вздернул,

что темный его пиджак приподнялся, и стал Трофимов в эту минуту похож на ворона перед взлетом.

— Ох уж эти просители, — заговорил Трофимов укоряющим тоном, едва за Линевым захлопнулась дверь. — Путевка им в санаторий нужна. А я тут при чем? Обращайся с такими вопросами в рабочком. Но скажи об этом — мало, что неверно поймут, так еще...

— Михаил Фролович, зачем вызывали? — перебил его Шилов, считая последним делом говорить худое о человеке, который только что вышел за дверь.

Трофимов встал, приласкал подбородок, словно обдумывая ответ.

— Формирую бригаду в тридцать четвертый квартал.

— За сорок-то километров?

— За сорок.

— Не лес ли заготавливать?

— Угадал.

— Но туда не попасть — сплошь болота.

— По земле не попасть, но по воздуху...

— Вертолетом?

— Точно. Поэтому за тобой и послал. Верю в тебя и знаю: ты руководство не подведешь!

Все это Трофимов сказал так доверительно и сердечно, что Шилов насторожился и подозрительно посмотрел на начальника лесопункта. Трофимов ходил по просторному кабинету, правой рукой нервно пощипывая подбородок. Венька смекнул: «Боятся, что откажусь, оттого и стелет лисой».

— Вальщиком, что ли, меня хотите?

Трофимов кивнул, и на чуть загоревшем его лице прорезалась жесткость упорного человека, который умеет настаивать на своем.

— Убежден: возражать не будешь. Итак, завтра в двенадцать дня вылет.

— Нет, Михаил Фролович.

— Что же?

— Жена у меня с животом. Скоро родит.

— Мил человек! — рассмеялся Трофимов. — Да разве женщине в этом деле мы в силах помочь? Скорей помешаем!

— А если содеется что? — возмутился Венька. Но как-то расслабленно возмутился, с уступкой, почувствовав с удивлением и досадой, что слишком быстро

попал под влияние сильных слов и начинает уже сдаваться.

— В наше-то время? Мил друг! Да как ты смеешь так плохо думать? — Трофимов вскинул указательный палец. — Забудь, что сказал! И помни: мы тоже кое-что значим, и в наших силах тебе помочь. Если родит — то мы за тобой вертолет. Персонально! Пряменько на делянку!

Шилову было совестно и тревожно. Он не привык подводить никого, но и жену не хотел оставлять без присмотра. Он вяло поднялся.

— Ладно. Только сперва потолкую с женой.

Ну разве могла Алевтина не согласиться! Она ж не слепая. По смущенному Венькиному лицу догадалась, что мужу не терпится в лес, где его дожидалось привычное дело.

— Обо мне не тужи, — сказала она ему. — Ко мне Евдокия ладит ходить, — назвала жену Виссарiona, а сама задумалась, загрустила, почуяв что-то опасное, роковое, что должна она одолеть ради ребенка, ради Веньки.

— Заработаю денег — шубку куплю, — выдохнул Шилов.

Алевтина уткнулась лицом в Венькину грудь. И опять вспомнилась ей старенькая Ульяна, повивальная бабка, чьи руки десятки раз принимали у матерей новоявленных в свет младенцев. Ульяна неделю назад, осмотрев Алевтину, сказала:

— Не хитро посеять дите, не хитро под сердцем вскормить, но хитро вызволить из утробы.

— Я выносливая, — улыбнулась ей Алевтина, — все вынесу, все стерплю.

— Ты-то стерпишь, деуля, да косточки могут твои не стерпеть. Уж больно оне у тебя тонявы.

— Ты стращаешь меня! — сказала ей Алевтина.

— Не страшаю — предупреждаю, — ответила бабка Ульяна. — Береги нероженое дитятко, а пуще того береги себя...

Вместе с Шиловым улетали в тридцать четвертый семейные мужики Серега Манылов и Вася Сажин, да еще трое юных холостяков, окончивших нынче среднюю школу.

День был бессолнечный, зябкий, запахнувшийся в серые облака. Вертолет, отрываясь от стадиона, не-

охотно и трудно брал высоту. Мелькнули заборы, горстка людей, махавших кепками и платками, баня с ведром на трубе, прямоугольнички крыш, горы опилок у шпалорезки, березовый лес за поселком.

Было жарко. Вибрировал пол.

— Летим к чертям на кулички, — сказал Манылов.

— Прах замети, — поддержал его Сажин, — нашего брата, где какая дыра, туда и суют.

— Сейчас бы в лес по грибы! — помечтали холостяки.

— Разбежались по грибы, а поехали по кубы! — улыбнулся Шилов.

Вертолет летел над зимником. Внизу проплывали островки хвойных грив, еловые гари и засоренные ломом зимние недорубы, в которых, казалось, неистовствовал враг. «Наших рук дело», — посетовал Шилов, и душу его охватило желание оправдаться. В чем оправдаться? В том, что он вырубает елки и сосны? Нет, в этом оправдываться нелепо. Дело его было нужное. Нужное прежде всего государству, в котором растут большие и малые новостройки. И растут гораздо быстрее, чем елки и сосны.

Венька шарил глазами по вырубкам и рединам. Внезапно он увидел высокую вышку с дощатым столиком наверху. По этой вышке он и узнал свою первую в жизни делянку. Здесь он учился валить деревья. С тех пор прошло одиннадцать лет. За это время должен бы был подрасти молоденький лес, но леса не было — дикое плесо травы. И эту траву не возьмешь никакой косой, никакой косилкой, потому что была она среди забытых, не годных уже ни на что, сопревших хлыстов, меж завалов изгнивших лесин, подле пней и истлевших коряжин. Здесь орудовал варвар, которого надо было судить, ибо он погубил все древесное, все лесное, оставив после себя непотребный разор.

Шилов поежился. Получалось, что он тут работал, как разоритель, чьи руки, умея брать, ничего обратно не возвращали. «Родится сын у меня, подрастет, — задумался Шилов, — захочет, как я, работать в лесу или пройтись по нему. А лесу-то и не будет. Ер-кородер... Неужто детям своим мы оставим одно пенье да коренье? Что мы делаем? Для чего? Ведь подсчитано грамотными людьми: при правильной рубке можно на каждом га оставить по две, а то и по три тыщонки

стволов. Мы ссекаем подрост, даже если он нам не мешает. Обойти бы, казалось, метровую елочку, сделать лишних пяток шагов. Не! Нам все надо скорей. Обязательно срубим. А трактором сколь передавим! Ему развернуться бы можно, где молодняк не растет. А он развернется в самой его куртинке, втопчет в землю все, что под трак попадет. Не свое. Пропадай. Нисколько не жалко. Не зря говорят: дешев овощ в чужом огороде, в своем же — нет ему и цены. Так бы и к лесу нам относиться, как к овощу в собственном огороде...»

Шилов отвел глаза от земли. Он и раньше ощущал это тягостное чувство вины перед лесом, которым жил и на жизнь которого покушался. «Снова вот буду рубить, — думал Венька, — но теперь в недоступных местах, куда лес убежал, спасаясь от лесоруба. А лесоруб взял, уселся на вертолет и настиг его, ровно зверя».

Вертолет, забивая уши тяжелым шумом, плавно опустил на зимник. Трелевочный трактор, дом на полозьях, обросший багульником автоприцеп и несколько бочек с горючим — это было новое их хозяйство. Разгрузились за десять минут, скинув в траву инструмент, посуду, провизию и мешки. А когда вертолет, взметая вершинки кустов, поднял пузатое брюхо и, накренившись, набрал высоту, все слышали тишину. Была она нестерпимо глухой, нелюдимой, нездешней, принесенной сюда из какой-то чужой стороны. Первым нарушил ее Сажин.

— Вот и прибыли на кулички! — И голос его увяз, настолько недвижим и густ был воздух. Пройдясь по сухой и длинной траве, Сажин остановился, выставил ногу вперед и посмотрел на работников, как глядит заботный отец на детей, когда собирается дать им работу.

— Вы, робя, костер раздувайте! — сказал бригадир молодяжкам, с любопытством озиравшимся вокруг. — Ты, — посмотрел на Серегу, разбиравшего инструмент, — палатки поставь. — Ну а ты, — улыбнулся Веньке, — можешь запасец на завтра сделать, чтоб я на пятки тебе не наступал. Помощника дать?

— Обойдусь.

— Тогда я погляжу волока, — прихватив топор, Сажин двинулся вдоль кустов, по-генеральски внуши-

тельный и солидный и в то же время какой-то домашний, давно примелькавшийся, свой.

Среди ранних теней день сутулился и сужался, был по-прежнему тихим. Работать в такую пору легко. Ни комаров, ни жары. Поустал — скинь рубаху, склонись над ложбинкой, облейся холодной водой и, почувствовав свежесть, снова берись за работу. Венька старался, как только может стараться азартный мастер, чьи руки скучают без ремесла. Через пару часов сквозь густой рокоток пилы он услышал:

— Те пособи-ить?

Кричал Серега Манылов.

Шилов качнул жарко вспаренными плечами:

— Не-е!

— Скоро похлебка поспеет! — добавил Серега, на миг мелькнув сквозь лапник желтой, как репинка, головой. — Из белых грибов! Не зевай!

Глаза у Веньки повеселели. Его приглашали на ужин. Как дома. Только не мать приглашала и не жена, а товарищи по работе.

Шилов уселся на поваленное дерево, подложив рукавицы. Было приятно смотреть на дородные, белые в срезе еловые пни, вокруг которых алели россыпи крупной брусники. Он курил и рассеянно улыбался. Как славно, что он молодой, что жить предстоит еще множество лет. А рядышком лес, такой притерпевшийся, тихий, как старый приятель, который тебя никогда не предаст.

Шагая к костру, Венька видел луну, опиравшуюся на лес невидимыми лучами. Чем-то огромным, вселенским повеяло на него. На душе было светло, как в праздник. Кругом возвышался сумерчатый лес, в который можно пойти набрать грибов, нащипать костяницы, а то просто упасть на зеленый мох и лежать, подложив под затылок ладони, лежать и не думать ни о чем.

Костер торопливо обгладывал сучья, превращая их в алые ребра странного существа, плевавшегося мелкими угольками. Перед костром темнели мужицкие спины. Рядом желтели палатки. Из той, что поближе к огню, раздавались тихие голоса и смех — отдыхали холостяки.

Манылов, увидев Веньку, поднял кружку над головой:

— От! Заварил на чаге! Третью жестянку дую — все не напьюсь!

Сажин стягивал схожий с трубой-чернодымкой скрипевший сапог.

— Прах замети! Обувать горе, разувать — два! Утре падену тапки... Ну как? — глянул на Веньку. — Сколь навалил?

— Хватит тебе на четыре ездки!

— Ого! Эт ты постарался! Как бы завтра я от тебя не отстал!

— Отстанешь — не заругаюсь.

Шилов сходил до подмошного мелконького ручья, поплескался, вернулся к костру и, начерпав полное блюдо похлебки, уселся за тонкий, из жердок сколоченный стол. Похлебка была — за уши не оттащишь. Венька увлекся ею и не заметил, как Вася с Серегой нырнули в палатку.

Говор ребят оборвался. Улеглись, видно, спать. Затих и шум, с каким забирались в мешки Серега и Вася. На лес навалилась безмолвная темень: ни туч, ни луны — ничего не видать, лишь силуэты вершин деревьев тускло висели среди ночного мрака. Листва колыхнула прохладным и мокрым, словно кто-то ее осторожно потряс. Венька встал, перебрался к костру, где было удобнее и теплее. Покурил. Налил из чайника чаги. Пил долго. Кружку за кружкой. Потом, когда угли в костре стали слепнуть, сходил в дом-вагон на полозьях, нашарил там ватный мешок, расстелил его меж палаток, забрался туда и, закрыв глаза, как наяву, увидел свою Алевтину...

Пробудился он от росы, которая густо, как соль, лежала на стежках мешка и холодила Веньке лицо.

Утро было еще вдали, на подходе к болоту, однако земля, освеженная крупной росой, вздыхала и мякла в ожидании солнца, что вот-вот должно было выпахнуть сквозь деревья.

Венька сходил к опушке. Там столько увидел черники, что возвратился назад, взял чайник и накидал в него ягод. Сегодня он сам приготовит завтрак. Наварит густой пшенной каши с тушенкой и вскипятит на ягодах чай.

Разживив костёр, Шилов хозяйничал возле него с удовольствием доброхота, которому хочется сделать приятный сюрприз. Уже побурел, как вино, кислый



ягодный чай, уже упрела в ведре горячая пшенная каша, а в палатках мертвый покой, никто не проснулся, и слышится только ровный храп. Венька достал на веточке огонек, чтоб прикурить от него папиросу.

День подступал, спрятав раннюю светлину за лохмотьями туч, что стадами спешили по поднебесью. «Дождик прыснет», — насупился Венька и, дотянувшись до двух топоров, колотнул обушьями друг о дружку.

Лесорубы выбрались из палаток. На заспанных лицах тоскливое выражение обремененных постылой жизнью людей, которых сюда забросили против воли.

— Ну и физии! — встретил их Шилов.

На Венькин смех никто не ответил. Работники были удручены и что ни делали — все подневольно: вяло сходили к ручью, вяло уселись за стол, вяло подняли ложки. Лишь после каши, чаю и курева лица их малость повеселели.

— Вы, робя, ты вон и ты, — сказал Вася Сажин, ткнув толстым пальцем на двух парней, которые были поздоровее, — подьте с Серегой и Венькой на валку. — А ты, — показал на третьего, с тоненькой шеей, — со мной.

Сажин сходил в палатку, вынес оттуда новые тапки, обул и, завидев Шилова, подмигнул:

— Импорт!

Венька спросил:

— Не в тапках ли ладишь работать?

— Ну да! В сапогах-то тесно! А тут хоть ноги не жмет. Благодать! У меня и вторые есть, про запас. Хошь подарю?

— В гробу я их видел, — откликнулся Шилов и, прихватив канистру с бензином, пошел со своим помощником в лес.

Тучи ползли этажами. Свет с неба был тусклый и серый, точно его пропускали сквозь грязное полотенце. Иногда накрапывал дождь. Венька был раздражен: помощник попался ему бестолковый, вот уже десять деревьев свалили, и все кое-как. Парень был чересчур недогадлив — то вырубит куст, который стоит в стороне, нисколько вальщику не мешая, а тот, что мешает, оставит стоять; то не обломит сучки под елкой, и пробираться сквозь них с пилой приходилось, как сквозь чащевник.

Шилов взглянул на помощника, точно желая понять: есть ли надежда его образумить?

— У тебя, Игоряха, тело на пасеке, ум в поселке. Не можешь, гляжу, работать.

— Не могу, — согласился помощник.

— В лесу кубы добывают, зарабатывают на жизнь! — продолжил Шилов нервным голосом работы, который и рад бы сейчас развернуться, однако ему не дают. — А ты? Наособицу? По кой фрукт сюда и забрался?

Парень смутился.

— Я не хотел, да меня послали.

— А мне что до этого! — Шилов уже сердился, скулы его напряглись, и он рванул за шнур пускача, заглушая треском мотора боркот гусениц за повалом, где Вася Сажин волок чокерами хлысты, подымая их на трактор.

Подолгу Шилов нервничать не умел. Только что был, казалось, сердит, и вот ни злости нет, ни расстройства. И даже сердце раскаяньем точит. Наорал на парня, а вроде и зря. Игоряха на валке впервые — где все сразу уразуметь?

К вечеру Венька почувствовал, что помощник начал мало-мальски смекать. Обрабатывает ствол топором, хоть садись под него на отдых. И канистру подтащит в тот самый момент, когда потребно заправить пилу бензином. И Венька оттаял к помощнику, подобрел, как добреют ко всем неопытным новичкам, которые кое-чему уже научились.

К палаткам они возвращались в сумерках мутного дня, который так и не развиднелся. Повсюду стоял переспелый лес, в тесных его прогалах висела зеленая мгла. Подальше, за ельником, метрах в трехстах начиналось большое болото, откуда остро тянуло вонью закишей воды. Шилов спросил:

— Ты, Игоряха, как дале-то будешь? Работать в лесу?

Помощник брезгливо цыкнул сквозь зубы:

— На подхвате не интересно.

— А как тебе надо?

— Чтоб все зависело от меня.

— Значит, вальщиком будешь!

— С чего?

— С того, что трелевка, вывозка, раскряжевка — все зависит от нашего брата. От вальщика, то есть. Сообразил?

— Ну, я-то не вальщик.

— Будешь и вальщиком, ер-кородер.

Возле палаток было светло. Полыхал, воркуя, костер, над ним висели чайник, ведро и кастрюля. Манылов был уже тут. Он кашеварил, невесть когда превратив и помощника своего в смышленного поваренка, который с большим удовольствием чистил картошку, бегал по воду и дрова, резал хлеб и вскрывал мясную тушенку. «Этот тоже обвыкся», — отметил Шилов, радуясь за ребят, которым теперь уже будет легче: наши со взрослыми мужиками и общий язык, и общее дело.

Вскоре от складки хлыстов подвалил, грохоча, трелевочный трактор. К огню подошли перепачканный, мокрый, словно вынутый из болота, Васин помощник и сам бригадир. То, что вид у помощника, как у чертенка, было вполне объяснимо. Все-таки чоководчик. Но Вася? Манылов и Шилов взглянули на Васиные ноги и улыбнулись: Вася стоял босиком.

— Не пойму, — Сажин вытащил тапочки из кармана, отогнул на них стельки, — вроде в них не ходил, а оне вон гляди.

Шилов взял обуток, озадаченно хыкнул, заметив под стелькой вдавленный знак, напоминавший маленький крестик.

— Они как будто не для живых, — промолвил с опаской.

— Брось темнить.

— Говорю тебе: для усопших! — заспорил Шилов.

Вася перепугался:

— Давай не мели.

Венька ткнул пальцем в знак:

— А крестик-то видишь?

— Вижу. Ну дак и что?

— А то, что раненько обул!

Сажин оторопел:

— Это чево-о?

— Для гроба их надобно обувать.

Вася смутился, не понимая, шутит Венька или всерьез. Однако, взглянув еще раз на вдавленный крестик, он вдруг испытал такую брезгливость, что суевер-

но похолодел и разжал задрожавшие пальцы, опуская тапки в огонь.

— Пропадайте, нечистые духи! Завтра яловики обую! — топнул босой ножищей, взметая золу.

Трепетали тонкие язычки, сливаясь в широкое пламя, которое мощно и весело лезло вверх. От костра на десяток шагов уходили угрюмые тени. Были они неестественно велики, точно стелились не от людей, а от прижившихся здесь неведомых великанов. Великаны сидели кто на валежине, кто на пеньке. Ели. Смолили табак. Пили чагу. Сушили одежду.

В пригреве костра рождались сердечные разговоры. И приходила извечная старая мысль, что людям рабочим надо общаться, надо жить и быть заодно и держаться, как братьям, вместе...

Вечера ложились на землю. Один за другим. Сегодня — под звездами и луной. Завтра — под ветром и листопадом. Вечера, а за ними прохладные ночи с густой темнотой, силуэтами черных вершин, взмахом крыльев невидимой птицы, ропотом веток, травы и листьев. В темноте, как красивые пароходы, приплывали заветные сны. Снилось все — и огни далекого Еловца, и родное в четыре ступеньки крыльцо, и уставшая, неизвестно откуда пришедшая мать с удивительно жалостными глазами. Обрывались сны на рассвете.

— Подъем! — надрывался дежурный, брякая ложками по ведру.

Начиналось еще одно утро. Утро срочной работы, с которой надо было спешить.

Бригадир Вася Сажин умел не только сам торопиться, но и других торопить. Потому и шло все нормально. По плану. Голые пасеки лесосек уходили к болоту и, уткнувшись в него, глядели сквозными прогалами в мир нетронутой тишины, тощих сосен и клюквенных кочек. Тридцать четвертый редел. Пели моторы. Павшие под пилой крупностволовые елки перемещались к зимней дороге, вдоль которой одна за другой вырастали пачки хлыстов.

Прилетел вертолет, привезший продукты в мешках и начальника лесопункта. Трофимов остался доволен. Улетая обратно, пожал каждому руку и сказал, что на той неделе к ним прибудет корреспондент. Венька спросил о жене. «Все хорошо», — успокоил Трофимов.

Вертолет улетел в желтые сумерки предвечерья, а ночью Венька увидел сон. Будто он неуклюжей, потрепанной птицей летел над полянками и лесами и вдруг рассмотрел двухэтажный брусчатый дом, в котором оставил свою Алевтину. Хотел опуститься было на крышу, да не послушались крылья. И он пролетел над поселком, над крышей, над Алевтиной. И тут пробудился. «К чему бы это?» — спросил у себя, расстегивая палатку.

Вечером у костра, когда разомлевший от ужина Сажин рядил, где, кому и чего завтра делать, Шилов услышал, как ноет сердце. Точно комар забрался туда, зудит и зудит. «От перемены в природе», — решил было Венька, ибо не только сегодня, но и вчера, и раньше в красных макушках рябин, редком березовом листопаде, крике птиц и завядшей траве видел прощальное, роковое, что надолго уходит с лица земли, слышав походку сырого ненастья.

Еще два вечера и две ночи нудный комар изнурял тосковавшее Венькино сердце, как вдруг в сумерках третьего дня, когда лесорубы вернулись с работы, поели и, расположившись у костра, пили ягодный чай, хвоя за палатками разомкнулась, и из нее, будто дух во плоти, показался Шурка Чечулин. Был он грязен и мокр, русые волосы разметались, на лице — смущение и неловкость.

— Что с тобой? — потянулся к Чечулину бригадир.

Щучьими кругленькими глазами Шурка взглянул мимо Сажина на березу, под которой удобно пристроился Шилов, не спеша попивая из кружки чай.

— Алевтина родила парня, а сама не убереглась.

— Померла?! — мертвым голосом спросил Венька.

— Третьево дня.

Кружка выскользнула из Венькиных пальцев, и ягодный чай, облив сапоги, побежал ручейком в теплый пепел. Шилов встал, сунул в рот папиросу и мрачно уставился на огонь. «Умерла Алевтина. Да нет! Тут какая-нибудь ошибка!» Венька грозно взглянул на Шурку:

— Почему? Почему померла? Все рожают. Особая, что ли?

— Говорят, рожать ей было нельзя.

— Алевтина, выходит, не знала?

— Знать не знала, — ответил Чечулин, — однако

бабка Ульяна ее упреждала, мол, ты, Алевтина, остерегись.

Шилов отвел от Чечулина взгляд, повернулся и сгорбленно пошел к ручью.

Присел на корягу и, глядя на черную воду, вспомнил, как Алевтина за несколько дней до заброски его на вахту сказала ему:

— Страшно как! Мне бы иметь запасное сердечко.

А он еще пошутил:

— Ты и так с запасным! — и склонил ухо к ее животу. — Дай послушать, как оно там, запасное твое, стучится?

А она, зарыв свои руки в его волосатый загривок, тихонечко рассмеялась:

— Как бы хотелось взглянуть на нашего шалунишку! Хотя бы разочек...

Под глазами у Веньки защекотало. Он встал, опираясь рукой о корягу. Вскинул глаза. Лесорубы о чем-то меж собой толковали. «Жалеют меня, — понял Шилов. — Однакоче зря. Жалость еще никого от горя не избавляла».

Венька вернулся к костру.

— Как попал-то сюда? — спросил он у Шурки.

— По зимней пешком. Трофимов хотел достать вертолет, да...

Некогда Веньке выслушивать до конца.

— Ты здесь остаешься? — перебил Шурку.

— Здесь.

— Вон твой помощник, — Венька кивнул на Игоря, — парень что надо. — И вдруг разозлился, махнул рукой. — Хотел на шубку ей заработать! Хы-ы...

Шилов замолк, точно его подстрелили, и все услышали, как зашуршал, скользя по веткам, рябиновый лист.

— Ладно. Я пошел...

Венька не знал, что за странная сила гнала его сейчас по зимней дороге. Может быть, это был запоздавший к нему тот предсмертный, чуть слышимый шепот, каким жена умоляла его к ней прийти. И вот нет ни шепота, ни-ее.

Вечер свивался в лохматую мглу. Зрели звезды — отточенно-резкие, с холодком, словно волчьи зрачки из леса. Бледноватый, лодочкой месяц сеял седой, по-

лупризрачный свет. Было тихо и шелестно, и мерещилось, будто вдоль зимника, скрытая пнями и лесом, ступала украдцей безмолвная нежить.

Последние дни стояла сухая погода, и идти по забитому пнями, травой и обломками дерева зимнику можно было спорой походкой. Венька шел, то и дело следя за часами, которые тикали на руке, и он в свете спички, глядя на стрелки, приблизительно знал, сколько верст уже отмахал. Губы жадно хватали воздух. Сначала — вечерний, потом — ночной. Ложились роса. Порой сквозь усталость и отупелость Шилов явно слышал обидный укор: «Опоздал!»

— Не надо было вообще улетать в этот тридцать четвертый! — крикнул, не славив с нервами, лесоруб. — И все Трофимов, крой его жеребец! Уговори-ил!!!

Расшвыряв в лесные потемки клокотавшие в нем слова, Венька почувствовал пустоту, и показалось, будто горюет сейчас не он, а кто-то более невезучий, у кого все дороги к семейной жизни отсечены навсегда, и он идет неизвестно куда с глазами, которые видят одно ночное.

— Что это я? С винтиков схожу?! — разъярился Шилов — Я есть я! Никем меня не подменишь. Что написано на роду, то и приму...

В поселок Венька пришел под утро. Незаметен и тих поселок в ночи, словно вымер. Вдали поздней ягодой костяницей маячил крошечный огонек. «У нас», — понял Венька и, расстегнув пиджак, вытер кепкой вспотевшую грудь.

Перешагивая порог, Шилов услышал, как простонала сосновая половица и стукнул об пол, свалившись откуда-то сверху, порожний спичечный коробок. Запнувшись за половик, Венька раздвинул ситцевый полотно.

Алевтина лежала в гробу, обшитом синим сатином. Была она в белых туфлях и белом платье, голова до бровей запелената в саван. Венька взглянул на покойную, как на чужую, и удивился, что не горюет. В изголовии гроба, в углу, над медным подсвечником трепыхал огонек. За свечой золотилась икона. Кто-то поставил, видать, специально. На иконе — юная богородица с кротким младенчиком на руках. Икона светилась, и свет от нее отражался и падал как раз на лицо Алевтины. Заметив это, Венька заволновался. По-

дошел и еще раз взгляделся в лицо жены. Было оно неподвижным и бледным, с озабоченной думой между бровей, точно покойная вот-вот откроет глаза и скажет ему, что он совсем не следит за здоровьем, прошел такую дорогу, не отдохнул, не поел, только топчется тут, хотя это совсем не нужно, потому что она неживая, и ее все равно уже не поднять.

«Как жить-то теперь?» — понурился Венька. Сходя на кухню, он выкурил папиросу, постоял, помял кулаками виски, пнул в бессильной досаде затоптанный половик и, вернувшись, снова взглянул на жену. И к изумлению своему в закрытых ее глазах и застывших в предсмертном шепоте чуть приоткрытых губах опять прочитал: «Раздевайся, Венечка. Вон кровать. Хоть часок, но поспи. А потом, когда все подойдут, проводишь меня...»

Веньку так всего и прошло сквозным морозом, и он вдруг понял, какое отчаянье, ужас и боль испытала его Алевтина перед тем, как навеки заснуть. Он наклонился, поднял ладонь, норовя погладить лицо. Но слишком махоньким было лицо, только прикрыл, как горбатой крышей. И тут он вспомнил: «Цветы! Почему их нет? А-а!» Он сорвался и выскочил на крыльцо, а оттуда — в заогорожье, где мерцала роса, колыхался тенетник и, сердясь на всходявшее солнце, недовольно поскрипывал коростель. Нарвав охапку ромашек, Венька начал их нюхать. Никакого запаха не услышал. Зато услышал далекий тоненький голосок, который звенел колокольчиком из былого: «Маленькие мои! Солнечные! До чего хороши! Прямо не хочется расставаться!»

В комнату он возвратился со скорбной морщиной на лбу. Обкладывая жену цветами, подумал: «Неужто нет такого лекарства, чтоб хоть на часик ее оживить». Но опомнился, отошел от стола, присел на застеленную кровать и увидел на цветном покрывале клубок серых ниток, две спицы и недовязанный толстый носок. «Старалась для меня. Хотела связать, да времени не хватило». Он взял вязанье, поднес его к гробу и положил к рукам Алевтины:

— И это с собой прихвати.

Осторожно, точно боясь разбудить покойную, прошел возле окон, раздвинул все занавески и, увидев овсяный блестящий свет, затопивший заборы поселка,



надумал достать из комода черный костюм, в котором играл с Алевтиной свадьбу.

Переодевшись и сунув в карманы деньги, какие копил супруге на шубку, он на минуту присел на стул и вскоре забылся.

Очнулся в свете ясного дня и увидел в комнате толпу провожатых. Вон Дуся, жена завхоза, грудastая баба с большим, как ведерный чайник, лицом. Ходит туда-сюда, взмахивает ладонью, кому-то что-то внушает. Наверное, за главную тут. Вон постаревший Виссарион, усы обвисли, а по щекам одна тяжелее другой сползают слезы. Вон и низенький мастер Антонов, кивает участливо головой и так горемычно вздыхает, будто на кладбище провожает не Алевтину, а Нюру, собственную жену, с которой жил не в ладах лишь в красные праздники да получки. А там в закутке возле комода Касторий Рожков, впалощекий десятник со строгим пробором на голове. Рядышком — Ваня Чечулин, двоюродный Шуркин брат, Ваня шофер. Значит, он Алевтину и повезет. Тут и бабы в темных платках, ребятишки, белолопый щенок... Плотная седенькая Ульяна пошла с можжевельным голичком, который она подожгла и, потряхивая дымком, замкнула покойную чадным овалом. Потушив голичок в лохани, Ульяна сказала:

— Можно и выносить.

За вынос гроба взялись Касторий Рожков и Ваня Чечулин. Венька забылся и тоже схватился за синий сатиновый низ, но его аккуратно оттерли:

— Не, не... Те не положено. Что ты...

Шилов смутился и отошел. И тут к нему подоспела завхозова Дуся и, дыша на него необъятным бабьим здоровьем, тихонько спросила:

— На поминки-то как? Кого будем звать? Я думаю: только своих. А то набьется всякова сброду.

Брови у Веньки зашевелились:

— Сброду?

— Ну не сброду, дак разных пьяниц, — поправилась Дуся.

Удивился Шилов и оскорбился: в такой день — и делить людей на угодных и неугодных.

— Всех звать, — сказал он.

— А деньги? — напомнила Дуся.

«Ослина же я! — обругал себя мысленно Венька. —

Самое главное и забыл. Без денег какие поминки...» И достав из кармана горсть мятых пятерок, сунул их Дусе и поспешил на крыльцо, за которым поуркивал грузовик.

Ваня только его и ждал. Едва Шилов забрался в кузов, он проскрипел рычагом и утомительно медленно тронул машину. Следом за ней потянулись женщины и старушки, кое-кто из мужчин, стайка малых ребят, среди которых вертелся, оскалая веселую пасть, белолапый щенок.

Был теплый осенний день. Шилов смотрел, как блестя в лучах гробовые ромашки, ногти пальчиков Алевтины и стальные вязальные спицы. На душе его было пусто, как на вырубке возле болота, откуда уже ничего не возьмешь.

Кладбище было внизу по реке, километрах в полутора от поселка. Могилы не прибраны, большая часть без оград, с косыми крестами, словно устроено кладбище ненадолго, на какой-нибудь год или два. Венька поморщился. «Вот она, ер-кородер, судьба. На этом свете живешь как попало. И на том, видно, так». Воздух был тяжек и густ. Шилов им надышался, и стало ему безглаголиво. Он закурил.

Могилу вырыли подле леса. Была она супесчаной, глубокой, сухой. Со всех сторон нависала густая листва. Казалось, вся золотая осень склонилась над Алевтиной. И Венька склонился, поцеловал жену в мертвые губы. Поднявшись, стал наблюдать, как Алевтину закрыли крышкой. Как передвинули гроб на шесты. Как подвели под него полотенца и стали бережно опускать.

«Вот она, полная-то свобода! Не ждал ее, а она пришла. Делай, что хошь! — вбилась в голову дикая мысль, которая Шилова напугала, и он ошарашенно оглянулся, точно кто-то за ним следил и мог догадаться, что в эту минуту с ним происходит. — А на кой? — возмутился Шилов. — На кой фрукт мне такая свобода...»

Дрогнул Венька, словно обдало его метелью. Чтоб уйти, убежать от кошунственной мысли, захватил глазами всех провожатых и требующе позвал:

— Поехали до меня!

Забравшись в кузов, Шилов вдруг вспомнил о сыне. Увидев синий в клетку пиджак завхоза, стоявшего у кабины, протиснулся к Виссариону.

— Как парень-то у меня?

— Живой, — ответил Виссарион, — в дом матери и ребенка определили. Дуська это. Она постаралась. А что?

— Да сын ведь!

— Так-то, конечно, так, — согласился Виссарион, — да не знаю...

Венька уставился сверху на низенького завхоза:

— Чего еще там не знаешь?

— Куда тебе экую кроху? — добавил завхоз. — Пушай подрастет. Через год, коль не женишься, забереши.

— А разве так можно?

— Ноне все можно.

— Тогда я раньше его заберу.

— Правильно это ты, верно. Мы с Дуськой пособим, чай, не чужие. Только особо-то не спеши. Ему надо женское молоко. А где-ка его ты найдешь в поселке?

Шилов согласно кивнул головой, вздохнул и ушел в свои трудные думы. Нет, не все разворочено было в его душе. Где-то в ней сквозь тяжелую скорбь пробивалась робкая благодарность ко всем этим не оставившим его одного в беде людям. Один не смог бы он ничего: ни гроб сколотить, ни похороны устроить, ни о сыне позаботиться. Хорошо, когда люди сходятся вместе и помогают тебе, будто знают: в такой же час и ты к ним придешь и поможешь.

За стол, уставленный водкой, закусками и кутьей, Венька садился, обласканный мягкими словами, какие рождаются к человеку, оказавшемуся в беде. Стучали вилки и ложки, булькал тощеньким ручейком поминальный кагор, кто-то вздыхал, кто-то робко хрустел огурцом.

Вечером Шилов стоял на крыльце. Один. Никого не желая видеть, смотрел, как вдали, за поселком, словно в устье печи на просторной крестьянской лопате, садилось ржаное теплое солнце. А потом смотрел на закат, на далекий малиновый свет, который простерся куда-то за землю, в нездешнее, тайное, нежилое. Смотрел, а память возвращала его в дневное, где были гропинка среди жасмина, кресты на могилах и Алевтина.

Кто-то пьяненький подошел к Шилу, хлопнул по

спине: мол, кончай горевать, все равно не вернешь теперь Алевтину. Венька сказал угрожающим тоном:

— Не путайся под ногами!

Пьяненький удалился.

Запахи ночи несли свежину палых листьев и вскопанных гряд. Где-то резвилась гармошка. «Ничего, — утешал себя Венька, — как-нибудь перемелем. Вот сброшу черный костюм. Дважды он мне послужил — на свадьбе и на поминках. Сброшу — и за работу...»

Венька вернулся в квартиру, такую пустую, такую огромную без жены. Все прибрано, все помыто. Переодевшись, взял ведра, сходил до колодца. Глянул в сруб и увидел на черном, как вар, колодезном дне желтую крохотную звезду, которая, видимо, каждую ночь глядит и глядит с высоты в колодец. Подымая бадью, Венька вздрогнул. Звезда, как рябая рыбка, плескалась в бадье, норовя ускользнуть. И она ускользнула, едва Шилов поднял бадью и поставил ее на дощатую крышицу сруба. «Поймал, да и упустил, — усмехнулся Венька, — так и счастьеце наше, вот-вот бы его схватить, а оно хвостом махнет, только его и видел...»

«Ничего, — повторял про себя Шилов, — ступая с ведрами к дому. — И в горелом лесу бывает рассвет. Погожу месяц-два, сына возьму. Вдвоем заживем, как родной с родным. Это разве не счастьеце?! Главню — сына теперь убережешь. Алевтину не смог. Но сына... Как его назову... Юркой? Вот Юрку уберегу...»

После смерти жены Веньку круто переменяло. Он и раньше был не особенно разговорчив, а теперь совсем замолчал, стал придиричиво-напряженным, словно обдумывал важную мысль, да она никак не давалась.

Начальство ему предложило отпуск. Но Веньке отпуск зачем? Ему хотелось забыться. А забыться он мог в работе. Поэтому снова валил на пасеке лес. И осенью. И зимой.

И опять зарабатывать стал помногу. Но жил по-прежнему как придется — сегодня густо, а завтра пусто. И все оттого, что деньги его уплывали меж пальцев. В дни получек, чуя поживу, кружились возле него любители выпить. Знали к Веньке подход и старушки, к которым он был всегда расположен, ибо видел в них что-то от своей матери. Особенно был он сердечен к безмужним и вдовам, кому от жизни и надс-то всего ничего — мало-мальскую пенсию да крышу над головой.

И не их вина, что частенько им пенсии не хватало: надо и дров прикупить, и нанять для ремонта квартиры мастера-древотдел. Не отказывал Шилов таким старушкам еще, пожалуй, и потому, что замечал по их лицам, как мало осталось им жить, совсем не столько, сколько ему, и давал им пятерки, десятки и четвертные. И не настаивал, чтоб отдавали. Смогут, — стало быть, отдадут.

Были дни, когда Шилов держался трезвым бобылем, пренебрегая насмешками мужиков. Все началось с того, что однажды среди ночи, когда вернулся домой, просадив с мужиками почти пол-аванса, улегся в кровать и уже засыпал, вдруг услышал с улицы стук, словно кто-то его позвал. Подошел к окну и отпрянул. Перед ним по колено в снегу, в белом платье и белом платочке стояла его Алевтина. Лицо ее было фарфорово-бледным, глаза закрыты. Смотрела она сквозь веки слепым и невидящим взглядом. Смотрела на мужа и улыбалась. «Я тебя подожду», — послышалось Веньке, и в суеверном испуге он в эту же ночь поклялся себе, что если и будет когда выпивать, то только с утра или в светлое время, дабы не казались ему мертвецы.

И вот в эту трезвую пору к его изнуренной душе стало никнуть приятное, детское, родовое, и Венька понял, что надо увидиться с сыном. Трижды он порывался поехать в дом матери и ребенка. Останавливал Виссарион, твердя ему с убежденностью опытного отца: «Рано. Пообожди. А то и себя изведешь, и нам покою не дашь». В четвертый раз он уехал туда, никому не сказавшись. Привез малыша по весеннему дню. Многие приходили взглянуть на его лысолобого Юрку, обвязанного долгим матерчатым кушаком.

Взяв отпуск, Венька почти всю весну потратил на сына. Учился его пеленать, заворачивать в одеяльце, гулял с ним по улицам Еловца, заглядывал в гости к Виссариону, благо очень любил видеть сына прижавшимся к женской груди. А прижаться он мог не к матери. Положить головку на мягкую грудь он мог лишь к родственнице своей, пышнотелой тетушке Дусе, которая всякий раз обнимала Юрку и целовала и, шутя, угрожала Веньке, что такую забаву она у него обязательно отберет.

Но кончился отпуск, и Шилов смутился, сообразив, что надо куда-то пристраивать сына. Не брать же с

собой его на работу. Сходил было в детские ясли, но принимали туда только умеющих ходить. Малыш же до этого не дорос. «Чего я голову-то ломаю?!» — пожурил себя Венька, вспомнив Дусю, и направился к дому завхоза. «Возьмет!» — был уверен; Дуся нигде не работала, сидела с детьми, к тому же не раз сама говорила, что от Юрки она без ума, любит пуще своих голопяток, и хорошо бы Венька ей отдал эту забаву, с которой она не рассталась бы никогда.

Заходя в новобрусчатый дом завхоза, Венька увидел хозяйку и свесела подмигнул: мол, глядите, кого я принес!

— Вот! — сказал он, протягивая завернутого в атласное одеяльце сына.

Принимая Юрку, Дуся спросила:

— Это, Веня, чего?

— Нянчиться будешь! — ответил Шилов и удивился, заметив, что Дуся огорчена. «С Виськой поссорилась», — предположил он и добавил. — В ясли до году не принимают. Так что дарю на целое лето.

— Вениамин! — Голос у Дуси дрогнул. — С кем думал? У меня и своих вроде двое.

За ответом Венька в карман не полез.

— Будет трое! — сказал.

— Нет уж, спасибо!

И только тут до Веньки дошло: Дуся сердится на него. Сердится из-за Юрки. Не будет она с ним нянчиться целое лето. Даже несколько дней не будет. Он посмотрел на нее проверяющим взглядом, точно хотел уяснить: кто же это такая? И почему она раньше была другой? Вздыхая, он вытащил пачку «Опала» и, закулив, ощутил, как где-то под кадыком закрутился и встал камешек внезапной обиды.

— Ладно, — сказал он подавленным тоном, — пусть денек побудет у вас. Вечером заберу.

Вечером Шилов ходил по поселку и спрашивал, спрашивал без конца:

— Сына нянчить не возьметесь?

Никому не хотелось брать на себя такую обузу. И плату Венька хорошую обещал, и сулился дровами на зиму обеспечить, но ни молодые домохозяйки, ни старушки-пенсионерки — никто не соблазнился.

На другое утро Венька снова пришел в новобрусчатый дом.

— Еще один день, — попросил, протянув полногрудой хозяйке атласное одеяльце, из которого, как из гнезда, торчала лысая головенка.

Дуся ожгла мужика взглядом вздорной барачной бабы, готовой вот-вот затеять сыр-бор. Виссарион же взглянул на него, как глядит имущий на неимущих и, погладив усы-калачики, упрекнул:

— Я ж тебе говорил: погоди, не бери мальчика, а то намаешься сам, да и нас введешь в расстройство. Так нет. Скушно ему. Забрал. Вот теперь и веселись. Только запомни: моя Евдокия больше тебе никакая не нянька. Сегодня уж ладно. Оставь. Но чтоб еще когда раз — ни-ни.

— Сегодня няньку найду, — пообещал неуверенно Венька.

— А ежели нет?

— Тогда и не знаю.

Виссарион, никогда не куривший, взял из Венькиных губ сигарету, сунул в свой рот, походил, поразмыслил и вдруг сказал:

— Езжай-ко сегодня в район! Сдай обратно в дом матери и ребенка! — При этих словах его косенький взгляд охватил одним разом мясистую Дусю и Веньку, как бы ища у обоих поддержки. — Верно я? Правильно?

Дуся, согласная с мужем, угодливо улыбнулась, а Венька, бледнея, возбужденно спросил:

— При живом отце — заделать его сиротой?

Он ушел, как обруганный, и работал весь день с оглушенной душой, не раз останавливая пилу, чтоб прийти маленько в себя. Вот он, клятый житейский узел, в который сплелись кончина жены, заботы о сыне, предательство ближних и вялость сегодняшних дней, однообразно и скучно плывущих куда-то все дальше и дальше, без цели, спокойствия и мечты. И в этот узел затолкана Венькина жизнь. «Ер-кородер, — злился Шиллов, — коли я опустил свои крылья, так я же и подыму! Иначе какой я отец!»

Он шел вдоль реки под высокими, в сорок рядов, штабелями пиловочных бревен. Специально сделал огромный крюк. Не хотелось идти в новобрусчатый дом и встречаться с родней, опостылевшей до одрога. Но там дожидался маленький Юрка, Венькина радость и печаль.

Завхозова Дуся, едва он забрал сына на руки, вся зацвела морковной злой желтизной:

— Ревоватый такой. У меня и так голова болит — боле не приносит.

Шилов кивнул.

— Так и договорились, — и закрыл за собой подбитую стеганой ватой дверь. Плотно закрыл, навсегда.

Через час он стоял перед крепкой и седенькой, как осенний груздок, бабкой Ульяной, той самой старушкой, когорая обмывала его Алевтину и вообще была мастерицей во всех погребальных делах.

— Завтра утре и приноси! — говорила она шамкающим баском. — Не гляди, что с мертвыми дело имею. Небось, унянчусь. Не оброню. Слава богу, столь еще есть...

Потянулись для Веньки заботные дни. Не было в них ни одной свободной минуты. Утром чуть свет беги раздывать лес, но прежде — укутай младенца, одень его по погоде и занеси на квартиру к Ульяне. Вечером, как ни устал, забирай ревуна обратно, стирай ему распашонки, корми и кашкой, и молоком. А ночью следи, чтобы сын не проснулся, иначе не выспишься сам и уйдешь на работу с гудящей, как колокол, головой. Порой сквозь усталость и сутолоку хлопот к сердцу его пробивалось сладко-греховное, молодое, и на ум являлся вопрос: «Один живешь. А зачем? Вон сколь вокруг молодух. Выбирай любую». Но он уходил от вопроса, как от соблазна. Стыдил самого себя. Считал, что надо ему продержаться хотя бы один этот год, неся в душе своей траур вдовца, как светлую память об Алевтине.

Из старых приятелей чаще всего навещал его Шурка Чечулин, умевший угадывать, как цыган, что творится в душе человека, и, страстно желая ему помочь, тут же, без всяких раздумий выкладывал нужный совет.

— Жениться надо тебе! — орал он Шилову в самое ухо. Орал не однажды, и Венька после его ухода расслабленно улыбался, потел и спрашивал у себя: «На ком?»

Память все чаще, смелее и тверже являла ему Зинаиду, разметчицу нижнего склада. Но ничего у него тогда не вышло. Зинаида отшила его от себя. «Безголовым был, — думал Шилов, — пер напролом. И ради чего? Ради потехи. Сейчас бы я с ней полный серьез.



Тем паче оба теперь на равных — у нее ребенок и у меня. Только бы согласилась...»

Зинаида работала на хлыстах, размечая их топором и меркой для раскряжевки. Была она где-то в соседней бригаде, но Венька старался с ней не встречаться. Тот давний стыд, который он испытал, приставая к ней, был ему памятен до сих пор. Всякий раз, когда видел молодку, его подмывало к ней подойти, чтоб остаться один на один. Но он не решался. «А вдруг опять отошьет?» И Венька, волнуясь и каменея, проходил от нее в трех шагах, страдая от ее красоты.

Вошла Зинаида в Венькину душу, и не стало ему покоя. В возбужденной его голове что ни ночь, то строились планы о той недалекой поре, когда она станет хозяйкой, матерью двух сыновей, и будет с ним неразлучна. Алевтина уже не смущала Веньку, она представлялась ему как союзная, где-то в былом обитающая душа, которая будет всегда за него, какие бы планы Шилов ни строил. Не случайно однажды ночью сквозь прерывистый сон он услышал ее голос: «Не ходить же тебе бобыльком! Женись! Не думай, что я пообижусь. Не, не! Мне спокойнее будет...»

Голос покоенки ублажал, отводил от сердца ненужные страхи, и Шилов, как знать, может, насмелился бы столкнуться один на один с Зинаидой, чтобы сказать ей несколько важных слов, да приключилась еще одна незадача. Ульяну, к которой он целое лето таскал по утрам сынишку, срочно вызвали в город к заболевшему брату.

Шилов снова подался в детские ясли. Заведующая, увидев малого на руках, спросила строго:

— Ходит?

— Как будто, — вымолвил Венька.

Заведующая засомневалась.

— Проверим, — и показала на мягкий дворовый лужок, по которому должен был пройти ребенок.

Венька вспотел:

— Экзамен, выходит? А если не выдержит?

— Значит, не примем.

Не зная, что делать, Венька растерянно взглянул малышу в чистые кругленькие глаза, подкинул его для бодрости кверху и робко поставил на ножки.

— К тете поди! Во-он туда, — и легонечко подтолкнул.

До тети десять шагов. Юрка заулыбался, загукал, как грач, и, готовый запнуться за стебелек, пошагал, подымая полные ножки. До тети, конечно, он бы не дошел. Но та подбежала к нему сама, подхватила уже падающего и, вскинув на руки, пожурела Шилова:

— Что ж ты, папаша, ходить-то не научил! Сколько? Годик ему?

— Годик.

— Значит, не очень и хочешь, — добавила она, — чтоб мальчик в ясельки наши попал.

Венька поник.

— Не примете, что ли?

Заведующая секунду помедлила:

— Ладно уж. Так и быть — сделаем исключение.

Мужики в лесопунктах за малышами в ясли не ходят. Однако Веньке пришлось. Было неловко ему — один среди женщин. И каждая склонна поговорить, посочувствовать горю, повыведать: часто ли он выпивает, кто ходит к нему, кто стирает, и не думает ли снова жениться. Дважды на дню, как сквозь строй, проходил он средь них, и некуда ему было деться от разговоров и взглядов.

И не мог он, понятно, не встретиться с Зинаидой, которая тоже водила сюда своего карапуза. Увидев ее как-то вечером после работы, уже переодевшуюся в легкое красивое платье, Венька зажмурился, как от света, и понял: «Рылом не вышел. Не для меня». И он бы вновь прошел в трех шагах от нее, не сказав ни слова, да Зинаида остановила, подняв на него свои глубокие, темные, как ночной омут, глаза.

— Как, Веня, ребеночка-то назвал?

— Неужто не знаешь?

— Знаю, Веня, однако не от тебя.

Шилов погладил Юрку по голове и посмотрел выжидающе на молодку, на ее посеченный морщинками белый лоб и припаленные солнцем черные брови.

— Что ж ты, Веня, жену-то не ухранил?

Старая грусть пробила Венькино сердце. «И эта о том же! Ну сколько можно душу травить?»

— Худой из меня, видно, ангел-хранитель, — сказал и протиснулся в тесный проходчик калитки, чтобы уйти поскорей от глубоких омутных глаз, которые, кто их знает, быть может, над ним насмеялись.

Несколько дней он жил со странным ощущением

тесноты, словно его затолкали в старый вагончик, где оставлял он на ночь пилу, и приказали терпеть. Дома ему ничего не хотелось делать — ни пол подметать, ни готовить еду. Стояла осень, и надо было впрок запастись сухими дровами, однако и это дело казалось ему каким-то ненужным, и он махал на него рукой. Иногда он испытывал чувство неловкости и боязни, будто сквозь рощу погостных берез, сквозь кустарник жасмина, сквозь щитовые дома поселка прожигал его сострадательный взгляд Алевтины, следившей за тем, чтобы он не извелся в крутой печали. Венька курил папиросу за папиросой. «Наваждение какое-то! Хы! И на том-то свете заботится обо мне...»

Чтобы совсем не свихнуться, искал спасения в сыне. Брал его, радостного, в охапку и начинал с ним возню, крича на всю квартиру:

— Ты мой ангел-спаситель! Я тоже ангел, но только хранитель! Твой, твой хранитель!

Юрка хватал отца за длинный нос, принимая его за игрушку, блестел глазами и порывался что-то сказать на своем непонятном лепечущем языке.

Сегодня Шилов вернулся с нижнего склада рано. Взяв по пути из яселек сына, всю дорогу его обнимал, вскидывал в воздух, сажал на себя, как на лошадь. А явившись во двор, отпустил побродить по несмятой муравке. Сам же сел на крыльцо, наблюдая, как по-утиному ступает его малыш вдоль мостков. Походит, походит и сядет. Взглянет чистыми глазками на отца, мол, давай подымай, покуда не разревелся. Отец подымет — и снова пойдет, кряхтя и сопя, как крохотный старикашка.

Собираясь домой, Венька поймал малыша и прижал к себе нежно. И тут услышал его сердечко. Билось оно задорно и энергично, как стучит клювиком цыпленок, пробиваясь на свободу сквозь яичную скорлупу.

— У людей и похуже бывало в жизни, да ничего! Перебивались и снова жили. И мы с тобой перебьемся! А, Юрка? — сказал Шилов, глядя на сына.

Еще не смеркалось, но день с солнцем склонялся к закату. Синевато мерцала река, над ней в зыбком свете лучей, будто осенние листья, горели прозрачные облака. Было прохладно. Блеяла привязанная коза. По мосткам простучали шаги, и во двор заскочил улыбающийся Чечулин.

— Привезли зарплату! Айда получать!

Шилов в деньгах не нуждался.

— Успею и завтра.

— А я из городу только! — похвастался Шурка. — Поиздержался! Запчасти там получал. Два дня капителил. Вечор подгулял. История даже вышла. Привязались тут пятеро. Пришлось раскидать. Говоря откровенно, еле справился с ними!

Чечулин исчез так же внезапно, как появился. Улыбнулся Шилов его вранью, подул в светлые Юркины волосенки и, видя, что сын засыпает, понес его на кровать.

В квартире было настужено, воздух кислый. «Истоплю-ко печуру», — надумал Шилов и, положив малыша на постель, сходил во двор по дрова, выбрал, которые были посуше, и начал растапливать печь.

Вскоре вернулся Чечулин с оттопыренным пиджаком.

— Давай дерябнем!

— Я не буду.

— Ухх? — удивился Чечулин. — Чего?

— Настроения нету.

— Зря ты, Веня, со мной не пошел! — Шурка понюхал воздух, метнул глазами туда-сюда, определил, где стакан, где закуска, принес все это на кухонный стол, разместился на табуретке и опытно, словно ягоду с кочки, сорвал с бутылки белую пробку. — Цивеленков говорил о тебе такое!

Зная Шуркину склонность к фантазии и вранью, Шилов не очень-то и поверил.

— Чего еще там? — спросил, как бы делая одолжение.

— Сохнет, гыт, по тебе одна молодая особа. Ждет, когда ты к ней сватов пошлешь. Цивеленков с ней об этом беседовал с глазу на глаз. Едри твою сорок восемь! Особочка-то какая! Завидую, Веня, тебе! Сам бы на ней женился, да нельзя при живой жене.

Шилов думал, что речь идет о какой-нибудь пожилой перезрелой вдове, которая спит и видит себя несчастливленной новым мужем.

— Кто такая? — спросил недовольно.

Чечулин сидел за столом, расправляясь с бутылкой. И когда он вылил остаток водки в стакан и сказал пьяным голосом: «Зинаида!», Шилов испуганно улыбнулся.

Уходил Чечулин от Веньки хохочущим и довольным, заверяя, что он на пару с Цивеленковым завтра же явится к Зинаиде.

— Все на себя возьмем! — кричал Чечулин из полых дверей. — Просватаем в один дух!

Шилов сидел на корточках перед печкой, еще не очнувшись от Шуркиных слов. Слишком значительно было то, что услышал он от него. Захлопнув печную дверцу, Венька решил: «Пойду!» И сразу занервничал, зашпешил, словно кто-то более ловкий мог его в этот вечер опередить и оставить без Зинаиды. Смочив одеколоном волосы, тщательно причесался, надел тот самый черный костюм, который дважды ему послужил. На минуту засомневался: «Может, нехорошо? Свадьбу играл в нем и хоронил. А я на свиданьице в нем. Ладно ли я?» Однако другого костюма не было у него, и Венька, махнув пятерней, мол, Зинаида без предрассудков, снова сел перед печкой — раздуть потерявшийся в ней огонь.

В коридоре послышался грохот. Дверь распахнулась — Чечулин!

— Оставил голову у тебя! — и, схватив со стола рывеватую кепку, подался было назад, но вдруг сказал голосом мужика, углядевшего непорядок: — Не дело это сырыми дровами топить!

— Будут, небось, и сухие, — недовольно ответил Венька.

Чечулин придрался:

— Когда еще будут?

Покосился Шилов на Шурку, чья голосина могла испугать его малыша.

— Да хоть бы и завтра, — стал дуть на укрытую дымом желтую гривку затрепетавшего огонька.

— А пошто не сегодня?! — Чечулин сиял, пьяная рожда его выражала готовность теперь же, немедленно и решить за Веньку проблему сухих дров.

— Быстрый какой!

— Или думаешь: не достану?

— Не думаю, а уверен, — буркнул Шилов, снова подув на огонь, выжимавший из мокрых поленьев кипящие капли.

— Едри твою сорок восемь, — взвинтился Чечулин. — Я не достану?! Да сам! Сам тебе напилью! А братан мой Ванюшка подкинет на бортовухе!

Шурка вынесся на крыльцо, весь сгорая от нетерпения тотчас же и сделать все, что сказал.

— Худо знаете вы меня, — бормотал он, торопясь к дому, чтоб заскочить на секунду в свою сарайку за бензопилой.

Было еще не поздно, солнце висело над горизонтом. От теплых хлебов веяло волглостью. С пилой на плече Шурка спешил на окраину поселка, где против ясель, средь потемневших от старости елок торчал огромный скелет сухостойной сосны. Торчал, поскрипывая суками, как деревянный кощей, весь иссохший, весь отданный солнцу и ветру, давно переживший свой век. Метили эту лесину многие уронить, да боялись: вдруг застрянет в деревьях, попробуй тогда ее снять. Трофимов не раз предлагал спилить ее на дрова, чтоб сосна кого ненароком не задавила. Вот Чечулин и вспомнил об этом в квартире у Веньки и, расхрабрившись, неся сейчас боевым петухом к сосне.

Шурка был пьян, оттого и казалось ему, что нету такого дела, которое он не мог бы теперь проверить. Поскользнувшись на грудке консервных банок, он руками, пилой и лицом вспахал муравейник. Сплюнул попавших в рот муравьев, подобрался к стволу, запустил в движение цепь, приставляя ее к сушине. Пила заплескала по дереву с крупным подпрыгом. Он надавил на нее посильней, и шина, прорезав подкорный околок, тупо захлопала по гнилью. Вырезав желтый, похожий на голову сыра, кусок древесины, Шурка сделал подрез с другой стороны и расплылся в счастливой улыбке, когда сушина, свистя суками, стремительно ринулась вниз. Но упасть помешала широкая елка, на которую с маху она налетела, кроша на землю сухие сучки.

Шурка смутился, сообразив, что сделал огромную глупость. Оставлять лесину в таком положении было нельзя. Рядом дорога. Не приведи, чтоб кого невзначай накрыло. Похлопывая рукой по мотору пилы, Шурка крикнул, уселся на пень и, закулив, с досадой зыркнул на завалившуюся сосну. «Как бы оттоля ее ссадить?»

Из-за дороги, где детские ясли, донеслись голоса. Шурка, вытянув шею, насторожился.

— Шурка-та чу, вроде тавосы!

— Преставился?

— Да напился!

— Только-то и всево?

— Али тебе мало? Глянь, что он, некошнсий, деет?! Мало деревьев в лесу перевел, дак в поселке еще переводит!

— Шурка! Где-ка ты, враг? Выходи, покуда крапивой не настегали!

— Воно-ко он! Сидит! Пестерь пестерем!

— Взялся лесину валить, да тавось!

— Мобыть, свалит еще?

— Где ему, жиденькому в коленках!

Шурка метил было по-тихому скрыться домой, да задел бабий смех. Сердце его оскорбленно забилося. Он вскочил и с включенной пилой побежал к густолапой смолевой елке. Повертевшись вокруг нее с четверть часа, услышал надсадный древесный визг, с каким она повалилась, сшиблась накрепко со стволами и мертво увязла среди зыбкой хвои.

«Неужто куча мала?» — задумался Шурка. Но задумался на секунду. В другую секунду он уж знал: «Коль мала, дак еще добавим!» Со взбешенными, в алых прожилках глазами подбежал к седостолой елке. Срезая ее, был уверен, что сейчас-то он снимет завал. Елка прочертила вечерний воздух и так могуче шмякнулась в «кучу малу», что все под ней затряслось, заломалось, заоседало. Куча разбухла, а ствол заваленной елки прогнулся к дороге.

Забеспокоился Шурка. «Дров наломал... Это да-а...»

Оставалась единственная возможность — спилить елку, на которой держался лохматый завал. Но это было опасно: древесная навесь в любую секунду могла сорваться, похоронив под собой смельчака. Не всякий вальщик пошел бы на это дело. И Чечулин бы не пошел, но так уж все навыворот обернулось, что Шурка, жутко крикнув: «Живу с костяной на каменну!», нырнул под наклон чешуистых стволов.

Елка была разножиста и дородна. Заламывая голову вверх, Шурка прошелся вокруг ствола, прорезая в нем робкую окольцовку. И только хотел с навесной стороны углубить пильный рез, как услышал вязкий хруст: проседали на елке деревья. Бросая пилу, он стреканул от ствола, да чрезмерно поспешно — вынужден был метров пять пробежать, задыхаясь, на четвереньках. Распрямляясь, смекнул, что он поспешил: деревья висели в том же наклоне, лишь ветерок мягко мял в них

хвою да сверху, скребя по стволу, свисала надломленная вершина. Надо было вернуться назад, но Шурка не смог. Взмокший, с темными пятнами на лице, он ступил на дорогу и остолбенел: перед ним, занимая проулок, мостки и ясельный двор, теснилась толпа во главе с начальником лесопункта.

Вид у Трофимова был решительный, как у дорожного инспектора, перед которым робеют даже матерые шоферы. Чечулин растерянно сказал:

— Такая падина... Думал, спилю, а она возьми да и завались.

Михаил Фролович засунул руки в карманы.

— Оттого и разбой?

— Оттого.

— А ты знаешь, чем это пахнет?

Шурка понурился:

— Штрафом.

— Не только штрафом, но и судом!

Чечулин взглянул на толпу, ища в ней хоть маленькой поддержки. Однако лица мужиков и баб поддержки не обещали. И Шурка понял, что дело его худое.

— Сразу да и судом, — уныло промямлил.

— Сразу!

— Михаил Фролович! Я больше не буду! Я каюсь! — Голос у Шурки сорвался на тон, каким говорят пошляки и нахалы, стараясь выгородить себя. — Войдите в мое положение. Трое детей у меня. И потом: я старался не для себя!

Трофимов язвительно улыбнулся:

— Для кого же тогда?

Шурка заежился, обегая замученным взглядом толпу, и вдруг рассмотрел долгоносого Веньку.

— Вот-ка! Во! — спасенно крикнул Чечулин и бросился к Шилову. — Вень! Скажи ему! — показал на начальника лесопункта. — Для кого я старался! Не для тебя?!

Шилов стоял, прижимая к груди годовалого Юрку. Был он в белой рубаше и черном костюме, причесанный, выбритый. Собирался пойти к Зинаиде, однако остановил шум у детяслей. И вот торчал среди толпы, а перед ним с перепачканной рожей вертелся Чечулин — щучьи глаза его пьяно метались, а голос неистово умолял:

— Вень, скажи! Для кого я дров хотел наготовить?



Шилов вспыхнул угрюмым румянцем. Попасть в такое дурацкое положение, когда не знаешь: то ли тебе возмущаться, то ли приятеля выручать? Венька взглянул на Чечулина с неприязнью. Чтоб он, самолучший вальщик поселка, просил у этого баламута наготовить ему сухих дров?! Шилову стало противно и стыдно. В то же время он видел в Шурке не только беспечного баламута, но и того беззащитного мужика, за которого некому заступиться.

— Для меня! — сказал он как можно громче.

— Не может такого быть! — возмутился Трофимов. — Не может!

— Может! — отрезал Шилов и отвернулся. Надоела ему эта орава людей с ее ропотом, вздохами и смешками и этот Чечулин, полезший было к нему целоваться, да так упрямо, что Венька цыкнул с угрозой:

— Дуй отсюда, пока не поздно.

Прижимая сына к себе, Шилов направился было домой, но тут за спиной взвился голос:

— Витя! Куда? Воротись! А то елочки упадут!

Венька потерянно обернулся и увидел трехлетнего малыша, который веселым шажком споро выскочил за дорогу и побежал, петляя между кустов, в полутемень прогала, где громоздилась лохматая схлестка лесин.

Потянуло упругим ветром. Сломался сук, и хвойная навесь поехала вниз по скрипнувшей елке. И не было сердца в толпе, которое б не обомлело. Кто-то всплеснул руками, кто-то сказал: «Господи боже!» Женщина, проморгавшая малыша, бросилась резво вперед, поймала его в тот самый миг, когда он ломал ветку с ягодами калины. Поймала и, со страхом оглядываясь на завись, вынесла мальчика на дорогу.

Шилову, как и любому неробкому мужику, на глазах у которого женщина сделала чье-то мужское дело, стало неловко.

Трофимов сновал средь толпы. В его напористом го- лосе, взмахе руки, тыкавшей в сторону мужиков, ощущалась твердая убежденность в необходимости срочных мер, которые он, как начальник, предпринимал, дабы навести надлежащий порядок. И вот уже кто-то мчался за мастером в гаражи, кто-то катил по дороге столб, кто-то отгонял малышню, кто-то с кепкой в руке спешил к повороту проселка, чтоб задержать бежавший из города мотоцикл.

— Работнички, черт побери! — ругался Трофимов, и тот, кто под взгляд его попадал, поневоле смущался. И Шилов смутился, когда Михаил Фролович взглянул на него, как сказал: «А еще лучший вальщик!»

Этот укоряющий взгляд Трофимова так больно кольнул Венькино сердце, что он загорелся тем бесшабашно-рисковым порывом, когда не рассуждают, а сразу идут напролом. Он разглядел Зинаиду и, подбежав, протянул ей всплакнувшего Юрку.

— Я мигом! Как пуля!

Он был уверен, что если действовать споро, то можно успеть.

Шилов метнулся легкой, с подбегом поступкой вальщика леса, враспloh которого не застанешь. Пила валялась, зарывшись звездочкой в прелые листья. «Лешева в дереве испугался!» — вспомнил Чечулина, поднял пилу. По привычке встряхнул, проверяя, сколько залито в ней бензина, завел и пошел углублять Шуркин рез. Опилки посыпались крупно, как зерна отборной пшеницы, залепляя низки черных брюк. Плеснул, попадая за шиворот, хвойный мусор. Навись зашевелилась, и елку обдало предгибельной дрожью. «Надо смываться! — почувствовал Шилов и вдруг испугался. — А ежели я, как Шурка? Дам стрекача, а деревья так и не рухнут? Какими глазами взгляну на людей?» И Венька послал носочек пилы, добираясь до сердцевины.

Вверху затрещало, да так многоствольно и грозно, как если бы падал на Шилова лес, какой он сумел повалить за все свои годы. Выстрелило щепой, отодрав ее вместе с разорванным корнем. «Успею!» — подумал Венька. И верно, успел бы он, кабы не столб, которым Трофимов велел обозначить опасную зону. Он пришелся Веньке под правую ногу, и вальщик запнулся.

Вставая, он ощутил жестокий щелчок по затылку и снова упал, разрезая цепью пиджак. Поднатужась, выбрался из-под хвои. «Был лес — стала редица, — мелькнуло в ушибленной голове, — еще одна, будь она трижды неладна...»

Подбежали Манылов и Сажин, подняли Веньку, взяли за драные локти, неторопливо и бережно повели. Повели среди толпы, и все расступились, глядя на Веньку с почтительным страхом и любопытством.

Шилов шел в испорченном черном костюме. Голова у него трещала. По виску теплой стружкой сбегала

кровь. Слабея, Венька увидел всполошенную Зинаиду с прижавшимся к ней Юркой.

— Вот и я, — сказал, освобождаясь от провожатых. Обессиленные руки его потянулись за сыном. Но Зинаида Юрку не отдала.

— Больно, Веня, тебе? — спросила.

Шилов попробовал улыбнуться:

— Пройдет, — но в голове закружилось, и Зинаида с прильнувшим к ней, словно к матери, малышом, и толпа посельчан, и тонкая, в белом, юная фельдшерница, бежавшая с саквояжиком по дороге, — все поплыло куда-то к вечернему небу.

Венька не чувствовал ничего. Ничего не видел, не слышал, не понимал. Словно на время, пока перевязывали его, вывалился из жизни.

Открывая глаза, увидел перед собой просторное темное небо. Небо цвело не кострами созвездий, а пылкой горсточкой желтых веснушек. Да и не небо то вовсе было, а улыбавшееся лицо. Лицо Алевтины, летевшей к нему навстречу сквозь ночь, сквозь звезды, сквозь разделявшее тот свет и этот таинственное пространство. И путь, что она одолеть до Шилова не успела, был очень короткий, в расстояние взгляда, который Венька бросил в темноту. По свету фар Шилов сообразил, что едет в машине. Повернув забинтованную голову к сидящему за рулем Ване Чечулину, спросил:

— Куда ты меня везешь?

— В больницу.

— Неуж такой я худой?

— Не худой, а слабый.

— Как думаешь: буду я жить?

— Будешь.

— А почему?

— Такие, как ты, от лесу не помирают, — ответил шофер, снимая с баранки руку, чтоб поддержать ослабевшего лесоруба, чья белоснежная голова тяжело и безвольно упала ему на плечо.

Венька снова вывалился из жизни. Шофер, чувствуя это, включил предельную передачу. Теперь все зависело от него.

1978 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Рассказы

Рябчики на завтрак . . . . .	7
Дьяволок . . . . .	17
Под малиновой мглой . . . . .	30
Сыновья и гости . . . . .	41
Фотокарточка в рамке . . . . .	46
Пощада . . . . .	51
Перегон . . . . .	63
Кривая стрела . . . . .	69
Камушек . . . . .	80
Первая получка . . . . .	86
На бревне . . . . .	97

### Повести

Третье диво . . . . .	107
Сорочье Поле . . . . .	146
Живем только раз . . . . .	203